

М
О
С
К
В
А

Москва

9
966

1966 9

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

•

ПРОЗА

- В. Тевекелян.** ЗА МОСКВОЮ-РЕКОЙ. Роман. Книга вторая 6
Уильям Фолкнер. ЗМЕЕЙ УЖАЛЕННЫЙ. Рассказ. Перевод с английского О. Сороки 154

•

СТИХИ

- Николай Новиков.** УЧИ МЕНЯ, МОСКВА...— ДЛЯ ГОЛОДА ЕСТЬ МЕСТО У СТОЛА...— ДУХ ДОМАШНЕГО ОЧАГА.— НОЧНЫЕ МИНУТЫ.— ВЫ ДУМАЕТЕ, ПУШКИНУ ВЕЗЛО?.. 3
Ираклий Абашидзе. ПО СЛЕДАМ РУСТАВЕЛИ 5
Константин Ваншенкин. ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 152
Владимир Павлинов. УДАЧА.— О МАНЕРАХ.— БЕСЫ 174
Николай Агеев. ВСЕ ЗАМЕЛО, ЗАВЬЮЖИЛО ДО СРОКА...— УЗБОЙ... 196

•

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

- Л. Лондон.** ТРИ ЗАКОНА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА. (Из записок строителя) 165

•

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

- Константин Алтайский.** МОСКОВСКАЯ ЮНОСТЬ ЦИОЛКОВСКОГО 176

•

ИСКУССТВО

- Александр Глезер.** ОДИН ИЗ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ».—**М. Генн.** ВСЬ МИР — НА КРОПОТКИНСКОЙ УЛИЦЕ. (К Галерее «Москвы») 193
И. Энаколопашвили. СУДЬБА ОДНОГО ПОРТРЕТА. (К 800-летию со дня рождения Шота Руставели) 194

•

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Ваперий Дементьев.** ОГНЕННЫЕ ТОЧКИ ПОЭЗИИ 197
Вс. Сурганов. Федор Панферов. (К 70-летию со дня рождения) 204

•

НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ

- Лариса Исарова.** ГЕРОЙ — ВРЕМЯ (212).—
Г. Никитевич. И КНИГИ ИМЕНЮТ СВОЮ
СУДЬБУ... (213).—**В. Дмитриев.** ПРАВДИ-
ВОЕ ПРОШЛОЕ (214)

•

ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ

- А. Костерин.** «РУССКИЕ ДЕРВИШИ» 216

•

ЮМОР — 66

- А. Арго.** ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСА-
ТЕЛЯ.—**К. Невлер.** ВРЕМЯ ТВОРЧЕСКИХ ОТ-
ПУСКОВ.—**Е. Весенин.** КОТ И ПОВАР.—
Б. Петухова. КАРТИНКИ С ЯРМАРКИ 222

•

ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»

М. Бердзенишвили. ПАМЯТНИК ШОТА
РУСТАВЕЛИ.

Д. Кипшидзе. ЧЕКАНКА ПО МЕТАЛЛУ
«МОЯ СТРАНА — МОЙ ДОМ». Международная
выставка детских рисунков.

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01.
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвра-
щаются.

Подписка на журнал при-
нимается во всех учреждениях
Министерства связи. Редак-
ция вопросами подписки не
занимается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (главный редактор),
А. Д. АНДРЕЕВ (заместитель главного редактора),
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,
Л. В. НИКУЛИН, В. П. РОСЛЯКОВ,
С. А. САВЕЛЬЕВ (ответственный секретарь),
Г. А. СЕМЕНИХИН, Ю. С. СЕМЕНОВ,
С. В. СМИРНОВ,
А. А. ЦЫГУЛЕВ (заместитель главного редактора),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор Г. Л. МУРАВИН



НИКОЛАЙ НОВИКОВ

• • •

Учи меня, Москва,
Свободе и простору.
В бездонность площадей
Я голос уронил,
И если у тебя
Я эха не исторгнул,
То, видно, потому,
Что не хватило сил.

Всезвучностью твоей
Звенят мне мостовые,
Осенняя вода
В тени твоих мостов,
Чугунный шаг оград,
И провода стальные,
И радуга дождя —
Все семь ее цветов.

Учи меня, Москва,
И твердости и риску,
Чтоб я не зря топтал
Те строгие пути,
Где шли, как горлом кровь,
И Герцен и Белинский,
Где довелось самой
Истории идти.

О скорость на кольце —
Мелькающем — Садовом,
Моторов трудный ритм,
Метро подземный пульс!
Поленовская тишь —
Там, за высотным домом,
Где о пяти главах
Собор — как карапуз.

Но в хаосе эпох
И в сутолоке шестивий,
Но в беспорядке стилей
Пролегли лучи.
И многим невдомек,
Что в этом — совершенство,
Как сложное в простом...
Ему меня учи!

Движенью, что к ночи
Оставит без движенья,
И красоте — такой,
К которой — ни мазка!

И высоте учи —
Без головокруженья.
Короче же, М о с к в е
Учи меня, Москва!

• • •

Для голода есть место у стола.
Цех — для труда. Для немочи —
больница.

А у любви нет своего угла:
Так велика — что негде поместиться.

Мороз под вечер выбелит стекло,
Февральский ветер отзовется
дрождью.
Зачем ей печь? Она сама — тепло,
В чьей щедрости сомненья быть
не может.

Чужда ей ограниченность квартир.
Стеснителен уют. Она бездомна.
Сквозь потолки и стены рвется
в мир,
Веселый, страшный, звездный и
бездонный.

Она придет — и ты ей не перечь.
А ночью спи. Смешно ее стеречь!

Дух домашнего очага

Памяти Александра Грина

Было или не было?
Но в вечерней мгле
Кто-то в мягких тапочках
По комнате ходил,
И на заваленном бумагами столе
Кто-то добросовестно
Порядок наводил.
Долго на кухне плескалась вода:
Кто-то мыл посуду,
Стариковски ворча.
А когда стряслась
Неожиданно беда,
Чьей-то лапой набран был
Номер врача.

В нашем доме начали
Чудеса твориться:
Суп стал быстрее
На плите вариться,
Стали сниться только
Хорошие сны,
Перестали подгорать
Оладьи и блины.
Перестали под окошком
Орать коты.
Было или не было?
Верь, не верь,
Но кто-то ставит в воду
Лесные цветы,
Неизвестный науке
Какой-то зверь.
Напрягаю зренье я
И слух
И углы обшариваю по вечерам:
Где живешь,
Где прячешься ты, Дух,
Дух Домашнего Очага?
В век бионики
И космических скоростей,
В век выращиваемых
В колбах детей,
В век, когда луна,
Как лампочка, близка,
Я ставлю на пол Духу
Блюдец молока.
Ибо — что ни говори —
А должно так быть:
Раз порядок на столе
Не возникает сам,
Кто-то должен
В мягких тапочках
По комнате
Ходить,
Чтобы делать
Маленькие
Эти
Чудеса.

Ночные минуты

Бесплотны ночные минуты.
Остались в морозном окне
Мерцающие маршруты
Протянутых в вечность огней.
И жизни твоей протяженность

Помножена на два. И ты
Уверуешь в отрешенность
От всяческой суеты.
Привычные сброшены пути
До поздней декабрьской зари.
Вот в эти ночные минуты
Ты крылья раскинь — и пари.
Ни башен, ни электролиний
Не бойся, пускаясь летать.
А боги храпят на Олимпе,
И некому громы метать.
Не бойся Зевесова гнева,
Не бойся — лети на огонь,
Хмельное багровое небо
Губами дрожащими тронь.
Иначе тебе не приснится,
Иначе к тебе не придет
Ни сила упругая птицы,
Ни равный свободе полет!

• • •

Вы думаете, Пушкину везло?
Любимцем музы был он,
А точнее —
Несло его попутное течение,
Такое, что уж незачем весло?

Он уставал порою, может быть,
Порой молчал, медлителен и светел,
Когда кончался
Вдохновенья ветер
И парус ник:
Плывем... Куда ж нам плыть?

Ведь это только так — аристократ...
А приглядишься —
все тот же труд галерный.
Не раз он проклят под руку,
наверно,
А все ж дороже жизни во сто крат.

Ах, как он греб!
Запарившись вконец,
Свирепо,
Исступленно
И азартно,
Чтоб от души расхотаться завтра
И —
ай да Пушкин! Ай да молодец!

ПО СЛЕДАМ РУСТАВЕЛИ

Ни этот лес в огне,
ни край небес в тумане,
Ни этот взлет орла
нельзя узреть
извне.

Представить этот мир
нельзя на расстоянье
Не только наяву,
но даже и во сне.

Возможно, что твоя
фантазия
смогла бы
Домыслить Тегеран,
вообразить Кабул,—
Но выдумать нельзя
Лахора и Пенджаба,
Пока на них в упор
однажды не взглянул.

Ты должен видеть сам
все то,
о чем гремели
Чужие соловьи...
О нет, не может быть,
Чтоб этого всего
не видел Руставели,
Что здесь не пролегла
его дороги нить!

Что не узрел холмов,
подобных изумруду,
Не испытал тоски,
веселья и забот,
Не повстречал зверей,
пришедших отовсюду,
Чтобы услышать здесь,
как Автандил поет.

По Индии бреду
то бодро, то устало.
Минуя семь веков,
ищу заветный след,—
Там, где на пыль дорог
семь тысяч ливней
пало,
Семь сотен лет прошло,—
и след свело на нет.

Там прохожу,
где он
ловил неумолимый

Пророческий напев,
где сердцем услышал,
Как в верности клялись
друг другу побратимы,
Увидев как встает
в Арабском море шквал.

Где Руставели шел
среди полей незимних,
Где слушал и смотрел,
как, согнутый в дугу,
Оборотясь на Ганг,
творит молитву схимник,
Который до сих пор
стоит на берегу.

И мнится мне,
что след
возник —
и я у цели...
Что бледен, молчалив,
но полон дивных сил,
Как рыцарь и поэт,
бессмертный Руставели
Когда-то
здесь
тропу
навечно проторил.

Нашел ли что-то здесь —
о том никто на свете
Не ведает еще.
Быть может, потерял...
Но к Индии любовь
перенеся в Месхети,
Хранил ее
как дар
в краю картлийских скал.

Пою пригоршню звезд,
которые звенели,
И падали,
и жгли,
и проливали свет
На бесконечный путь
скитальца Руставели,—
И через семь веков
ищу заветный след.

*Перевел с грузинского
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ*





Рисунки В. Востринова

В. Тевекелян

ЗА МОСКВОЮ-РЕКОЙ

РОМАН

Книга вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Впервые Леонид встретил ее в метро, когда рано утром ехал на работу в битком набитом вагоне. Он вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и оглянулся. Незнакомка неторопливо отвела большие зеленоватые глаза. Молодая, стройная, она невольно заставляла смотреть на себя. Пышные золотистые волосы, белое, немного надменное лицо. Леонид понял сразу: во что бы то ни стало он должен с ней познакомиться! Но как?..

Кроме Наташи Никитиной у Леонида не было других знакомых девушек, не считая, конечно, студенток-однокурсниц, с которыми он поддерживал ровные, товарищеские отношения. И несмотря на общительный характер и даже кажущуюся порою развязность, Леонид на самом деле был до крайности робким, особенно оставаясь с девушками наедине. Он терялся, краснел, не знал, о чем с ними говорить. А тут предстоял не разговор — знакомство... Да и захочет ли такая красивая женщина ни с того ни с сего познакомиться с в общем-то заурядным парнем, каким считал себя Леонид? А как хотелось заговорить с незнакомкой, услышать ее голос! Конечно, и голос у нее особенный — чистый, звонкий. За двенадцать минут езды от Сокольников до центра Леонид наделил ее уймой достоинств — и теми, которые сам наблюдал у других женщин, и о которых слышал или читал. Да, именно прочитанные книги оказали ему в эти минуты неоценимую помощь...

В тот день все складывалось для него как нельзя удачнее: незнакомка вышла из вагона на той же остановке, что и он, прошла через подземный переход и пересела в тот же поезд, что и Леонид. Потом, выйдя из метро, они прошли два квартала по направлению к его комбинату. «Значит, судьба!» — решил он.

Потом она повернула налево. Леонид остановился на углу, стараясь, чтобы она не заметила его, если вдруг оглянется, и долго смотрел ей вслед. Но незнакомка не оглянулась. Стуча каблучками, она уходила все дальше и дальше — видимо, даже не подозревая, что за ней наблюдает Леонид Косарев, без пяти минут инженер, конструктор крупнейшего шерстяного комбината столицы. А он, этот самый Косарев, которого считают в коллективе серьезным, перспективным парнем, как не раз говорил сам директор комбината Власов, стоит, притаившись, как мальчишка, и с грустью провожает глазами прелестную незнакомку...

Что это? Уж не любовь ли с первого взгляда? Бред какой-то!.. Не сумасшествие ли влюбляться в женщину, не зная даже ее имени? Может быть, она давно замужем и у нее куча детей... А если даже все не так и она свободна — что из этого? Может быть, ей нравятся жгучие брюнеты, а не такие серенькие пареньки, как ты!..

Около месяца, изо дня в день, встречались они по утрам в метро — третий вагон от хвоста. Пересаживались в центре в другой поезд, вместе поднимались на улицу и два квартала шли чуть ли не рядом, так и не сказав друг другу ни слова. Только однажды Леониду показалось, что она улыбнулась. Что это, улыбка недоумения — почему, мол, не заговоришь, раз тебе этого так хочется? Или улыбка презрения? Так или иначе, улыбки этой было достаточно, чтобы у него сильнее забилось сердце.

В тот же вечер, возвращаясь домой со своим зятем и близким другом Сергеем Полетовым, секретарем парткома комбината, Леонид не удержался и спросил у него:

— Слушай, Серега, допустим, тебе очень нравится женщина, но у вас нет общих знакомых... Ты даже имени ее не знаешь... Как бы ты поступил в таком случае?

— Нашел специалиста! — усмехнулся Сергей. — Появилась, значит, принцесса, которая тебе очень нравится?

— А что в этом удивительного?

— Влюбился?

— Может быть, ты и угадал...

— А Наташа, значит, уже не нравится? Мне казалось, ты с ней дружишь...

— Понимаешь, тут совсем другое дело... Наташа прекрасный человек, умница, настоящий товарищ... Но... чересчур серьезная и вообще...

— Разочаровался?

— Да нет, вовсе не разочаровался!.. Наташа мне никогда не нравилась так, как та женщина. Тут что-то совсем другое...

— Смотри, погонишься за неведомым — верно друга потеряешь!.. Леонид ничего не ответил.

Они молча шагали рядом, каждый думал о своем.

...Сокольники особенно хороши весной, когда в палисадниках перед одноэтажными деревянными домишками цветут яблони, вишни, когда из-за низких заборов свисают прямо на улицу тяжелые, влажные ветки полурастувшей сирени, а в открытые калитки видны тюльпаны и нарциссы.

Тихо днем в малолюдных улочках и переулках. Только по вечерам рассядутся по лавочкам у калиток старики, поведут неторопливые беседы, а где-то за цветущими садами запоеет гармонь.

И есть во всем этом какая-то неясная грусть... Может быть, грусть о безвозвратно уходящем. На глазах меняются Сокольники. Повсюду лежат старые сгнившие доски от сломанных заборов, а за ними виднеются сиротливые фруктовые деревья в цвету. День и ночь гудят бульдозеры, неустанно трудятся башенные краны, и вместо скривившихся от времени развалюшек возникают восьми-десятиэтажные громады жилых массивов.

И каждый раз при виде всего этого у Сергея щемило сердце. Он вспоминал свое детство, мать, Аграфену Ивановну — потомственную ткачиху, женщину необыкновенной доброты, отца — кряжистого великана, знаменитого красильного помстера Трофима Назаровича. Отец тоже выращивал цветы на клочке земли перед домом, гордился выведенными им новыми сортами гладиолусов, особенно одним — «бархатистым черным». Уже снесли несколько кварталов старых домов, видно, скоро снесут и его, Сережин, домик. И все, что было связано с детством, бесследно исчезнет. Сергею до боли жаль расставаться с прошлым, хотя он всячески старался внушить себе, что так и надо, что иначе и быть не может. Жизнь неустанно движется вперед, и никто не в силах остановить ее движение. Да и нужно ли останавливать, нужно ли сожалеть о прошлом? Ведь в той, прошлой жизни, кроме овечьей романтикой памяти детства, была и другая, неприглядная сторона: темнота, невежество, беспребудное пьянство, драки, поножовщина. Недаром Сокольники — совсем еще недавно глухая городская окраина — пользовались дурной славой и после наступления темноты редкий чужак рисковал появиться здесь. Так что же жалеть это уходящее прошлое? Но почему тогда не отступает грусть? Видно, так уже совершенно устроен человек...

Совсем иные мысли тревожили Леонида. Он шел, не замечая ни старых развалюшек, ни новых домов. Он был занят самобичеванием — называл себя слабохарактерным неудачником, хотя никаких видимых причин для такого рода самокритики не было. Наоборот — с поступлением на комбинат ему сопутствовали одни удачи. Не всякому студенту третьего курса, пусть даже прославленного института имени Баумана, удавалось стать конструктором большого текстильного комбината. Проекты Леонида, его предложения по усовершенствованию производства почти всегда внедрялись в жизнь. За последнее время даже опытные специалисты-текстильщики считались с его мнением, обращались к нему за советом. На комбинате многие помнили его отца, инженера-коммуниста Ивана Васильевича, и, может быть, еще и поэтому прощали Леониду мелкие промахи и ошибки. Он постоянно чувствовал бережное отношение к себе со стороны старых кадровых рабочих и гордился этим.

И в институте дела у Леонида шли хорошо. Переход на заочное отделение не помешал нормальной учебе — наоборот, как-то повысилась ответственность, он стал серьезнее относиться к занятиям. Работа на комбинате помогла выбрать тему диплома. Скоро защита, но Леонид спокоен: хвостов нет, его научный руководитель, скупой на похвалы профессор Мотов, дал высокую оценку его работе.

И все же Леонид был недоволен собою. Скоро ему исполнится двадцать пять, а ничего сколько-нибудь выдающегося не сделано. С детства был уверен, что ему уготовано особое место в жизни. Не проходило дня, чтобы школьные учителя не говорили о редких способностях Лени Ко-



Вартнес Арутюнович Тевекелян родился в 1902 году. Первую книгу опубликовал в 1939 году («Записки директора фабрики»), много лет работал в текстильной промышленности. Был директором московской фабрики «Освобожденный труд» Краснохолмского комбината.

В 1951 году в издательстве «Советский писатель» вышла повесть В. Тевекеляна «Жизнь как она есть», в том же году — роман «Жизнь начинается снова», а в 1956 году — роман «Когда разливаются реки».

В 1959 году в нашем журнале была опубликована первая книга романа «За Москвою-рекой», в 1962-м — роман «Гранит не плавится».

сарева. И он, чудак, верил! И все чего-то ждал... А результат таков: ординарнейшая личность! Таких девяносто девять на каждые сто человек. Даже своего угла нет... С того самого дня, когда он ушел от матери, живет у Сергея. Мало того — привез калеку-отца из инвалидного дома. Положим, Сергей относится к его отцу не хуже, чем он сам, но от этого не легче. Противно, стыдно, что ты, взрослый дядя, не в состоянии решать элементарные житейские задачи... А тут еще эта незнакомка днем и ночью стоит перед глазами... А Наташа? Что и говорить — с ней поступает он нечестно. По-свински поступает он с ней. Говорят, правда, сердцу не прикажешь. Так-то оно так, но самому от себя тошно: размазня какая-то, а не человек!..

Молча, думая каждый о своем, Сергей и Леонид дошли до дома.

— Давно легли? — спросил Сергей, заглянув в комнату, где на кроватках, поставленных рядом, спали дети — пятилетний крепыш Трофим и двухгодовалая Татка, любимица Леонида.

— Тихо, разбудишь! — Милочка замахала на мужа рукой. — Еле уложила... Им ведь непременно нужно дожидаться папу и дядю Леню. Расшалились — удержу нет. А дед во всем им потакает. Беда с ними!..

— На то и дети, чтобы шалить, — изрек Сергей и пошел на кухню умываться.

Леонид в ожидании ужина сидел на диване, поглядывая на сестру, накрывавшую на стол. Кто бы мог подумать, что из модной избалованной девицы, какой была Милочка не так-то уж давно, выйдет преданная жена, беззаветно любящая мать!.. А ведь приходится ей нелегко: на руках двое маленьких детей, хотя Трофим и ходит в детский сад, а Татка в ясли. Конечно, детей можно было бы отдавать на целую пятидневку, но Милочка и сама не захотела, да и мужчины запротестовали. Особенно дед: «Без детей дом пустой»

И Милочка занята с утра до поздней ночи домашней, такой невидной и такой утомительной работой. Шутка ли сказать — в доме кроме детей еще трое мужчин, вдобавок один из них калека. По ночам, когда все ложатся спать, Милочка садится за ученические тетради. Разумеется, она могла бы не работать — заработок ее существенной роли в бюджете семьи не играл. Однако Милочка ни за что не соглашалась уйти с работы. Она преподавала английский язык в старших классах — всего шесть часов в неделю. Мало, конечно, но зато не забывает язык. Ни за что не хотела она превратиться в женщину с высшим образованием, но без профессии, каких немало развелось в последнее время.

Молодчина Милочка! Никогда не унывает, не раздражается. Никто не слышит от нее ни единой жалобы, всегда она в хорошем настроении, улыбка не сходит с ее лица. Одним словом, клад, а не жена! Недаром Серега так упорно добивался ее...

— Разрешите, синьора, поцеловать вас! — неожиданно сказал Леонид, вставая с дивана.

— С чего ты это?

— В порыве чувств!

— Что ж, порыв у тебя благородный! — Милочка подставила щеку. — И, пожалуйста, позови отца. Он опять увлекся своими чертежами... Леня, — она понизила голос, — будет толк от папиной работы?

— Трудно сказать, — так же тихо ответил Леонид. — У него большой опыт и потрясающая воля... Научиться чертить такими обрубками! В конце концов дело не в том, добьется он чего-нибудь или нет. Важно, что у него есть занятие, что он увлечен чем-то...

Леонид раздвинул занавеску, отделяющую столовую от закутка, где работал и спал Иван Васильевич.

— Великому труженику привет и почтение,— сказал он.— Ну, как успехи?

— Помаленьку, не спеша движемся навстречу успехам.— Иван Васильевич привычным движением повернул кресло на колёсах, в котором сидел.

— Люблю оптимистов! Вы с Сергеем из одного племени.

— Приятно слышать, что находишься в хорошей компании. Но при чем я здесь? — Сергей стоял в дверях с полотенцем в руках.

— У вас с папой одинаковые характеры — неунывающие.

— Для уныния у нас нет никаких оснований,— сказал Сергей.— Не правда ли, Иван Васильевич?

— Живо за стол! — Милочка поставила на стол большую миску с дымящейся картошкой.

После ужина Сергей с Иваном Васильевичем засели за шахматы. Леонид помог сестре убрать со стола. Хотел было помочь вымыть тарелки, но она прогнала его из кухни.

— Иди займись своим делом! Сама справлюсь.

— Нет у меня никаких дел,— буркнул Леонид.

— Тогда читай книгу!

— Читай не читай, все равно всех книг, написанных со дня изобретения алфавита, не одолеешь.

— А может, у тебя просто неприятности на работе?

— Синьора, что такое неприятности? И какие могут быть неприятности в этом лучшем из миров? — Леонид швырнул полотенце на стол, пошел в столовую и лег на диван.

Косой дождь хлестал как из ведра, стучал по крыше. Мутные потоки бежали вдоль тротуара.

На душе у Леонида было тоскливо, тревожно...

На комбинате ему предоставили пятнадцатидневный отпуск для защиты диплома. А он слоняется по дому, не зная, куда себя девать. Лежит двадцать восемь листов чертежей, объяснительная записка давно готова, даже тезисы для краткого доклада написаны. Конечно, для пущей важности можно было бы составить длинную библиографию — так многие делают. Смотрите, мол, какой я умный, начитанный!.. Но ему ни к чему пускать пыль в глаза: его диплом давно апробирован. И вполне возможно, что его проект универсальных экономических котлов действительно внедрят в производство, как об этом все время твердит профессор Мотов. «Котлы системы Л. И. Косарева». Звучит! И деньги... Честно говоря, деньги не особенно его интересуют. Много ли ему нужно: сыт, одет, обут, и ладно! Лучше бы дали квартиру. Впрочем, деньги тоже на улице не валяются. Можно купить детишкам обновку, Милочке меховую шубу. Она давно мечтает о шубе, но молчит. А Наташа?.. Он совсем забыл Наташу, уже сколько дней не был у Никитиных. Неловко как-то... Леонид встал, подошел к окну. Сквозь запотевшие стекла долго смотрел в палисадник. Дождь бушевал по-прежнему. Под ударами капель вздрагивали листья цветов.

«Как глубокой осенью», — подумал Леонид.

Итак, скоро он получит диплом инженера-теплотехника. А дальше? В институте ему предлагают остаться при кафедре. Благодарим покорно: он-то знает, что это за работенка — мальчик на побегушках!.. Есть, правда, еще аспирантура. Заманчивая перспектива: посвятить себя науке. Но что за ученый без практических навыков? Нет, сначала поработай на производстве, узнай почем фунт лиха, потом уже можешь стать хоть академиком. А вот еще вариант: поступить на работу в научно-исследовательский институт и там заняться экспериментальным образцом своего котла. Это был бы самый разумный шаг. Все практичные люди поступили бы именно так. И он поступил бы так, если бы...

не текстильщики. В трудную минуту его жизни, они его приняли в свой круг, приласкали. А директор комбината Власов всегда поддерживал его начинания, великодушно прощал промахи — их, прямо скажем, было немало. Отплатить неблагодарностью за все это? Недавно Власов, подписывая приказ о его отпуске, сказал как бы между прочим: «Надеюсь, что диплом, который ты скоро получишь, не повлияет на твоё отношение к нам грешным — текстильщикам». Намек довольно прозрачный...

В общем же, пока Леонид твердо решил только одно: после защиты диплома он во что бы то ни стало заговорит с незнакомкой! Подойдет, представится: инженер Косарев. Это звучит — не то, что студент-выпускник и прочее. Самое вероятное — она не захочет уличного знакомства. Что ж, тем хуже для нее... В душе у него столько любви и нежности, что он сможет осчастливить самую требовательную женщину в мире!..

Хотя Леонид внушал себе, что он абсолютно спокоен, что у него нет ни малейшего основания для тревоги, в день защиты диплома он все-таки волновался. У него даже слегка дрожал голос и во рту была неприятная горечь.

Защита прошла более чем буднично. Леониду предоставили всего пятнадцать минут. Члены комиссии как-то вяло, казалось, без всякой заинтересованности, задали ему несколько вопросов. Он отвечал долго, обстоятельно, удивляясь, откуда только берутся нужные слова.

Потом выступил профессор Мотов — признанный маг и чародей в области теплотехники, но до Леонида уже почти не доходил смысл его слов. Он как-то сразу потерял всякий интерес ко всему, что происходило вокруг, и мечтал лишь об одном — скорее уйти из душного зала и выпить чего-нибудь холодненького. Он с удовольствием ушел бы домой, но предстояло еще четыре защиты дипломов, и только после этого государственная комиссия могла объявить свое решение.

Он свернул чертежи и тихонько вышел из зала.

Еще совсем недавно по улице имени Баумана ходили трамваи и от их грохота в окнах института дрожали стекла. Теперь стало потише, а голова все равно разламывалась. Было жарко. У бочки с квасом выстроилась длинная очередь. Леонид храбро встал в хвост за старухой с большим графином в руке. Выпив кружку холодного хлебного кваса, он снова обрел интерес к окружающему.

Удивительно, как быстро промчались без малого семь лет! Давно ли он, безусый мальчишка, подал заявление в институт имени Баумана. Сколько было волнений!.. Потом — эта история дома, переход на заочное отделение. На комсомольском бюро ребята обвинили его в малодушии... Потом работа на комбинате. Не будь рядом Сергея, Николая Николаевича Никитина да и самого Власова, еще неизвестно, как сложилась бы его судьба. В общем, много на свете хороших людей!..

Леонид вернулся в зал как раз вовремя. «Государственная комиссия оценивает защиту диплома студентом Косаревым Леонидом Ивановичем на отлично и присваивает ему звание инженера-теплотехника», — зачитал председатель государственной комиссии. После небольшой паузы он добавил, что комиссия рекомендует Московскому совнархозу изготовить на одном из заводов опытный образец экономичного малогабаритного котла системы Л. И. Косарева для испытания его в производственных условиях.

И профессор Мотов, поздравляя его, громко, во всеулышание сказал: «Я был бы очень рад иметь у себя на кафедре такого сотрудника, как вы, Леонид Иванович. Подумайте».

...Домой Леонид шел пешком. В скверике у Большого театра сел на скамейку отдохнуть. Вечер был теплый. От легкого дуновения ветра шелестели листья над головой. Несмотря на поздний час, бегали и кри-

чали дети, а самодовольные бабушки, чинно сидя на скамейках, не спускали с них глаз. Немало было на скамейках и молодых пар. Некоторые из них сидели, робко держа друг друга за руки. Другие оживленно беседовали. Были и такие, что, никого не стесняясь, сидели обнявшись.

Леонид не удержался, вздохнул. Ему страстно хотелось любить, быть любимым. Он, разумеется, не выставил бы напоказ свою любовь, как те, сидящие в обнимку...

Пора было ехать домой. Нехотя поднялся он со скамейки, направился в метро.

В передней на сундуке лежала велюровая шляпа. Значит, Николай Николаевич Никитин и Наташа здесь. Пришли поздравить его с окончанием института. Как он посмотрит теперь им в глаза?..

Леонид готов был убежать без оглядки, но Милочка, открыв дверь, радостно крикнула: «Вот и он, пришел, пришел!» Леонид бросил чертежи на сундук, поправил галстук и вошел в комнату.

Все, словно по команде, встали со своих мест, а маленький Трофим бросился ему на шею.

— Дядя Леня, мне мама позволила не ложиться, пока ты не придешь!..

— погоди, Трофим,— остановил сына Сергей.— Дай и нам поглядеть на новоиспеченного инженера! Все обошлось гладко?

— В общем, да...

— Что значит — в общем? — с тревогой в голосе спросила Милочка.— Удивительный ты человек, каждое слово приходится вытягивать из тебя клещами!

— Не сердись, все хорошо! — Леонид поцеловал Трофима и опустил его на пол.

— Защитил на «отлично»? — спросил Сергей.

— Да.

— На том и стоим! — Сергей улыбнулся.

Наташа протянула Леониду кожаную папку с молнией.

— Наш с братом подарок молодому многообещающему теплотехнику! — Она держалась как обычно просто, и Леониду на какую-то минуту показалось, что ничего не изменилось, все по-прежнему...

Иван Васильевич, сидевший в своем кресле, велел сыну подойти, неловко обнял его обрубками рук, поцеловал в лоб. Сказал сурово, стараясь скрыть растроганность:

— Шагай, Леня, смело по земле. Только помни: знание без дел ничего не стоит!..

— Хватит произносить речи, пожалейте парня! Садитесь за стол. Жаркое остывает.— Милочка побежала на кухню.

Сергей достал из буфета графин с водкой, бутылку вина.

— Тебе, батя, что налить? — спросил он у Ивана Васильевича.

— Лучше уж полрюмки водки,— ответил тот. Врачи запретили ему спиртное.

Николай Николаевич поднял рюмку и сказал, обращаясь к Сергею:

— Помнишь, как ты писал, Сережа, в стенной газете? Постой, как это... Вот, кажется:

Красильщиком-то быть не диво,
А человеком стать трудней!..

Вот я и хочу, чтобы Леня был прежде всего хорошим человеком. А в том, что он со временем станет настоящим инженером, я не сомневаюсь!

Леонид почему-то покраснел, тихо спросил:

— Разве у вас есть основания думать, что я нехороший человек?

Наташа сердито посмотрела на брата.

— Нет, конечно,— после короткой паузы ответил Николай Николаевич.— Я в том смысле, что твоя жизнь только начинается, у тебя все впереди... Сказано: жизнь прожить — не поле перейти. Будут у тебя удачи и неудачи, подъемы и падения. Трудно всегда оставаться самим собой. Будь стойким, не отчаивайся при неудачах, не поддавайся мимолетным соблазнам. А так — что же? Будь счастлив...

Леониду было не по себе. «Странно: он словно читал мои мысли, следил за моими поступками», — думал он.

Сергей налил всем по второй рюмке и, чтобы переменить тему разговора, сказал:

— Друзья, а у меня есть еще одна новость. Вряд ли кто-нибудь из вас знает, что ВАК утвердил решение ученого совета института, где работает Николай Николаевич, о присвоении ему звания доктора химических наук. Вот за это мы и выпьем теперь!

— Как же так — такое событие, а мы ничего не знаем! — не удержалась от упрека Милочка.— Вот уж не подозревала, Николай Николаевич, что вы такой скрытный!

— Скромность украшает ученого! — съязвил Леонид.

— Ты думаешь, он сам мне сказал? — обратился Сергей к жене.— Как бы не так! Сегодня случайно проговорилась Анна Дмитриевна Забелина.

— Забелина? Значит, ее еще интересуют мои дела? — Никитин выглядел немного смущенным.

— Разве вы не знаете, мой брат когда-то был влюблен в Анну Дмитриевну,— смеясь, вставила Наташа.— Он, по-моему, до сих пор уверен, что лучше нее нет никого на свете!..

И как раз в эту минуту Леонид, сидевший против окна, заметил знакомую тень, мелькнувшую за забором. Он тотчас встал и, подойдя к окну, посмотрел на улицу. Да, это она — его мать. Видно, не вытерпело материнское сердце. Не смея зайти в дом дочери, она все-таки пришла. Пришла, чтобы хоть издали поздравить сына...

Леонид вышел на крыльцо. Первым его движением было побежать за ней, догнать, позвать в дом. Но он тут же вспомнил, что отец потребовал, чтобы его бывшая жена никогда не появлялась в их доме. Да ведь и Сергей не скрывал своей неприязни к теще.

Леонид долго смотрел вслед матери, медленно, понуро шагавшей вдоль забора. Жалко маму... Он давно и в мыслях не называл так Ларису Михайловну. А сейчас даже полное понимание того, что отец только справедлив, не смягчало чувства жалости. «Я тоже хорош — догнал бы ее, что ли?» — тоскливо подумал Леонид и вошел в дом.

— Где ты был? — спросила Милочка, внимательно вглядываясь в взволнованное лицо брата.

— Выходил на крыльцо. Какая-то женщина ищет Савельевых,— ответил Леонид и сел на свое место. За целый вечер он не проронил больше ни слова.

Когда Никитины ушли и Леонид не пошел, как обычно, провожать их, Иван Васильевич позвал его к себе за занавеску.

— Ты что же, собираешься жениться на Наташе? — спросил он.

— С чего ты взял? — ответил Леонид, не глядя в глаза отцу.

— Ты дурака не валяй! Нравится девушка — женись. Нет у тебя серьезных намерений — отойди. Будь порядочным человеком, не порть девушке жизнь.

— Ну, знаешь, папа, в такого рода делах...

— Послушай меня, Леня,— перебил его Иван Васильевич,— не хотелось сегодня об этом, да придется. Со мной не хитри — не будь себя-

любцем на заре своей жизни. Постарайся быть чистоплотным во всех поступках, даже в мелочах. Иначе... Нам с тобой обоим есть кого вспомнить... А теперь иди!

Сын молча вышел, а отец достал из коробки папиросу, сломал несколько спичек, пока зажег ее. Затянулся, долго и надрывно кашлял. Потушив папиросу, с трудом перенес свое изуродованное тело в постель и долго лежал с открытыми глазами. Ему было о ком вспомнить: забыть предательство нельзя, особенно, если предателем окажется близкий тебе человек — жена...

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кабинете директора комбината Власова собрались командиры производства. Десенатор — так по старой привычке называют текстильщики фабричных художников — Вера Сергеевна, изящная, несмотря на излишнюю полноту, женщина, с проседью в темно-каштановых, красиво причесанных волосах, показывала присутствующим образцы новых тканей, выработанных полностью из искусственного волокна или в смеси с шерстью в разных пропорциях.

— Вот эту ткань мы условно назвали «весна», — говорила она певучим голосом, раскидывая на стенде ткани разных расцветок и рисунков. — Ткань выработана из отечественного лавсана и предназначена для легких летних костюмов как мужских, так и женских. Хотя мы и не научились красить синтетические волокна, но наш чародей — мастер Степанов — помог нам выработать семь расцветок этой ткани и четырнадцать рисунков. Разумеется, это далеко не предел. Если даже выработать «весну» без просновки, гладко, и то из нее можно шить элегантные дамские пальто!..

День был погожий, светлый, сквозь стекла больших окон на стенды падали солнечные лучи, усиливая яркость красок образцов новых тканей. Участники совещания подходили к стендам, щупали, мяли в руках ткани, снова садились на свои места, а Вера Сергеевна продолжала говорить о достоинствах новых тканей по сравнению со старыми.

— Скажите, Вера Сергеевна, — перебил ее Власов, — вы не прикидывали, какая должна быть примерно продажная цена этих легких тканей? Учитывая, конечно, разумный процент прибыли...

— На этот вопрос легче ответить товарищу Шустрицкому, но могу и я... Мы с ним подсчитали, что метр ткани из чистой синтетики будет стоить не дороже семи рублей, с примесью тридцати процентов шерсти рублей четырнадцать, а с пятьюдесятью процентами рублей тридцать вместо сорока двух — сорока четырех рублей чисто шерстяных «метро», «люкса» или «ударника»!..

— Если комбинат перейдет на выработку этих тканей, то план по накоплениям мы выполним раза в два, а может быть, и в три, — сказал начальник планового отдела Шустрицкий, подчеркивая этим, что в названных ценах заложен большой резерв.

Наступило молчание. Все понимали, что выработка этих легких, а следовательно трудоемких и дешевых тканей немыслима без корректировки плана, — иначе полетят все показатели, даже зарплату рабочим не из чего будет платить. Банк выдает деньги на зарплату из расчета выполнения плана по валу. С другой стороны, никто в середине года не станет корректировать план, тем более уменьшать его.

— Что же, друзья, — заговорил наконец Власов. — Выработкой этих образцов мы как бы выдержали экзамен на аттестат зрелости, — поднялись ступенькой выше. Однако практическая сторона дела значительно сложнее... Ткачиха за смену выработает не более десяти — двенадцати метров легких тканей вместо теперешних тридцати двух — тридцати

шести. Да и продажная цена этих тканей, как вы слышали, составляет примерно треть цены товара, выпускаемого сейчас нашим комбинатом... На первый взгляд кажется, что нам ни в коем случае не следует браться за выпуск новых, дешевых и очень красивых, элегантных тканей. А жизнь между тем подкашивает: надо, надо!.. Поймите, мы, текстильщики, стали самыми консервативными производителями. Я еще в текстильном институте учился, когда шерстяные фабрики выпускали ткани под названием: «метро», «ударник», «люкс». С того времени прошло двадцать с лишком лет. А мать моя говорит, что помнит, как они выработывали на фабрике купца Носова такие же драпы и сукно, какие мы выпускаем сейчас... Мы обязаны заглядывать в будущее, иначе — беда, мы просто затоваримся... Я предлагаю выделить двадцать станков для выработки новых тканей — хотя бы по два станка под каждый образец.

— Очень рискованно, — осторожно возразил Шустрицкий. — Эти двадцать станков испортят все наши показатели: семь тощих коров сожрут семь жирных... Кроме того, мы накопим на складе значительное количество нереализованного товара, за это, как вам известно, тоже по головке не поглядят. Дай бог утвердить цены на новые ткани в течение трех-четырех месяцев. За это время на двадцати станках мы выработаем около пятнадцати — восемнадцати тысяч метров товара — не шутка!.. Может быть, нам воздержаться? Хотя бы до утверждения цен?

— Воздерживаться — самое милое дело! — недовольно проговорил Власов. — Конечно, мы сознательно идем на определенный риск. А как иначе? Посоветуемся с секретарем райкома партии, с нашим текстильным начальством в совнархозе. Однако время терять нельзя — начнем.

Совещание закончилось, и Власов остался один в своем просторном кабинете. Задумавшись, он долго сидел за письменным столом. Много воды утекло с того дня, как он стал директором, а порядки в промышленности не меняются. Разговоры о правах директора — пустое. Пока все еще планируется каждая мелочь и на все давит вал... Прав был Шустрицкий, когда привел библейский пример: двадцать станков испортят все показатели. Полетит прогрессивка, люди лишатся дополнительного заработка. А жаль: материальная заинтересованность — могучий рычаг в работе, ее игнорировать, как это делают некоторые «высокоидейные» руководители, глупо. О переходящем знамени в будущем квартале и думать нечего. Кому какое дело, что вы создали десять новых и нужных образцов? Интересно, как посмотрит начальство на эту затею? Неужели опять конфликт? С легкой руки бывшего начальника Главшерсти Толстякова за ним, Власовым, так и закрепилась слава неуживчивого человека. Опять пойдут разговоры, что он не извлек уроков из прошлого, ничему не научился и снова начал мутить воду. Реконструкцию комбината в основном закончили. Выпуск продукции увеличился. План систематически выполняют на сто три, сто пять процентов. Комбинат и его руководители на хорошем счету, — чего ради лезет в петлю директор?

«На самом деле, ради чего я затеваю все это? — Власов встал, прошелся по кабинету. — Однажды меня уже снимали с работы — еще с каким треском! Почти три месяца ходил без дела... Если бы не настойчивые требования коллектива и не поддержка секретаря райкома Сизова, не восстановили бы... Разве мало этого урока? Положим, в месяцы вынужденного безделья я не сидел сложа руки — сконструировал бесчелночный бесшумный ткацкий станок. Правда, его еще никто не признает. Ученые мужи из текстильного института дают не то десятое, не то двенадцатое заключение и все вокруг да около...»

Телефонный звонок оборвал его невеселые мысли. Он поднял трубку. Звонила мать, Матрена Дементьевна.

— Лексей, ты опять забыл про обед? — сердито спросила она.

— Сейчас, мама...

— Чтобы одна нога там, другая здесь. Я по десять раз обед разогревать не стану!..

Милая мама! Она и не подозревает, что имеет прямое отношение к вопросу, который обсуждался сегодня на только что закончившемся совещании.

С месяц тому назад, как-то вечером, Власов, всегда очень заботливо относившийся к матери, заметил, что Матрена Дементьевна была чем-то расстроена. Всегда веселая, словоохотливая, она сидела за ужином нахмуриив брови и молчала.

Власов несколько раз вопросительно поглядывал на нее — ждал, что она заговорит сама. Но Матрена Дементьевна продолжала молчать. Тогда он не выдержал:

— Мать, а мать, отчего ты сегодня... такая?

— Какая?

— Вроде скучная или сердитая... Молчишь все. Случилось что?

— Самая что ни на есть обыкновенная, — ответила старуха, а потом вдруг сказала: — И верно, что сердитая... На вас, на больших руководителей, рассердилась! Любите шагать по проторенной дорожке. Оно, конечно, сподручнее, чем самому новую тропинку прокладывать — без забот, без хлопот!..

Власов улыбнулся. Он хорошо знал крутой, непримиримый характер старой ткачихи. Предстоял, по-видимому, серьезный разговор. И хотя мать сердилась, Власов радовался: не сдает старуха!

— Критиковать руководителей нынче модно! — сказал он. — Ты тоже решила не отставать? Чем они не угодили тебе? И что за проторенная дорожка, по которой они шагают?

— Рассказала бы, да вот сомневаюсь — поймешь ли?

— А ты попробуй.

— Разве что... Была я сегодня в магазине ткани, на улице Горького, ситца себе на платье купила. Загляну, думаю, в шерстяной отдел — посмотрю, чем торгуют? Интересно ведь мне знать, сама шерстяница, всю жизнь проработала на суконных и камвольных фабриках...

— И что же ты увидела?

— Безобразие, вот что!.. Ткани-то со времен царя Гороха сохранились. «Ударник», «метро», «бостон», «люкс». И ничего нового. О пальтовых товарах и говорить нечего. Такие сукна и драпы вырабатывали, когда я еще девчонкой на фабрике купца Носова работала. Я вон какая старая стала, а ты уже взрослый мужик, отец семейства, а зайдешь в магазин — жизнь вроде бы и не движется... Хоть бы отделявали товар как следует, так и этого нет. Ткани жесткие, плохо окрашенные, а уж дорогие! Не подступишься!.. Выпускал бы хозяин такой товар, как дерюга, он бы живо в трубу вылетел!.. Между прочим, хозяин-то о собственной наживе пекся, а вы вроде для народа стараетесь...

— Ну, мама, ты, кажется, малость через крайхватила! — Власов больше не улыбался. Последние слова матери всерьез заделали его.

— Ничего, милый, не хватила! Чем день-деньской сидеть в кабинетах, вы бы прошлись по магазинам, поговорили бы с народом... В том магазине продавали какую-то ткань из искусственной шерсти, итальянскую, что ли... Легкую, красивую и дешевую. Народ хватал ее, а на наши никто и внимания не обращал. Это разве порядок?

Власов попытался было сказать, что придет, мол, время и наша промышленность начнет выпускать красивые и дешевые ткани. Но старуха еще больше рассердилась.

— Неужто не надоело вам повторять, как попугаи, одно и то же: «Придет время, придет время!» Скоро пятьдесят лет Советской власти, а такое время все почему-то не приходит! — Матрена Дементьевна в

сердцах встала из-за стола, ушла к себе в комнату. Даже посуду не убрала, что с нею бывало редко.

— Зря ты так разговаривал с мамой,— сказала молчавшая до сих пор Анна Дмитриевна.— Мама абсолютно права. В нашей легкой промышленности заняты только тем, что гонят план. О качестве, об отделке не думают — недосуг. Отвыкли думать...

— Вам легко рассуждать,— сердито ответил Власов.— Вы и понятия не имеете, что значит в наших условиях выпускать новый товар. Я уж не говорю об обновлении ассортимента — все технико-экономические показатели полетят вверх тормашками, а люди сядут на голодный паек, без прогрессивки, премии!..

Власов встал и взволнованно зашагал по столовой. Какой-то дурацкий заколдованный круг! Разве ему нужно ходить в магазины, чтобы понять, что давно пора переходить на выпуск новой, современной продукции? Разве ему самому не ясно это давным-давно?

Вот так и случилось, что вскоре после этого разговора с матерью и женой он вызвал к себе Веру Сергеевну и долго беседовал с нею.

— Я с большим удовольствием займусь разработкой новых образцов,— ответила Вера Сергеевна, выслушав директора,— но боюсь, что...

— Чего вы боитесь?

— Что новые образцы тоже будут лежать в товарном кабинете и дальше очередной выставки никуда не пойдут...

— Пока нужно одно — создать принципиально новые образцы, а там видно будет...

И вот, погруженный в свои мысли, сидел Власов за обеденным столом, даже не разбирая вкуса любимого борща.

— Стало быть, в молчанку будем играть с тобой,— сказала Матрена Дементьевна, бросив беглый взгляд на сына.— День-деньской сидишь дома, людей не видишь, а является сынок — он и за обедом директора из себя изображает, все о делах думает!..

— А что, по-твоему, я только на комбинате директор?

— Как хочешь, а я так не согласна! — продолжала мать свое.— Хотела перейти с ткацких станков на браковку суровья — не дали. Старая песня — сиди дома, нянькай внука. Уступила. Ладно, пусть будет по-вашему. А сами внука в детский сад определили. Как ни просила не делать этого — не послушались. Хоть бы раз вы обо мне подумали — как я одна-одинешенька сижу в этих хоромах и не знаю, куда себя девать!..

Матрена Дементьевна, не дожидаясь ответа, собрала пустые тарелки, пошла на кухню за вторым. Казалось, Власов только этого и дождался: подскочил к телефону, набрал номер секретаря райкома.

— Дмитрий Романович,— говорил Власов.— Очень нужно повидаться с вами... Нет, ничего не случилось, просто возникла необходимость поговорить, посоветоваться... Отлично, ровно в семь буду у вас!

Дмитрий Романович Сизов внешне мало изменился с тех пор, как его впервые избрали секретарем райкома партии. Высокий, худощавый, спортивного вида, порывистый, быстрый в движениях, он обладал завидным качеством: умел терпеливо слушать. Глядя в его серые, глубоко посаженные глаза, собеседник понимал, что имеет дело с человеком пронизательным, умным, что обмануть его трудно, почти невозможно. Так было и на самом деле. Дмитрий Романович угадывал невысказанное и умел понять, насколько искренен в своих суждениях тот или иной его собеседник.

Знание людей является, пожалуй, одним из главных качеств каждого партийного работника — большого и маленького. Сизов обладал этим качеством, и это помогало ему в работе. В районе его любили, ходили

к нему запросто, как к старшему товарищу, и всегда находили понимание, поддержку.

Власов и Сизов много лет работали вместе и хорошо знали друг друга. Правда, особой близости между ними не было, но каждый относился к другому с уважением, симпатией.

Вот и сейчас в том, как Сизов поднялся из-за письменного стола и пошел навстречу Власову, угадывалась искренняя радость встречи. Он усадил Власова в кожаное кресло около маленького столика и сам сел напротив.

— Рассказывайте, что у вас новенького? Если судить по сводкам, которые я получаю, дела у вас на комбинате идут не плохо. Думаю, что и на этот раз переходящее знамя останется у вас! — Сизов улыбнулся.

— Вряд ли, — коротко ответил Власов.

— Что так? И почему так мрачно? Насколько я знаю, пессимизм не в вашем характере.

— Пессимизм тут ни при чем... — Власов помолчал и продолжал после небольшой паузы: — Видите ли, Дмитрий Романович, если измерять нашу работу вчерашней меркой, то мы работаем, пожалуй, удовлетворительно... Но в том-то и загвоздка, что эта мерка безнадежно устарела и оценивать по ней работу любого предприятия бессмысленно. Я бы даже сказал — вредно!

— Не совсем понимаю вас. — Сизов закурил и, откинувшись на спинку кресла, приготовился слушать.

Не спеша, со всеми подробностями, Власов рассказал о новых образцах тканей и о том, к чему это может привести, если на комбинате начнут их вырабатывать.

— Заправив станки этими красивыми, дешевыми тканями, мы вылетим в трубу. Будем самым отстающим предприятием не только в районе, но и во всей Москве. Будто никому и дела нет, что вырабатываемые нами в настоящее время ткани не покупаются. Запланировали — работай, и делу конец! Мы-то не затоваримся: отгрузил товар — получай деньги. Банк механически перечисляет их на наш текущий счет, а там хоть трава не расти. Производителя мало интересует: купили его товар или нет. Торгующие организации тоже не могут предъявлять нам претензии: товар соответствует ГОСТу... Я, Дмитрий Романович, своею властью приказал заправить двадцать станков под новые образцы, зная заранее, что лишаю коллектив переходящего Красного знамени, денежной премии, а инженерно-технических работников прогрессивки. Во имя чего, спрашивается, я делаю это? Чтобы внедрить в производство новую, нужную народу продукцию. А разве это порядок? Сами понимаете — люди простят мне один раз, два раза. А потом взбунтуются — не захотят лишаться заработка из-за фантазии сумасбродного директора. И будут совершенно правы!..

— Что же вы предлагаете? — перебил его Сизов.

— Даже не знаю... Я-то ведь всего-навсего директор фабрики. А тут требуется государственный ум.

Сизов усмехнулся.

— Не скромничайте, Алексей Федорович. Я уверен, что вы продумали все до конца, — иначе не затевали бы этот разговор.

— Если говорить по правде, — сказал Власов, — то кое-какие мыслишки бродят в голове. Но насколько они приемлемы — не знаю. Прежде всего нужно коренным образом менять систему планирования. Именно коренным образом! Может быть, на первых порах в легкой и текстильной промышленности... Представьте себе, что директор, ну хотя бы я, должен сам реализовать свою продукцию торгующим организациям по прямому договору. Тогда я не стану выпускать ненужную, неходовую продукцию, иначе обанкрочусь... И еще одно: чтобы заинтере-

совать коллектив в рентабельной работе, нужно отчислять в фонд директора известный процент от прибылей. И — чтобы этим фондом распоряжались руководители предприятий: директор, секретарь партийной организации, председатель фабкома. Пусть они сами и решают — куда в первую очередь направить деньги из этого фонда: на расширение производства или на строительство жилья, на премирование, на покупку путевок в дома отдыха и санатории.

Сизов молча курил. Наконец, повернувшись к Власову, он спросил:

— Алексей Федорович, можете вы сказать хотя бы приблизительно, насколько уменьшится план по валу и упадет производительность труда при переходе на выработку новых тканей в масштабе вашего комбината?

— В том-то беда, что в очень больших размерах!.. Цена новых тканей из чистой синтетики и в смеси с шерстью равна примерно одной пятой части тех дорогих тканей, которые мы выпускаем сейчас. А производительность труда упадет процентов на сорок. Вы ведь знаете: чем толще пряжа, тем выше производительность труда и оборудования, как в прядении, так и в ткачестве...

— Значит, это уменьшит государственный план в валовом исчислении на много миллиардов рублей...

— Разумеется! Но ведь другого-то выхода нет. Время дорогих тканей давно прошло!

— А какие у вас есть возможности для более рентабельной работы? — после некоторого раздумья спросил Сизов.

— О... тут много путей и дорог! Но боюсь, испугаю вас, если начну их излагать,— весело отозвался Власов. Он понимал, что разговор пошел по существу, и радовался этому.

— Вы знаете — я не из пугливых... Потом мы ведь ничего не решаем,— почему же нам немного не помечтать, не пофантазировать? — Сизов потянулся за новой папиросой.

— Начистоту?

— Разумеется.

— Тогда — по порядку!.. Нашему комбинату по штатному расписанию сто сорок инженерно-технических работников с определенным фондом зарплаты. А зачем нам столько? Мы ведь не ставим перед собой научные проблемы. Нам сорока хватило бы с лихвой! Но при условии, что директору будет предоставлено право держать только способных работников и соответственно платить им. То же самое со служащими...

— Постойте, постойте! — остановил его Сизов. — Если я правильно понял вас, вы против штатного расписания и нормированной зарплаты. Кого хочу держу, сколько хочу плачу!.. Вы подумали о последствиях такой практики?

— Я же предупредил, что боюсь, испугаю вас. Вот вы и испугались! — Власов засмеялся. — Мы все рабы привычек — всякая новизна страшит нас. Не испугался же Ленин, вводя новую экономическую политику! А мы спокойно, ничуть не мучась угрызениями совести, постоянно нарушаем социалистический принцип оплаты по труду. Да, да, нарушаем! Вы не качайте, пожалуйста, головой. Хотите пример? Инженеру опытному, десятилетия лет проработавшему на производстве, и инженеру только что окончившему институт — одна цена по штатному расписанию, а если и есть разница, то очень мизерная. Какая, скажите, пожалуйста, при таких порядках может быть у работников привязанность к определенному месту, как воспитывать чувство патриотизма к своему предприятию? Цена-то тебе везде одинаковая!.. Или вот еще: попробуйте уволить слабого, бездарного работника. Ничего у вас не получится — не дадут! Скажут: он не прогулял, на работу пьяным не явился, за что же вы его уволь-

няете? Не умеет работать? Такая причина кодексом законов о труде не предусмотрена... Я понимаю — защита интересов трудящихся величайшее завоевание нашего строя. Но ведь и директор наш не капиталист, не эксплуататор — он тоже печется ради общего блага!..

— Вы, конечно, немного горячитесь сейчас, Алексей Федорович... Но в ваших словах немало справедливого. Пересмотреть кое-какие отжившие порядки необходимо. Добиться этого будет нелегко — не потому только, что люди консервативны по своей натуре, как вы думаете. Нет. Тут дело значительно сложнее; затрагиваются коренные вопросы нашей экономики, а следовательно, и политики. Обо всем этом нужно хорошенько поразмыслить...

За окном догорел весенний день. Подул легкий ветерок, взметнулись тюлевые занавески на окнах. В прокуренном кабинете стало прохладнее. Но двое немолодых уже людей, увлеченных разговором, ничего не замечали. Долго еще сидели они за маленьким столиком...

Несмотря на довольно поздний час, на улице было светло. Весна вступала в свои права. На деревьях лопались почки, кое-где проклюнулись молодые листья. Воздух был легкий, душистый.

В приподнятом настроении Власов вернулся домой, чем немало удивил мать. Она не привыкла, чтобы сын приходил так рано вечером.

— Что с тобой, Лексей, никак заболел? — спросила Матрена Дементьевна.

— Почему ты спрашиваешь? А...а, понимаю — рано домой пришел. Все в порядке, мать, жив, здоров. Мишутка не пришел еще? — О жене он не спрашивал: знал, что Анна Дмитриевна в эти часы в институте.

— Почему не пришел? Он не директор еще, плана не выполняет!.. Играет у меня в комнате.

Власов заглянул в комнату матери. Там на ковре его шестилетний сын строил из кубиков башню. Власов нагнулся, поцеловал мальчика.

— Шел бы ты лучше на двор, на чистый воздух, поиграл бы с ребятами, чем торчать дома!

— Не пойду, — заупрямился мальчик. — Там никого нет.

— Хочешь вместе гулять пойдем?

— Хочу! — Малыш вскочил на ноги.

— Давно бы так! — сказала Матрена Дементьевна, провожая сына с внуком из дома. — А то родят одного ребенка и не думают, как ему, бедному, расти одному...

Отец с сыном, держась за руки, вышли на берег Москвы-реки. Лет десять назад здесь была веснами непроходимая грязь. При больших паводках река выходила из берегов, заливала подвалы, складские помещения. Теперь по обеим берегам Москвы-реки тянулись гранитные набережные. Это был один из красивейших уголков новой Москвы — светлые массивы домов, острый шпиль гостиницы «Украина», тонкие, четкие силуэты мостов, повисших над широким простором реки.

Занятый своими мыслями, Власов рассеянно слушал болтовню сына о том, что «когда мы ездили на Красную Пахру, я хотел научиться плавать, а бабушка не пустила»...

Солнце скрылось за высокими домами. Подул ветер, от реки несло сыростью.

— Пошли домой, сынок! Как бы нам не простудиться с тобой, — сказал Власов.

Матрена Дементьевна ждала их.

— Садитесь за стол, пока чайник не остыл. Лексей, что будешь есть?

— Пейте чай с Мишуткой, а я на минутку на комбинат...

— Знаю я твои минутки! Опять проторчишь там до поздней ночи!

Власов торопливо накинул на плечи пальто и, не слушая воркотню матери, направился на комбинат.

Из открытых настежь окон гигантских корпусов доносился привычный грохот ткацких станков и машин.

Власов заглянул в зал крутильных ватеров. С бешеной скоростью вращались веретена, крутя разноцветные тоненькие шелковые нитки для просновок. Мастерница вечерней смены, увидев директора, поспешила ему навстречу. Здесь было сравнительно тихо, и они могли говорить, почти не повышая голоса.

— У нас все идет нормально, Алексей Федорович! Думаю, сменный план выполним на сто десять процентов.

— Очень хорошо! Надеюсь на вас!..

Потом Власов пошел на ткацкую фабрику.

Потому ли, что сам он был ткачом и сыном ткача, но он особенно любил бывать в цехах ткацкой фабрики и каждый раз, словно новичок, восхищался удивительно четкой работой ткачих.

За новыми отечественными автоматами стояли ловкие, проворные молодые девушки. Власов знал, что почти все они учились в вечерних школах рабочей молодежи, в вузах, техникумах, и питал к ним особую симпатию и уважение.

В цехе стоял страшный шум — после установки автоматов, пожалуй, еще более сильный, чем раньше. У непривычного человека от этого шума тотчас начинало стучать в висках.

Станки работали на предельных скоростях — сто сорок ударов в минуту. Где же еще найти резервы для поднятия производительности? Вопрос этот постоянно занимал Власова. Станок, сконструированный им самим, тоже мало что давал в этом смысле. Правда, бесчелночный станок был и бесшумным, а для здоровья работниц бесшумный станок... Может быть, нужны многоярусные агрегаты вместо ткацких станков, с автоматической подачей утка без челноков?..

Он вышел на лестничную площадку. И как раз в это время здесь остановился подъемник и двое рабочих, открыв дверцы, выкатили на низенькой тележке тяжелую, в триста килограммов, основу. Власов знал, что они покатают тележку в ткацкий цех, там поднимут основу на вытянутых руках и поставят на станок.

«Варварство! — поморщился он. — Наверно, так же работали ткачи в Англии в эпоху изобретения механического ткацкого станка...»

Он стал спускаться по лестнице, а навстречу ему спешили работницы ночной смены. И Власов в который раз корил себя за то, что так до сих пор и не смог ничего придумать, чтобы обойтись без ночной смены. Работая наладчиком станков, он на себе испытал все ее прелести: к утру так хотелось спать, что, кажется, растянулся бы на цементном полу...

Недалеко от красилки Власов столкнулся с Сергеем Полетовым.

— Здравствуй, Сергей Трофимович. Что так поздно?

— Здравствуйте, Алексей Федорович... Проводил собрание коммунистов ночной смены красильно-отделочной фабрики. Распустился малость народ. Просто удивительно — построили людям настоящий дворец: тут тебе и чистый воздух, и нормальная температура, и чугунные полы, и ленточные транспортеры, и электрокары, и дневной свет, и душевые, не хуже Сандуновских бань... А настоящей сознательности у некоторых нет!.. Поработали бы так, как мы раньше работали: в цехе жара, туман, пот льется градом, дышать нечем, сверху капает, под ногами лужи. Придешь бывало со смены домой, колени трясутся, спину не разогнешь! Сейчас что? Одно удовольствие, а не работа!

— Удовольствие, а не работа,— задумчиво повторил Власов.— Представь себе на минуту человека не такого уж далекого будущего, избавленного от тяжелого физического напряжения, для которого труд действительно станет удовольствием. Пожалуй, тогда не будет ни лентяев, ни прогульчиков.

— Не так-то просто переделать человека, Алексей Федорович!

— И это верно,— улыбнулся Власов и спросил:— Скажи, Сергей Трофимович, что думают люди по поводу новых образцов? Как относятся к решению заправить двадцать станков под эти образцы, не имея на них ни плана, ни цены?

— Разное говорят...

— А конкретнее?

— Можно и конкретнее... Все отлично понимают, что нужны особые меры и настойчивость, чтобы хоть частично изменить существующее в промышленности положение. Никто готовенькое на тарелочке не поднесет... Но, с другой стороны, человек остается человеком...

— И что же?

— Вы лишаете людей заработка, и это, вот увидите, приведет к очень нежелательным результатам. Через месяц, через два начнутся неприятности — разлад в коллективе, может быть, даже всякие клязусы... Впрочем, что я вам рассказываю? Вы сами отлично это понимаете...

— Понимаю... Но что поделаешь? К сожалению, все новое рождается в муках. Нам остается одно: постараться, чтобы этих мук было как можно меньше. А сам для себя ты как решил?

— Что же решать? Это ведь не внезапное решение, не каприз. Просто — первая практическая мера...

Власов внимательно посмотрел на усталое лицо Сергея.

— Что ж, ты прав!.. А теперь иди домой, отдохай. Дома у тебя как? Моя мать все собирается к вам, да никак не соберется.

— Спасибо. У нас все хорошо, дети здоровы, Иван Васильевич все мудрит, что-то чертит. Я такого упорного человека еще не встречал... Леонид с отличием защитил диплом...

— Это я знаю. Поздравительную телеграмму ему послал.

— Ну вот... У меня к вам просьба, Алексей Федорович...

— Говори,— слушаю.

— Когда вы на людях называете меня по имени-отчеству, думаю, так оно и следует. А когда наедине...

— Ладно, Сергей! — и Власов дружески обнял его за плечи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лариса Михайловна, побывав возле дома, в котором теперь жили ее сын и дочь, возвращалась к себе растерянная, подавленная. В чем же смысл ее жизни, если она не осмеливается даже зайти в дом к родной дочери, поздравить сына с окончанием института, разделить с ними их радость, приласкать внуков? Она даже не знает — какие они, ее внуки...

В пригородной билетной кассе она протянула деньги кассирше, но на вопрос — куда ей нужно, не смогла ответить. Молча зажала деньги в кулаке и вышла из очереди. Действительно, куда она собирается ехать? Ну да — до станции Софрино. На дачу, к мужу, Василию Петровичу Толстякову. Зачем? Разве ее там ждут? И вообще — ждут ли ее где-нибудь? И что ей делать на даче? Смотреть на разбитого параличом, всегда молчащего мужа, читать в его тяжелом взгляде укор или болтать о скучных пустяках с Дуняшей? Дуняша совсем обнаглела — ворчит с

утра до вечера. Выставить бы ее за дверь, а с кем останешься? Ни одной живой души вокруг...

У Октябрьского вокзала Лариса Михайловна села в такси и поехала на Софийскую набережную, на городскую квартиру. Когда-то эта трехкомнатная квартира, обставленная дорогой мебелью, наполняла ее сердце гордостью. Но сегодня все это — и тяжелая мебель, и картины в золотых рамах, и множество дорогих безделушек — показалось таким же бездушным, как в антикварном магазине. И такая мертвая тишина — даже звуки собственных шагов исчезают в толстых пыльных коврах...

В коридоре взгляд Ларисы Михайловны упал на телефонный аппарат. Сколько в свое время было хлопот и волнений из-за телефона! Она мобилизовала всю свою энергию, пустила в ход все знакомства, дошла до заместителя министра связи и добилась того, что к ним за целый километр протянули воздушку и установили телефон.

Теперь черный аппарат стоял на полированном столике просто как одна из безделушек. Никто больше к ним не звонил. Все, весь мир забыл о существовании Василия Петровича Толстякова и его жены.

В столовой она повернула выключатель, и в ярком свете хрустальной люстры заблестели, словно ожили, ее любимые фарфоровые безделушки. Их было множество: собачки, кошки, лошади, слоны, олени датского фарфора, старинные тарелки, китайские чайные чашки, тонкие, как папиросная бумага. Горка, заполненная венецианским стеклом и баккара. Полжизни потрачено на приобретение всех этих вещей. Зачем?.. Она торопливо погасила свет.

Утром Лариса Михайловна поехала на дачу. Сидя в полупустом вагоне электрички, она упорно думала, стараясь понять, что случилось? Почему люди, даже близко знакомые, отстранились от нее? Почему вокруг такая пустота? Разве она совершила преступление, украла, убила кого?.. Муж ушел на фронт, она осталась одна с двумя детьми, и все, что делала, делала ради детей. Почему же люди так беспощадно осуждают ее?.. Она вышла замуж за директора комбината, Василия Петровича Толстякова. Любая женщина в ее положении, с двумя детьми на руках, не задумываясь согласилась бы выйти за него. Согласиться-то легко, а вот сумеет!.. Она сумела. И за это осуждать ее?! Что еще? Она была в связи с плохим, недостойным человеком, изменяла мужу. Но кто порою не ошибается? Пусть укажут ей хоть на одного безгрешного человека. И все-таки на душе было темно, пусто, тоскливо...

На даче — всё, как всегда. Василий Петрович, закутав ноги пледом, дремал в плетеном кресле под большой березой. Книга, которую он читал, выпала из рук, валялась на земле. Услышав скрип калитки, он открыл глаза, пристально посмотрел на жену.

Лариса Михайловна заставила себя пробормотать: «Доброе утро», и, не дожидаясь ответа, прошла в дом. Значит, опять ничего нового — все по-прежнему...

Иногда ей казалось, что случится чудо и жизнь ее изменится. Она как бы оживала на короткое время, чего-то ждала, но никакого чуда не случалось — все повторялось с унылой неизменностью — мертвая тишина в доме, ни на минуту не покидающие ее невеселые мысли, отчаяние днем, бессонница ночью... И тогда ей хотелось умереть, умереть легкой смертью, заснуть и не проснуться. На ее похороны придут дети — Милочка и Леонид. Может быть, приведут и внучат. Милочка и Леонид будут плакать, горевать, что при жизни не оценили ее жертвы и за все отплатили черной неблагодарностью. Расчувствовавшись, она пролила горькие слезы...

Сидя у окна спальни на втором этаже, Лариса Михайловна смотрела в сад. За несколько дней все изменилось. Голая земля как бы посвежела — зеленые островки травы говорили о пробуждении в ней

жизни. На ветках еще совсем недавно голых деревьев лопались почки, показывались язычки крошечных листьев. Ожили скворечники — по всему саду звучали птичьи голоса.

Скрип калитки вывел Ларису Михайловну из задумчивости. По дорожке, посыпанной красным песком, высоко подняв голову, оглядываясь по сторонам, медленно шел Леонид. Он прошел мимо своего отчима, молча поклонившись ему, и быстро взбежал по ступенькам на террасу.

От неожиданности Лариса Михайловна вскрикнула. Она протянула руки, словно хотела обнять сына, и быстро сбежала вниз по лестнице. На террасе она обняла Леонида, долго целовала его, слезы лились по ее щекам.

Леонид молча стоял смущенный, растерянный. Он не ожидал такого бурного проявления чувств и не знал, как себя вести.

— Я так рада, так рада, что ты приехал! — повторяла сквозь слезы Лариса Михайловна. — Наверно, ты голоден? Пойдем, я покормлю тебя! — Она взяла сына за руку, хотела вести в столовую.

— Нет, я совсем не голоден. Лучше пойдем в сад, — предложил Леонид.

Они сели за домом на скамейку около цветочной клумбы и некоторое время молчали, оба взволнованные встречей. Лариса Михайловна все еще держала Леонида за руку, словно боялась, что он уйдет.

— Цветы больше не сажаете? — спросил Леонид, глядя на заросшую сорняками клумбу.

— Некому, да и не для кого...

И опять наступило тягостное молчание. Выручила Дуняша. Еще издали увидев Леонида, она побежала к скамейке, на ходу вытирая мокрые руки фартуком.

— Батюшки, как он вырос! Леня, да ты совсем мужчиной стал. А какой красавец! Девушки небось табуном за тобой ходят!

Леонид встал, поздоровался с Дуняшей, спросил о здоровье. Он всегда пользовался ее особым покровительством и сам относился к ней с симпатией.

— Я-то, слава богу, ничего живу, — затараторила Дуняша. — А вот Василий Петрович совсем плохой стал. Левоу рукой и левоу ногоу совсем не владеет. Видать, и голова тоже не в порядке. По целым дням молчит — все думает, думает. И о чем думает? Попросит книгу или газету, почитает минут пять, отложит в сторону и опять думает. Жалко его!..

Леонид промолчал.

— Ты-то как, — учишься, или уже окончил? Голова у тебя золотая — знаю, далеко пойдешь!..

— Недавно окончил институт. — Леониду было не по себе — жаль не только мать, но и Дуняшу, тоже, видно, истосковавшуюся по живому человеку.

— Насовсем к нам, или как? — не отставала Дуняша. — Комната твоя пустует. Пожил бы с нами, а то мы тут все с ума сойдем!

— Спасибо, Евдокия Филипповна, не могу. Я работаю на фабрике, и по утрам приходится очень рано вставать...

Дуняша помолчала, внимательно разглядывая Леонида.

— Ну что ж, ничего не поделаешь... Как говорится, насильно мил не будешь. Бывай здоров, передай мой привет Милочке! — Повернулась и ушла. На пороге дачи остановилась и громко сказала: — Женишься — возьми меня к себе детишек нянчить!

— Болтливой стала, распустилась, места своего не знает! — с досадой сказала Лариса Михайловна, провожая взглядом Дуняшу.

— Ей же скучно! — Леониду хотелось сказать, что в такой обстановке волком с тоски завоюешь, но он вовремя остановился.

— Ты, Ленечка, лучше о себе расскажи — как живешь, как Милочка. Я ведь ничего не знаю о вас, совсем-совсем ничего.— Лариса Михайловна жадно вглядывалась в сына, и жалкая улыбка не сходила с ее лица.

— Рассказывать-то особенно нечего, все идет своим порядком! — Леонид старался говорить бодро, весело, но ему было больно видеть жалкую улыбку матери, и бодрый тон не получился.— Что же тебе сказать? Продолжаю работать на комбинате. Зовут в теплотехнический институт на научную работу, но, кажется, не пойду — какой из меня ученый? Милочка молодчина — добрый человек и хорошая жена. У них с Сергеем крепкая семья. Ты зря не влюбила Сергея — он стоящий парень. Если хочешь знать, он лучше нас.... Отец тоже прекрасно относится к нему — как к сыну,— тихо добавил он.

— Дай бог им счастья! — Лариса Михайловна вздохнула.— А ты напрасно не хочешь идти в институт. Не будешь же всю жизнь работать рядовым инженером? Ты ведь талантливый...

— Лучше быть хорошим инженером, чем плохим ученым. Впрочем, оставим это... А как ты живешь... мама?

— Никак не живу... Есть такое слово — прозябание. Вот и я не живу, а прозябаю. Все покинули нас — и друзья, и знакомые. Кому мы сейчас нужны — без власти, без положения?.. Поверишь, по целым дням человеческого голоса не слышишь. С ума можно сойти!.. Леня, ты добрый мальчик... Перешел бы ты жить к нам, а? Подумай, как было бы хорошо...

— Нет, мама, этого не может быть,— мягко, но решительно перебил ее Леонид.— Я всегда буду помогать тебе всем, чем только смогу, но жить у вас не соглашусь.— Леонид достал из кармана пиджака три десятирублевые бумажки и, покраснев, протянул матери.— Принес тебе немного денег, возьми... Скоро начну больше зарабатывать, принесу больше.— Он старался не смотреть на трясущиеся губы матери, на ее руки, нервно теребящие ворот платья.

Лариса Михайловна отвела руку сына.

— Спасибо, дорогой, деньги мне не нужны...

— Ну, я пошел! — Леонид торопливо поднялся, не глядя на Ларису Михайловну. Жалость и долг привели его сюда, но для сердечного сближения с матерью этого, как он только что понял, было, конечно, мало...

— Так скоро?! Посидел бы. Мы так давно не виделись!

— Не могу... Завтра на работу, а в городе у меня еще дела.

Лариса Михайловна молча проводила сына до калитки и только в последнюю минуту не выдержала — обняла Леонида, робко поцеловала.

— Леня, Ленечка, сыночек ты мой дорогой, приезжай почаще...

Шагая к железнодорожной платформе, Леонид думал о том, что вряд ли можно придумать более тяжкое наказание, чем казнь, совершаемая человеком над самим собой.

«Нельзя, нельзя оставлять ее одну — это жестоко, бесчеловечно. Не чужая она мне — родная мать! Но как, как помочь ей? Нужно хотя бы чаще бывать у нее. И Милочке скажу!..»

Утром, как обычно, Леонид вышел из дома ровно в семь часов, чтобы к восьми попасть на работу. Сестре он пока ничего не сказал о поездке к матери — не решился. Знал: Милочка не простит ей, это он такая размазня, что стоит ему вспомнить жалкую улыбку матери, как сердце у него разрывается от жалости...

Леонид — в последнее время это стало привычкой — вошел в третий вагон от хвоста и у самых дверей столкнулся с незнакомкой. Впервые

она посмотрела на него в упор. Этот взгляд мог означать и радость, и укоризну. Леонид оторопел от неожиданности. Он с трудом протолкался в вагон и, встав в стороне, не сводил с незнакомки глаз. Неужели она обрадовалась его появлению? Скорее всего, ему самому очень хочется, чтобы она заметила его долгое отсутствие и обрадовалась... Как бы там ни было, она — необыкновенная женщина. Ну, прямо... Аэлита! Такие глаза у простых смертных не бывают. Хотя... «не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле». Шекспир понимал что к чему. Сегодня он непременно познакомится с нею! Вот выйдут из метро и...

Остановка. На улицу они вышли почти одновременно. Незнакомка шла, стуча каблучками по асфальту, и ни разу не оглянулась. Леонид шел позади нее и внушал себе: «Не будь тряпкой! Смелее!.. Как только она поравняется с тем серым домом, подойди, заговори с ней!.. Нет, лучше пусть минует переулок...» Он терзался почти до конца длинной улицы, пока, наконец, не решился — ускорил шаг и заговорил хриплым, чужим голосом. Слова, которые он скажет при знакомстве с нею, Леонид повторял про себя десятки раз, затвердил их, готовясь сказать весело, непринужденно, но сейчас они вылетели из головы, и он пролепетал:

— Извините мою смелость... У меня не было другого выхода... Разрешите представиться... Леонид Косарев, инженер.

Незнакомка замедлила шаг, повернулась к нему и сказала с неожиданной приветливостью, улыбаясь мягко, хотя и не без насмешки:

— Я так и думала, что вы инженер. Меня зовут Музой. Муза Васильевна. Странное имя, да?

Она говорила так просто, без всякой рисовки, что Леониду сразу стало легче.

— Что же в нем странного?.. Прекрасное имя!

— В детстве все дразнили меня: «Муза — кукуруза!..» Скажите, почему вы не показывались все последнее время? Я уж как-то даже привыкла видеть вас по утру...

— Защищал диплом, — признался Леонид.

— Поздравляю! И заговорить со мной решились после защиты, правда?

Леонид засмеялся и смущенно кивнул.

Они дошли до угла — здесь их пути расходились. Муза остановилась, протянула руку в черной ажурной перчатке и полушутя, полусерьезно сказала:

— До свидания, молодой специалист с повадками начинающего льва!..

Леонид покраснел.

— У меня еще есть время, — сказал он. — Можно, я провожу вас немного?

— Пожалуй... Я пока не соскучилась с вами.

Леонид молча шел рядом с нею. Он был озадачен поведением этой женщины: в ней удивительно сочетались простота и насмешливость.

— Что же вы замолчали, инженер Леонид Косарев?

— Хочу спросить, но боюсь разгневать вас...

— Вы такой робкий?

— Что скрывать, водится за мной такой грех. — Леонид вздохнул с напускной скромностью.

Она громко расхохоталась, и Леонид снова почувствовал себя легко и свободно.

— Начну по порядку: прежде всего хочу видеть вас чаще — это первое и главное! Но это не все — желаниям ведь нет предела. Итак, не за-

хотите ли вы отпраздновать со мной великое событие, каким по крайней мере для меня является защита диплома? Кто знает,— может быть, на свет появился гениальный теплотехник, который перевернет вверх дном всю современную науку...

— Понимаю, скромность — удел обыкновенных смертных. К гениям она не имеет никакого отношения. Где же вы собираетесь отметить это великое событие?

— В простом советском ресторане.

— Ой нет! Ресторанов я не люблю.— Она посмотрела на крошечные часики.— Однако без десяти восемь. Кажется, в честь нашего знакомства мы с вами заработаем по выговору. Прощайте. Завтра поговорим! — Она кивнула и побежала к многоэтажному зданию.

Леонид стоял, смотрел ей вслед. Ему не верилось, что он так просто познакомился с этой обаятельной женщиной.

В механическом цехе Леонида встретили весело. Все поздравляли его. Но стрелки часов показывали ровно восемь. Рабочий день начался. Мастерская заполнилась шумом, завертелись моторы, заскрипели станки.

Леонид пошел в лабораторию. Что за необыкновенный день! Все улыбались ему при встрече, жали руку, поздравляли, старались сказать только приятное.

В лаборатории молоденькая лаборантка заговорщицки сказала:

— Леонид Иванович, а что я слышала про вас...

— Что именно, Валечка?

— Хорошее! Если хотите знать, даже необыкновенное. Мой брат учится в Баумановском на пятом курсе, он был на вашей защите. «Молодец, говорит, этот ваш Косарев, было такое впечатление, что он не диплом защищает, а диссертацию. Самые придирчивые члены комиссии и те не смели пикнуть». Поздравляю вас! Но предупреждаю, так легко вам от нас не отделаться!

— Что я должен сделать, Валечка?

— Не знаю. Ну, купите миндальных пирожных и мороженого...

— Хорошо, обещаю купить миндальных пирожных, пломбир и конфет. Договорились?

У себя в закутке, названном с легкой руки Никитина конструкторским бюро, Леонид сел за чертежный стол. Сегодня работалось как-то особенно легко. Последнее время он занимался транспортером собственной конструкции. Дело шло успешно — настолько успешно, что главный механик сказал, посмотрев чертежи:

— Кажется, получается! — и дал несколько практических советов.

Услышать «кажется, получается» из уст главного механика, скептика и великого молчальника — это уже достижение. Власову тоже понравилась идея, а он, по мнению Леонида, обладал удивительным даром внушать людям веру в свои силы.

Обеденный перерыв подходил к концу, когда в конструкторское бюро зашел Сергей Полетов.

— Ты почему не обедаешь? — спросил он.

— Не хочется! — Леонид нагнулся к чертежной доске, делая вид, что занят работой.

Сергей взял стул, сел на него верхом, положил руки на спинку и, внимательно глядя на своего шурина, спросил:

— Уважаемый гражданин, себе-то самому вы можете объяснить, что с вами происходит?

— Ничего особенного...

— А все-таки? Ну, напряги свои умственные способности.

Леонид молчал.

— Леня, мы с тобой давнишние друзья,— серьезно, без улыбки за-

говорил Сергей,— и знаем друг друга как облупленных. Выкладывай начистоту, что случилось?

— Я познакомился с нею!..

— С кем?

— С той женщиной... О которой я тебе говорил, помнишь?

— Ну и что? По этому случаю объявлена голодовка?

— Серега, не шути!

— Влюбился?

— Да...

— С первого взгляда?

— С первого взгляда.

— Бывает...— Сергей встал, прошелся по тесной, заставленной чертежами и деталями машин комнате.— И прекрасно, что познакомился! Постарайся поближе узнать ее — ты ведь ничего о ней не знаешь... И — честно предупреди Наташу!

— Как просто получается у тебя: узнай, предупреди... Куча конструктивных предложений! Сердце только во всем этом никак не участвует, а? Вполне современно...

— Мне остается только одно: поздравить тебя и пойти поесть! — Не получив ответа, Сергей вышел.

Леонид весь день работал с особым старанием. К пяти часам дала себя почувствовать усталость — начали неметь руки, заломило спину. Он встал из-за чертежной доски, потянулся. Вот теперь ему захотелось есть. Скорей домой, к Милочке,— она, наверно, приготовила что-нибудь вкусное. По дороге Леонид заглянул к Сергею в партком, но его там не оказалось.

...Утром следующего дня Леонид встал минут на пятнадцать раньше обычного, тщательно побрился, повязал новый галстук и, позавтракав на скорую руку, собрался уходить. У самых дверей его остановила Милочка.

— А ну-ка покажись! — Оглядев его, она сказала: — Вид ужасно самодовольный и несет от тебя, как из парикмахерской! Милый брат, не таись, поведай сестре, в чем дело?

— Решительно ни в чем. Может человек надеть новый галстук и после бритья протереть лицо одеколоном?

— Может, конечно. Вот только физиономия у тебя слишком выразительная — подводит. Вчера за ужином ты улыбался без всяких видимых причин, сам с собой разговаривал... Обычно люди так не ведут себя, если они психически здоровы.

— Желаю вам, моя бесценная сестричка, тысячу благ. Оттачивайте свою наблюдательность! — Леонид галантно раскланялся и ушел.

В вестибюле станции метро он остановился недалеко от лестницы, чтобы не пропустить Музу. Мимо него бесконечным потоком шли и шли озабоченные люди, спешили на работу, ехали в центр по своим житейским делам. Его толкали, но он, поглощенный мыслью о предстоящем свидании, не замечал этого.

Наконец Муза показалась. Еще издали заметив Леонида, она отвела глаза и, только поравнявшись с ним, холодно кивнула и молча направила, как всегда, к третьему от конца вагону.

Леонид опешил, теряясь в догадках. Что могло случиться за такое короткое время? И вообще, та ли это обаятельная женщина, которая всего двадцать четыре часа тому назад весело разговаривала с ним, непринужденно шутила, смеялась? Разве они не расстались друзьями? Он последовал за нею в вагон, не осмеливаясь заговорить.

Только на улице она взглянула на него и сухо, коротко ответила на его вопросы.

— Благодарю, я вполне здорова. Просто не в настроении...

— Надеюсь, не я причина этому? — робко спросил Леонид.

— Нет, конечно. Вы тут абсолютно ни при чем. Я капризная, неуравновешенная женщина...— Она ускорила шаги, как бы желая поскорее отделаться от него.

Но Леонид был упрям, да и самолюбие не позволяло ему прервать разговор.

— О том, какая вы, пусть судят другие. Я готов терпеливо ждать, пока вам захочется снова говорить и видеться со мной.

Муза остановилась там же, где и вчера.

— До свидания, терпеливый молодой человек,— сказала она, кивнула и ушла.

Так было и в последующие дни. Каждое утро они вместе ехали в вагоне метро. Он провожал ее до определенного места и следил за нею до тех пор, пока она не скрывалась в подъезде большого многоэтажного дома. Иногда, впрочем, она бывала в хорошем настроении. В такие дни она шутила и давала понять, что общество Леонида ей приятно. На следующий день ее словно подменяли, она опять замыкалась в себе. И только спустя недели две она уступила настойчивым просьбам Леонида и согласилась встретиться с ним вечером, у входа в Сокольнический парк.

Леонид почему-то был уверен, что Муза непременно опоздает. Но она пришла минута в минуту, была в прекрасном настроении, шутила, смеялась. Свернув в боковую аллею, ведущую к маленькому пруду, она села на скамью.

— Садитесь,— сказала она Леониду,— и рассказывайте про себя. Я ведь ничего не знаю о вас, кроме того, что вы многообещающий молодой инженер...

— Я знаю о вас и того меньше... Да и рассказывать мне почти нечего,— сказал Леонид, садясь рядом с ней.— Школа, война, эвакуация... Получили извещение, что отец пропал на фронте без вести. Потом он нашелся... в подмосковном доме инвалидов. Без рук и без ног. Сейчас живет с нами... Мать, не зная, что отец жив,— Леонид покраснел, говоря неправду,— вышла замуж за другого... Вот, пожалуй, и вся моя биография!.. Да, есть еще у меня сестра, Милочка. Весьма волевая особа, сестра преданная и заботливая. Зять тоже стоящий человек. Двое забавных зверюшек — племянница и племянник. Я живу с ними...

— Позавидуешь вам...

— Завидовать? Чему? — удивился Леонид.

— Ваша жизнь только начинается, а я успела многое пережить...

— Слушайте, это уже было! У классиков. Только мне вы почему-то отвели женскую роль: «В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла...» Боюсь все же, что Лермонтов имел в виду не меня.

Муза засмеялась, потом оборвала смех и долго смотрела на верхушки молоденьких берез и сосен, мягко освещенные золотистым светом заката.

— Если уж дело дошло до цитат,— сказала она,— придется шегольнуть и мне: «Я все видел, все почувствовал, все понял, все узнал...» Родилась я в семье художника, человека сурового, но справедливого. Имея склонность к языкам, поступила в институт иностранных языков. Была, как говорили у нас студенты, «трехязычницей» — изучала французский, итальянский и испанский. Знаю немного португальский. По окончании института три года работала переводчицей в нашем посольстве в Риме. Была замужем. Ученой степени не имею, научных трудов тоже. Если эти краткие сведения вас не удовлетворяют, то более подробные можете узнать, ознакомившись с моей анкетой и автобиографией в отделе кадров института, где я в настоящее время работаю.— После

небольшой паузы она спросила: — Почему вы не задаете вопроса, куда девался мой муж?

— Боюсь, это меня не касается,— ответил Леонид.

— Люблю благородных людей! — Она встала.— Может быть, пройдемся?

— С удовольствием.

Она сама взяла его под руку, и они пошли по аллее.

— Я, кажется, наболтала глупостей! — сказала она, не глядя на Леонида.— Не обращайтесь внимания — со мной это бывает...

Леонид понимал, что Музе не хочется о чем-то вспоминать. Он дочитал про себя оборванную ею строку: «Любил я часто, чаще ненавидел, и более всего страдал!..» Он не знал, что ей сказать. Понимал, что для него встреча с ней не просто знакомство — судьба. И что понадобится все его терпение, вся нежность, на которую он способен, чтобы эта женщина оттаяла, поверила в его любовь.

Солнце спряталось, в парке стало прохладно. Они пошли к выходу и, пройдя мимо церкви, свернули в переулок.

— Видите двухэтажный дом? Я в нем живу,— сказала Муза, показывая на дом в конце переулка.

— Так мы с вами соседи! Вот не думал. Я живу в следующем переулке. Почти рядом... А я вас никогда не видел в этих краях...

— Вероятно, потому что я живу отшельницей, редко выхожу из дома,— сказала она.— На работу и обратно. По субботам уезжаю к родителям на Масловку. Там у отца квартира, большая мастерская. Люблю запах красок — привыкла с детства.

Леонид понял, что она живет одна.

Пройдя переулок, Муза остановилась, протянула руку.

— Спасибо за приятно проведенный вечер!.. Пригласила бы вас к себе пить кофе, но, к сожалению, не могу — комната не убрана. Я ведь страшная лентяйка. Всю жизнь целенаправленно превозмогаю лень, а она меня!..

И Леонид, склонившись, впервые поцеловал ее маленькую, пахнущую духами руку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дмитрий Романович Сизов родился и вырос в семье замоскворецкого рабочего-металлиста, и биография его мало чем отличается от биографии тысяч юношей и девушек его возраста: школа, пионерский отряд, комсомол. С седьмого класса мечтал о профессии инженера-станкостроителя. Окончив школу, подал заявление в машиностроительный институт, но провалился на экзаменах. Пришлось пойти на завод к отцу, встать у станка. Через девять месяцев он уже работал токарем четвертого разряда. Вскоре его избрали секретарем комитета комсомола. И здесь же, на заводе, приняли в партию.

В тот день, когда коммунисты единодушно проголосовали за принятие в партию Дмитрия Сизова, его отец, Роман Митрофанович, вернулся домой в приподнятом настроении и сказал жене:

— Ну, мать, в первую очередь поздравляй Митю, но и меня не забудь поздравить: в надежные руки передаю дело, которому служил всю свою жизнь! Хорошего сына вырастили мы с тобой, ничего не скажешь!

Уже квалифицированный токарь, Дмитрий Сизов вторично подал заявление в машиностроительный институт. На этот раз он стал студентом. На третьем курсе коммунисты избрали его секретарем партийного комитета. На родной завод Дмитрий вернулся инженером. По мере того,

как он приобретал производственный опыт и инженерные знания, его выдвигали на более ответственные участки — начальником механосборочного цеха, диспетчером завода и, наконец, начальником производства.

Сизов любил технику и был доволен своей судьбой. Он работал с увлечением и меньше всего думал стать руководящим партийным работником. Однако другие думали иначе.

В те годы выдвижение на руководящие посты работников без всякой предварительной подготовки было обычным явлением.

Так случилось и с Сизовым. Его выбрали первым секретарем райкома партии большого промышленного района столицы так неожиданно для него самого, что он и опомниться не успел.

Накануне районной партийной конференции его вызвал к себе секретарь городского комитета партии, долго тряс руку, усадил в кожаное кресло перед столом. Устроившись напротив, секретарь первым делом осведомился о его здоровье, потом спросил, что нового на заводе. Сизов заметил, что на письменном столе лежит папка с надписью: «Дело инженера Сизова Д. Р.».

— Спасибо, на здоровье не жалуюсь... На заводе все нормально, план выполняем... Осваиваем новые, более производительные станки, активно боремся со штурмовщиной,— бормотал Сизов, стараясь понять, к чему весь этот разговор.

— Да, нам известно, что завод ваш работает хорошо,— сказал секретарь горкома и задумался.— Дмитрий Романович, если я не ошибаюсь, вы уже были на партийной работе, не так ли? — спросил он, внимательно посмотрев на смущенного Сизова.

— Нет, не был,— твердо ответил тот, но потом, поразмыслив, добавил: — Хотя... в институте меня дважды выбирали секретарем парткома.

Секретарь взял со стола личное дело, стал перелистывать его.

— А почему молчите о том, что дважды избирались членом партийного комитета завода? По-вашему, это не партийная работа?

— Я имел в виду руководящую работу...

— Что ж, Дмитрий Романович, полагаю, пора перейти к делу. Я вызвал вас для того, чтобы предложить большую, ответственную и очень интересную работу. Городской комитет хочет рекомендовать вас районной конференции. Не третьим, не вторым, а первым секретарем райкома партии.

— Что вы? — Сизов искренне удивился.— Какой из меня секретарь райкома? Для этого у меня нет никаких данных. И района нашего не знаю. И работу свою люблю... Да я и не делегат конференции!

— Это неважно. Данных у вас вполне достаточно. Опыт — дело наживное. Не зря говорится: не боги горшки обжигают!.. Научитесь. Партия систематически выдвигает кадры с низов и постепенно воспитывает их. Вы молодой, способный инженер, сын рабочего, в прошлом сами тоже рабочий. Кого же выдвигать на руководящую работу, если не таких, как вы? Уверен, что справитесь, да и мы поможем.— Секретарь откинулся на спинку кресла. У него был довольный вид человека, завершившего нелегкое, но нужное дело.

— Нет, не могу! Поймите — не по плечу мне это. Лучше оставьте на заводе. Я постараюсь работать еще лучше...

Секретарь нахмурился, взгляд его стал колючим.

— А я-то думал, ты дисциплинированный член партии!.. Не забывай, что мы с тобой солдаты партии — куда нас пошлют, там и будем работать. Ясно?

Сизов вернулся на завод растерянный. Не верилось, что все это серьезно. На вопрос товарищей, зачем его вызывали в горком

партии, отвечал уклончиво — надеялся, что в горкоме еще передумают...

Вечером, дома, он со всеми подробностями рассказал отцу о разговоре с секретарем горкома. У старого рабочего загорелись глаза.

— Слышишь, мать,— крикнул он жене,— наш Митя в гору пошел. Знай наших!

— Да ты что, отец, чему радуешься? Провалюсь я там с треском. Выгонят — позора не оберешься!..

— Ничего, сынок, поднатужишься малость, и дело пойдет. В 1924 году, когда умер Ильич, я первым пошел в ячейку и записался в партию. А сегодня сын мой Дмитрий Сизов будет главой целого района. Все законно! Главное, не робей и от заводского коллектива не отрывайся — в случае каких трудностей, заводские всегда помогут.

— Станный ты человек, Роман,— рассердилась мать Дмитрия,— на плечи парню вон какую тяжесть кладут, а ты вроде гордишься этим да еще советы даешь. Лучше бы помог ему избавиться от такой работы. Сам знаешь, свысока летишь — больно ушибешься.

— Не тревожься, мать, все будет в порядке. Нам, Сизовым, любая тяжесть по плечу,— самодовольно ответил Роман Митрофанович.

Все произошло, как предсказывал секретарь горкома.

На районной конференции Сизова избрали в президиум. Во время перерывов между заседаниями к нему уже подходили совершенно незнакомые, но весьма догадливые люди с острым нюхом и всячески высказывали свое расположение будущему секретарю райкома.

По рекомендации городского комитета пленум единогласно избрал Сизова Дмитрия Романовича первым секретарем и членом бюро райкома.

Избрать-то избрали, но не все члены пленума остались этим довольны. Председатель райисполкома Сурин давно вынашивал мечту стать первым секретарем райкома. В горкоме его, казалось бы, поддерживали. Такой вариант устраивал и третьего секретаря Астафьева, надеявшегося занять место Сурина в райисполкоме. И вдруг появился какой-то Сизов!.. Внешне оба они вели себя по отношению к нему безупречно, а исподтишка делали все, чтобы подорвать авторитет нового человека, восстановить против него работников аппарата и актив. Если они возражали против тех или иных предложений нового первого секретаря на заседаниях бюро, то делали это деликатно, с улыбочкой, всячески подчеркивая, что преследуют единственную цель — предостеречь неопытного человека от возможных ошибок и, разумеется, желают ему только добра.

Сизов при всей своей прямолинейности никак не отвечал на эти выпады. И у окружающих нередко создавалось впечатление, что он человек бесхарактерный. До Сизова в райкоме привыкли, что первый секретарь проводит большую часть времени у себя в кабинете, опирается только на аппарат, созывает бесконечные совещания, что он недоступен для рядовых членов партии, не говоря уже о простых гражданах. Такой стиль в работе считался нормальным, никто против него не возражал — наоборот, все старались подражать первому секретарю.

И вот с избранием «бесхарактерного» Сизова все начало постепенно меняться. Аппарату райкома с каждым днем становилось труднее и сложнее работать. Секретарь сам вникал в жизнь района и требовал того же от других. Он возвращал написанные наспех докладные записки, необоснованные проекты решений бюро. Все это не могло не раздражать работников аппарата. Да еще Астафьев, третий секретарь, не упускал случая подлить масла в огонь, беседуя один на один то с заведующими отделами, то с инструкторами райкома...

Как правило, Сизов проводил первую половину дня на предприятиях района. Не заходя в райком, он прямо из дома ехал на заводы, фабрики, ходил по цехам, изучал производство, подолгу разговаривал с коммунистами, рабочими. Возвращался к себе в райком с обстоятельными записями в блокноте. Вопросы решал оперативно, со знанием предмета — ведь сам он был опытным инженером. Установил твердые дни и часы для приема посетителей по личным вопросам и строго соблюдал их. Обязал сделать то же самое и других секретарей райкома, председателя райисполкома, его заместителей.

И постепенно мнение о Сизове как о справедливом, доброжелательном и знающем партийном руководителе распространилось по району. Люди шли к нему за советом и помощью.

Странное дело — по мере укрепления авторитета Сизова в районе, к нему все сдержаннее относились в верхах. Некоторые считали его выскочкой, другие мягкотелым интеллигентом, хотя и те и другие не могли отрицать, что Сизов деловой человек и хороший организатор. Промышленность района работала успешно, производственные планы выполнялись, никаких чрезвычайных происшествий не было — поэтому Сизова до поры до времени терпели.

После Отечественной войны с новой силой начались репрессии. Сизов был мыслящим, наблюдательным человеком. Он тяжело переживал свое бессилие, нередко проводил бессонные ночи. А тут еще отец беспрестанно укорял его:

— Тоже мне, секретарь райкома называется!.. На глазах у него черт-те что творится, а он хоть бы что! Постыдились бы — народ кровью обливался, грудью отстоял землю свою, революцию, а теперь делают вид, что народа вроде бы вовсе и не было...

— Я-то здесь при чем? — пробовал урезонить старика сын.

— Ты — представитель партии, стало быть, отвечаешь за все!

— Знаешь не хуже меня, что я, как и ты, как и многие, ничего сделать не могу...

— Тогда уходи, — освободи место тому, кто может!.. Гордился я тобой. А теперь стыдно за тебя и вообще за вас, теперешних руководителей. Уходи, подай в отставку, вернись на завод. По крайней мере совесть будет чистой...

— У нас не принято в отставку подавать, а то бы долго не раздумывал, — с досадой отвечал сын.

— А страх на людей принято нагонять? Забывать о Ленине, Владимире Ильиче, о его заветах, принято?

Нерешительность Сизова на бюро райкома при разборе персональных дел «за потерю бдительности», его мягкое отношение к людям, несправедливо обвиняемым, не могли ускользнуть от внимательного и пристрастного взгляда. У искушенных в аппаратных делах работников райкома не оставалось сомнения, что такое поведение ему не простят, что дни первого секретаря сочтены — все дело в подходящем случае. И такой случай не заставил себя долго ждать.

Ночью, накануне праздника Октябрьской революции, кто-то проник в клуб радиозавода и испортил портрет Сталина.

Первым обнаружил это рано утром седьмого ноября секретарь парткома завода. Он немедленно сообщил о случившемся во все инстанции. И началось...

Астафьев, узнав о происшествии, сразу сообразил, что это именно тот случай, когда можно проявить свою неугасимую бдительность и нажить политический капитал. Он потребовал срочного созыва заседания бюро райкома для обсуждения чрезвычайного события, случившегося в районе.

— Не лучше ли найти другой портрет товарища Сталина и дать воз-

можность рабочим радиозавода участвовать в демонстрации. А обсуждение проведем после праздников,— возразил Сизов.

Астафьев занял позицию человека, оскорбленного в своих лучших чувствах.

— Пользуясь ротозейством некоторых наших работников, а может быть, и при их содействии, враги поднимают свои грязные руки на самое дорогое, что есть для нас на земле! А мы будем хладнокровно проходить мимо? Какой может быть для нас праздник, если враги не понесут заслуженного наказания?

— Но ведь виновник не обнаружен, кого же вы собираетесь наказывать сегодня? — спросил Сизов.

— Не виновник, а виновники! — с расстановкой процедил Астафьев.— Ясно, что орудовала целая шайка врагов. Их целью было омрачить народу его светлый праздник. Как хотите, товарищ Сизов, но я настаиваю на созыве бюро сейчас же после демонстрации!

Сизов вынужден был согласиться.

Открывая заседание, он попросил говорить коротко и первому представил слово секретарю парткома радиозавода Андрееву. Тот, не скрывая ничего, рассказал о случившемся.

— Утром в шесть часов я уже был на заводе, проинструктировал правофланговых и пошел в клуб посмотреть, как распределяют оформление по колонне, и тут заметил, что портрет товарища Сталина лежит на полу... Я поднял портрет и тогда только заметил, что портрет испорчен...

— А нельзя ли точнее? — спросил Астафьев.

— Лицо было залито краской,— тихо проговорил Андреев.— Охрана завода сообщила, что до нашего прихода никто ключей от клуба не брал, а заведующий клубом Назаров утверждает, что, придя на завод, он нашел двери клуба закрытыми. Как злоумышленник проник в клуб, остается загадкой.

— Подумаешь, загадка! Враги действовали по заранее намеченному плану и, конечно, подобрали ключи,— сказал Сурин.

— Возможно, что и так,— согласился Андреев.

— Не возможно, а точно так! — крикнул Астафьев.— У вас на заводе орудует целая группа врагов, а вы только хлопаете ушами!

Сизов постучал карандашом по столу, призывая Астафьева к порядку.

Выступавшие затем директор завода, председатель завкома и заведующий клубом ничего не могли добавить к сообщению секретаря парткома. Только расстроенный директор выразил сомнение, что на заводе орудует группа врагов. «Этого никак не может быть»,— добавил он.

Перешли к обсуждению. Члены бюро, понимая, что руководители завода не виноваты в случившемся и что такое несчастье могло произойти с каждым, молчали. Молчали и Астафьев с Суриным...

Сизов обвел глазами сидящих за длинным столом.

— В таком случае начнем с товарища Астафьева... Ваше слово, Александр Петрович!

— Почему именно с меня? — Астафьев пожал плечами.

— По той простой причине, что сегодняшнее внеочередное заседание бюро создано по вашему настоятельному требованию! — сердито ответил Сизов. Он хотел, чтобы члены бюро знали причину созыва бюро.

— Некоторые товарищи могут сказать нам,— начал Астафьев,— что раз конкретные виновники этого вопиющего факта не обнаружены, так чего же огород городить? Подождем, обнаружим виновников и тогда вернемся к обсуждению вопроса. Правильны ли такие рассуждения?

Отвечаю решительно: нет! Разве не ясно всем, что дело не только в конкретных виновниках, а в той обстановке благодушия и политической беспечности, которая царит на заводе. Да, да, товарищ Андреев, не качайте головой! То, что случилось у вас, это результат лично вашей политической слепоты и бездеятельности...

— Я решительно протестую против таких формулировок! — возмутился Андреев. — У товарища Астафьева нет никаких оснований для подобных утверждений...

— Интересно, — протянул Астафьев, — на заводе, где политическим руководителем является Андреев, орудуют враги, они дерзко, открыто совершают диверсию, а Андрееву нужны еще другие основания!

— С врагами я обязан бороться, но отвечать за их действия не могу! — ответил тот.

— Прошу не переговариваться, — вмешался Сизов. — У вас есть конкретное предложение, Александр Петрович?

— Да, есть! Я предлагаю снять Андреева с работы секретаря парткома завода и исключить его из партии за притупление политической бдительности. Исключить из рядов партии также заведующего клубом Назарова и дело его направить следственным органам для привлечения к строжайшей ответственности за то, что он халатно отнесся к своим служебным обязанностям и дал возможность врагам орудовать у него под носом!.. За ослабление политико-воспитательной работы среди коллектива завода объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку председателю завкома. Директору завода объявить выговор и предупредить его, что он несет персональную ответственность перед партией за политические настроения коллектива на вверенном ему заводе!

Астафьев замолчал. Молчали и члены бюро. Никто не ожидал таких предложений, хотя все знали, что третий секретарь жесткий человек.

— Какие еще есть предложения у членов бюро? — спросил Сизов. Он был очень бледен, говорил с трудом.

— Я присоединяюсь к предложениям Александра Петровича, — после небольшой паузы сказал Сурин и, чтобы подбодрить самого себя, добавил: — Мы ведь не можем пройти мимо таких фактов — нам этого не простят!..

— За что вы собираетесь исключать меня из партии? — Андреев поднялся с места. — Разве вы не знаете меня или видите в первый раз? Я всю жизнь честно работал. Воевал, награжден пятью боевыми орденами и медалями. До сих пор никаких замечаний не имел. Сам же Астафьев хвалил меня на последнем партактиве района, в пример ставил за хорошую постановку агитационно-массовой работы. Так за что же вы собираетесь исключить меня из партии? Враги совершают преступление, а мы бьем своих! Им на радость, что ли? — горько закончил он.

Члены бюро по-прежнему молчали.

— Есть одно предложение — товарища Астафьева. Я его повторять не буду, но хочу спросить: никто не возражает против него? — спросил Сизов.

Ответа не последовало.

— В таком случае, разрешите мне. Как вы могли убедиться, обстоятельства дела не расследованы до конца и конкретный виновник или виновники не обнаружены. Следовательно, делать окончательные выводы рано. В одном я глубоко убежден: если мы без веских на то оснований станем наказывать своих людей, то совершим непоправимую ошибку и нанесем большой ущерб партии и стране. Врагам это будет только на руку. Мои предложения сводятся к следующему. Первое. До оконча-

тельного расследования обстоятельств этого дела Андреева отстранить от работы секретаря парткома. Попросим товарища директора подыскать ему работу на заводе. Это легко сделать — Андреев высококвалифицированный инженер-радиотехник. Второе. Поручить орготделу райкома провести тщательное расследование всех обстоятельств случившегося и доложить бюро. Тогда и решим, как быть и кого наказывать. Какие еще будут предложения?

— Я присоединяюсь к вашим предложениям! — сказал член бюро райкома, уполномоченный райотдела МГБ. Это было для всех большой неожиданностью, и многие члены бюро облегченно вздохнули.

— Итак, других предложений нет? В таком случае ставлю на голосование два предложения в порядке их поступления...

Все члены бюро, за исключением Сурина и Астафьева, подняли руки за предложение Сизова. Он собрался было закрыть заседание, но Астафьев потребовал немедленно провести закрытое заседание бюро. Когда представители завода и работники аппарата райкома вышли из кабинета, Астафьев поднялся со своего места и объявил:

— Я требую записать в протоколе мое особое мнение...

— Меня удивляет ваше поведение, товарищ Астафьев! — Терпение Сизова лопнуло. — Решение принято абсолютным большинством голосов...

— Это его право! — вмешался Сурин. — Любой член бюро может записать свое особое мнение, если он не согласен с тем, как решается вопрос. Мне тоже хотелось бы записать в протокол, что члены бюро, может быть, под давлением первого секретаря или по каким-либо другим причинам, подошли к решению столь важного политического вопроса непринципиально, допустили либерализм!.. Поэтому я оставляю за собой право обратиться в вышестоящие партийные органы.

Это уже была неприкрытая угроза.

— Что ж, — стараясь сохранить спокойствие, сказал Сизов, — если Астафьев и Сурин настаивают на своем, занесем их мнение в протокол — пожалуйста!.. Однако зачем же бросать тень на членов бюро? Впрочем, хватит об этом! Заседание бюро объявляю закрытым. Желаю всем хорошо провести праздник!..

Как и следовало ожидать, после праздников в районе начала работать комиссия городского комитета партии, проверявшая не только происшествие на радиозаводе, но и всю работу райкома и, разумеется, деятельность первого секретаря в первую очередь. К счастью, в комиссию попали честные, опытные люди. Им нетрудно было установить, что руководители завода не имеют никакого отношения к случившемуся, тем более, что вскоре был обнаружен непосредственный виновник — хулиган и пьяница маляр, испортивший портрет из простого озорства. Но члены комиссии понимали также, что дальнейшая совместная работа Сизова, Астафьева и Сурина невозможна. Председатель комиссии поставил этот вопрос перед секретарем горкома, ведающим кадрами. Тот, не раздумывая долго, ответил, что Сизова придется освободить...

Это было в январе, а в феврале секретарь горкома вызвал Сизова к себе и после обычных расспросов о здоровье, о делах в районе нашел, что вид у Сизова утомленный, и предложил ему взять путевку в звенигородский санаторий на два месяца — подлечиться, хорошенько отдохнуть.

— Вернетесь, — тогда и поговорим о вашей новой работе, — заключил он.

Это была вежливая форма снятия с работы. Сизов давно ждал этого. В первую минуту он хотел было выложить секретарю горкома все, что накопилось на душе, но передумал. К чему?.. Он поблагодарил горком за проявленную заботу и пошел в лечебную часть оформлять путевку.

Мороз выводил узоры на стеклах окон, пощипывал кожу на лице. Под ногами хрустел снег, воздух казался густым, дышалось тяжело. Изредка на студеном небе показывался затуманенный диск солнца, большой, похожий на медный таз. Снег начинал блестеть, искриться, и на душе становилось легче. Однако это случалось редко, чаще всего небо было затянато сплошными облаками, которые опускались совсем низко, а на горизонте сливались с покрытой снегом землей. Шел снег, большие хлопья, прежде чем упасть на обледенелые сугробы, долго кружились в морозном воздухе.

В санатории, куда приехал Сизов, отдыхало и лечилось человек сорок. Они просиживали в своих кабинетах по заведенному в то время порядку чуть не до самого утра и выглядели предельно уставшими, изможденными и с удовольствием отдавались безделью, стараясь не мешать друг другу, не нарушать тишины. Здесь все располагало к хорошему отдыху: предупредительный персонал, вкусная и обильная еда, великолепный лечебный корпус, квалифицированные врачи. В светлых комнатах было тепло и уютно.

В комнатах обычно жили по два-три человека, но Сизов попросил главврача санатория поселить его хоть в маленькой, но отдельной комнате. Его просьбу удовлетворили, и он был очень доволен этим.

Жил он замкнуто, старался ни с кем не общаться, хотя почти все обитатели санатория были ему знакомы. Вставал он рано и, после зарядки, в шапке-ушанке, теплых сапогах, меховых рукавицах и пальто с бобровым воротником, выходил во двор. Долго, до самого завтрака, ходил он по дороге перед санаторием. Ходил, думал: вот его снимают с работы — пусть без шума, но все же снимают... Почему, в чем он провинился? Он мысленно анализировал свои поступки за последние годы и никаких особых ошибок не находил. Были, конечно, отдельные промахи — у кого их не бывает? Разумеется, никакой трагедии в том, что его снимают, нет. Правда, он утратил многие навыки по своей специальности, но вернувшись на завод, сможет быстро наверстать упущенное. Говорят, власть портит людей и будто бы расставаться с властью трудно. К нему это отношения не имеет: он никогда не страдал честолюбием и о потере должности горевать не будет. Жаль только, что усилится влияние карьеристов Астафьева и Сурина. Таких, как они — демагогов, подхалимов, — что-то много развелось за последнее время... Почему? Кто поощряет Астафьевых и Суриных? Обязательно вернуться на завод, во что бы то ни стало, ни на что другое не соглашаться, если даже и предложат. Лучше всего определиться в конструкторское бюро. Самое большое удовольствие в жизни — творчество. Думал он и о своей личной жизни. Не было ее у него. Семью и то не сумел создать — все некогда было... Придет время, спросится: что ты успел сделать полезного на протяжении твоей долгой жизни? Не ответишь же: провел столько-то заседаний, высидел в президиуме столько-то собраний, говорил множество речей и подписывал горы бумаг. Это все преходящее. А вот выстроенный дом, новый станок, написанная книга останутся для людей.

После прогулки, приятно усталый, несколько возбужденный своими не такими уж веселыми мыслями, Сизов шел в столовую завтракать. На отсутствие аппетита пожаловаться не мог, считал себя абсолютно здоровым, не лечился, к врачам не ходил.

Как-то приехал отец навестить сына, привез его любимых пирожков с капустой — мать прислала. Пробыл часа три и все это время ворчал:

— Вы бы пришли в заводские курилки, послушали бы, что говорят рабочие!.. Совсем оторвались от народа — думаете, только вы, руководители, знаете все... А в деревне — что? Удирают люди из деревень, вербуются на любую работу, уезжают, куда глаза глядят. Кому охота ра-

ботать бесплатно?.. Нет, Владимир Ильич не так учил! — Старик достал пачку дешевых папирос «Бокс», закурил, глубоко затянулся дымом, закашлялся.

— Удивляюсь тебе, отец!.. Ты — старый большевик, вроде сознательный член общества, а на все критику наводишь. Разве не понимаешь, что наши недостатки происходят из-за нашего роста? — не слишком уверенно возражал сын.

— Брось ты агитировать меня заученными словами! Рост да рост... Слов нет, сделано много, но нельзя же все ошибки и недостатки прикрывать трудностями роста. О жизни народа тоже нужно думать. Я потому и навожу критику, что душа болит!

Сын молчал. И так же молча проводил старика до станции.

Приближалось время, когда он должен предстать перед строгими очами секретаря горкома, не смея высказать ни единого слова протеста или по-человечески спросить: «Скажите, на кого вы меня меняете? Почему такие бесчестные карьеристы, как Сурин и Астафьев, у вас в почете? Не наводит ли все это на грустные размышления?» Пустое — не скажет и не спросит! Не принято.. Если даже скажет и спросит, все равно ничего не добьется...

Второго марта, рано утром, Сизов, по заведенному порядку, вышел на прогулку. Кто-то окликнул его. Следом за ним быстро шел, задыхаясь, успевший ожиреть, несмотря на молодые годы, Горин, — секретарь одного из райкомов комсомола Москвы.

— Дмитрий Романович, какой ужас!.. Вы слышали?

— Нет, я радио не включал. Случилось что?

— Тяжело заболел товарищ Сталин! Сам слышал, передавали по радио.

Некоторое время они молча шагали рядом.

— Видно, дело серьезное. Иначе не объявили бы по радио, — нарушил молчание Горин.

— Похоже, — односложно ответил Сизов.

...Пятого марта 1953 года московское радио сообщило о смерти Сталина.

День был пасмурный, серый. Дул холодный, пронизывающий ветер. От его порывов раскачивались, сухо потрескивали деревья, а с елок сыпался снег.

Прослушав сообщение о смерти Сталина, Сизов вышел и зашагал навстречу снежному вихрю. Долго ходил он без цели и почти без мыслей в голове. Губы его дрожали. Не переставая, повторял шепотом одно и то же: «Что же теперь будет со страной, что теперь будет?..»

Возбуждение первых минут постепенно улеглось, сердце стало биться ровнее. И вдруг, как вспышка молнии, его осенила мысль, что теперь вряд ли его отстранят от работы. И сразу начал казнить себя: «Не совестно ли — в такое время думать о личном». Но тут же нашелся ответ: «Ничего не поделаешь — Сталин умер, а жизнь продолжается»...

Да, жизнь продолжается... Он решил немедленно вернуться в Москву.

Прямо с вокзала Сизов отправился домой. Отец только что пришел с работы. Умывшись, переодевшись, он сидел за столом в ожидании обеда. Мать хлопотала на кухне, гремела посудой.

Открыв сыну дверь, Роман Митрофанович крикнул жене:

— Мать, а мать, говорил я тебе — не усидит Митя в санатории, обязательно вернется!

За обедом по случаю приезда сына Роман Митрофанович достал из буфета заветную бутылочку, налил себе полстакана, жене и сыну порюмке водки.

— Выпьем за упокой его души!.. Жаль — он мог оставить о себе хорошую память,— сказал он, подняв стакан.

От неожиданности младший Сизов даже поперхнулся. Поставил свою рюмку на стол и устался на отца.

— Опять сел на своего конька! — вмешалась мать. — Не смущай парня, дай ему спокойно поесть.

— Погоди, мать, — остановил жену Роман Митрофанович. — Надобно разобраться. Может, у секретаря райкома есть на этот счет свои особые соображения, пусть выскажется.

— Я тебя не понимаю...

— Дорогой сынок, забудь на минутку, что ты секретарь, так сказать, вождь и учитель районного масштаба. Давай разберемся во всем по порядку.

— Давай разберемся!

— Никто не собирается отрицать того, что после смерти Владимира Ильича Сталин взял правильную линию, преградил путь троцкистам, взялся за индустриализацию со всей свойственной ему энергией. Позже он зазнался, стал считать себя гением. Конечно, в этом помогли ему окружавшие его подхалимы. Было время, когда я сам вскакивал на ноги при одном упоминании его имени и изо всех сил кричал «ура». Потом уж разобрался что к чему... Кому пришло в голову приписывать все наши достижения одному человеку? Видно, людям, которые больше думали о своей карьере, чем о благе народа... Получалось, что все мы сидели сложа руки, а он сам строил электростанции, заводы, фабрики. Мы отлеживались на печке, а он переносил за нас холод и голод, своей грудью преградил путь врагу...

— Отец, я знаю одно — во всем этом нужно хорошенько разобраться! — сказал сын.

— Я уже разобрался... Хочу тебе помочь!

— Думаю, что все это значительно сложнее, чем кажется...

Отец и сын долго молчали. Старый рабочий, высказав то, что накопилось на душе за долгие годы, почувствовал облегчение. Он допил стакан и принялся за еду. У сына аппетит пропал, он сидел и думал о том, что отец не такой человек, чтобы сводить какие-то свои счета. Очевидно, приходится переоценивать многие ценности.

В эту ночь Дмитрий Сизов спал плохо, резкие слова отца не выходили из головы. «Лишь бы не наломать нам дров, — думал он, — не пустить под откос то, что создано....»

Утром Сизов поехал в горком партии. Ему не терпелось встретиться с кем-нибудь из секретарей, узнать новости.

В коридоре он столкнулся лицом к лицу со вторым секретарем городского комитета. Тот дружелюбно поздоровался с ним и сказал:

— Хорошо, что сам догадался приехать! Мы уж собирались посылать за тобой. Заходи, заходи, — широким жестом он пригласил Сизова к себе в кабинет. — Отдохнул, значит? — спросил он, опустившись в кресло за письменным столом.

— Да как вам сказать... — начал было Сизов, но секретарь не дал ему закончить.

— Я понимаю, не до отдыха теперь!.. Возвращайся в райком, бери бразды правления в свои руки. Обстановка, сам понимаешь...

Сизов замялся было, но все же сказал:

— Хочу напомнить вам, что перед моим отъездом в санаторий Александр Терентьевич, разговаривая со мной, сказал, что после моего возвращения придется думать о новой работе. Вы ведь тоже в курсе дела...

— Да, конечно. На этот счет у нас были кое-какие соображения, но

они отпали. Сейчас не время разбазаривать кадры партийных работников. Сегодня же приступай к работе. Познакомься с обстановкой в районе и позвони! — Когда Сизов был уже у дверей, секретарь горкома осановил его: — Да, совсем забыл, ты повнимательней присмотришься к своему третьему — Астафьеву... Человек он скользкий...

Не нужно было быть очень проницательным, чтобы понять: при новой обстановке ему, Сизову, дается предпочтение перед Астафьевым.

— Хорошо, я представлю вам свои соображения, — сказал Сизов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В конце месяца при подсчете оказалось, что план еле-еле вытянули на сто и семь десятых процента. Производительность труда и оборудования тоже упала. Не то что о переходящем знамени — даже о каком-либо месте в соцсоревновании нечего было и думать. Никто ведь не примет во внимание, что люди на комбинате старались изо всех сил и выработали новые, дешевые ткани: комиссии по подведению итогов социалистического соревнования подавай цифры. Оказывается, формализм может проявиться даже в таком благородном деле, как соцсоревнование!..

Склад готового товара был забит рулонами новых тканей. Их накопилось уже около двенадцати тысяч метров, а цену до сих пор не определили. Продавать товар было нельзя, хотя торгующие организации готовы были взять любое количество новых тканей. Главный бухгалтер комбината Варочка, на что выдержанный человек, и тот начал бить тревогу. Он предупредил Власова, что комбинат не может выдержать такого финансового напряжения и, если дела не поправятся, скоро нечем будет платить зарплату рабочим. Районное отделение Госбанка прислало извещение, что текущий счет комбината закрыт. Как только об этом узнают предприятия-поставщики, комбинат останется без сырья.

Переговоры Власова с директором отделения Госбанка, человеком умным и всегда отзывчивым, на этот раз ни к чему не привели. В самом деле, кто же решится открыть кредит? Ведь на новый товар нет утвержденной цены, и когда ее утвердят — неизвестно.

Прогрессивки тоже не будет — мастера и все инженерно-технические работники потеряют по вине своего беспокойного директора процентов тридцать — сорок заработка. Люди пока молчат, но Власов знает: не думать об этом они не могут.

На днях, проходя мимо курилки, он случайно услышал разговор двух мастеров ткацкой фабрики. Один из них говорил другому: «Значит, зубы на полку — ни прогрессивки, ни премии». Другой ответил: «Удивительное дело — на всех фабриках люди работают спокойно, вперед не лезут, а нашему директору все не так, вечно что-то придумывает». — «А ему что! — сказал первый. — Жена наукой занимается — думаю, тысячи три загребают. Мать пенсию получает. Сам он непьющий — и без зарплаты проживет». — «Ну, это ты загнул, — не согласился второй, — Власов не о себе печется, не такой он человек!..» Продолжение разговора Власов слушать не стал.

Скрепя сердце он пошел к Бокову — недавно назначенному начальнику текстильного управления горсовнархоза. С Боковым он был знаком еще с тех времен, когда работал на комбинате главным инженером.

Вслушав горячий и сбивчивый рассказ директора, Боков покачал головой.

— Да... Положение у вас действительно аховое, что и говорить! Постараемся, конечно, помочь чем сможем. Нельзя же, в самом деле, остав-

лять ближнего в беде... Только честно предупреждаю — многого не ждите,— и Боков пригласил в кабинет начальника финансового отдела.

— Вот такая у меня просьба, уважаемый король финансов,— обратился к нему Боков,— переведите, пожалуйста, на текущий счет Московского камвольного комбината пятьдесят тысяч рублей из нашего резерва на пополнение оборотных средств.

Тот недоуменно пожал плечами.

— У комбината и так излишек оборотных средств в полмиллиона. Вместо того чтобы изъять, вы еще пятьдесят тысяч даете...

— Бывают обстоятельства, когда нужно помочь, зная заранее, что это не совсем по инструкции,— мягко сказал Боков.

«Король финансов» не уходил.

— У вас есть еще вопросы? — спросил Боков.

— Вопросы, пожалуй, нет, но замечание есть.— Финансист сделал паузу, проглотил слюну.— Нехорошо, очень даже нехорошо, скажу вам, когда фабрики самовольно вырабатывают товар по неутвержденным образцам. Они забывают, что у нас плановое хозяйство и партизанить нельзя. Если так будет продолжаться и дальше, то никаких оборотных средств нам не хватит, даже если Госбанк откроет перед нами свои сейфы.— Он достал из внутреннего кармана пиджака платок, вытер лоб и облегченно вздохнул, как человек, исполнивший свой долг.

— На эту весьма занимательную тему мы поговорим с вами в другой раз,— сдерживаясь, ответил Боков и отпустил начальника финансового отдела.

— Николай Иванович, для нас это не выход из положения,— начал было Власов, но Боков перебил его:

— Не взыщите, больше не могу!.. Оставаться совсем без резерва нельзя — мало ли что может случиться...

— Разумеется, и за это спасибо! Но, пожалуйста, поймите меня правильно. Так ведь работать невозможно. Народ не хочет покупать нашу устаревшую, немодную и очень дорогую продукцию, а на пути к новому, словно нарочно, поставлены десятки преград...— Власов не без труда заставлял себя говорить спокойно, не горячась.

— Возможно, кое в чем вы и правы,— ответил начальник управления.— Однако забегание вперед трудно считать особой доблестью. Наверху тоже сидят умные головы и думают обо всем. Недаром говорится, что с горы виднее. Вы забыли об этой поговорке, забежали вперед и создали себе массу трудностей.

— Ну, знаете, лозунг «за нас думают» пора сдать в архив! Я с ним не был согласен раньше, тем более не могу согласиться теперь...

— Алексей Федорович, я вас уважаю за ваши большие инженерные знания, за огромный опыт, выдающиеся организаторские способности...

— Мне не комплименты нужны,— перебил Власов.

— Это и не комплименты. Уважал бы и за новаторство, если бы вы проявляли его в меру. К сожалению, вы иногда теряете чувство реальности и хотите опередить и время и всех других. Так нельзя!

— Почему нельзя! Можно и нужно. В общественном деле обязательно нужно стремиться опередить соседа, о времени и говорить нечего. Ведь из-за этого заезженного «за нас думают» мы обкрадываем себя...

— По-моему, вы начали агитировать меня, а я уже давно за Советскую власть.— Боков холодно улыбнулся.— Трудный у вас характер, Алексей Федорович, беспокойный, колючий...

— Скажите честно, Николай Иванович,— спросил Власов, вставая,— неужели вас не волнует завтрашний день промышленности, которой вы руководите?

— Еще как!

— Так почему же вы не принимаете никаких действенных мер? Рано или поздно с нас спросится, почему мы топтались на месте, почему годами отделялись пустыми обещаниями всемерно удовлетворять растущие потребности народа?

— Наивный вы человек, Власов!.. Я только по форме руководитель, а на деле исполнитель и никаких мер принимать не могу. Слышите? Никаких!.. Скажите спасибо, что не мешаю людям работать....

— Объясните мне по совести, для чего существуют эти совнархозы с тысячными аппаратами, если они ничего не решают и ничем не руководят? Впрочем, может быть, они поставлены в такие условия, что хотят, но не могут руководить?

— Вернее, последнее,— негромко ответил Боков.

Власов ушел от начальника управления с тяжелым сердцем. Дело не в форме управления и не в Бокове. Назначь на его место кого угодно и не дай ему никаких прав, будет то же самое. Боков еще молодец, добрый малый — хоть как-то помог. Разве он виноват, что пятьдесят тысяч рублей для комбината, что слону дробинка?..

На улице припекало. Власов отпустил машину и, чтобы восстановить равновесие, не спеша спустился к площади Свердлова. Постепенно чувство безнадежности, угнетавшее его несколько минут назад, прошло и жизнь показалась не такой уж плохой. Если Боков умный, он должен понять, что лично ему, Власову, ничего не нужно. Он мог бы работать так же спокойно, без лишних волнений и забот, как многие другие директора, выполнять и немножко перевыполнять государственный план, получать прогрессивку и премиальные, быть в почете, пользоваться уважением начальства, а там хоть трава не расти. Впрочем, нет, не мог бы!.. Он не приказчик у купца-фабриканта Тита Титыча, а доверенный работник государства и обязан думать не только о сегодняшнем дне, но и о перспективах промышленности, о будущем всей страны...

Власов напрасно преуменьшал значение тех пятидесяти тысяч рублей, которые приказал выделить комбинату начальник текстильного управления Боков. Эти деньги дали возможность не только выдать вовремя зарплату, но и оттянуть на некоторое время нависшую над комбинатом финансовую катастрофу.

Главный бухгалтер Варочка, относившийся к директору с какой-то особой симпатией и во всем поддерживавший его, изворачивался как только мог. Он навел строжайшую экономию, настоял на том, чтобы снабженцы реализовали лежавшие годами на складах излишки материальных ценностей, неустанно следил за тем, чтобы готовую продукцию отгружали вовремя. Он сам ходил с экспедитором в банк, сдавал документы и открывал кредит под отгруженный товар. А количество готовой продукции, не имеющей цены, неудержимо росло — не только на складе, но и в коридорах уже не было места.

Прошел еще месяц, и, чтобы вовремя выдать очередную зарплату, Варочке пришлось просить банк прекратить платежи и зарезервировать поступающие деньги под зарплату. Поставщики не замедлили отреагировать на это. Первой подала сигнал тревоги Фряновская фабрика, поставляющая комбинату шерстяную пряжу. В телеграмме директор писал Власову: «Ввиду непоступления денег отгрузку прекращаем. Требуем выставления аккредитива». Варочка побежал в банк, после длинных и довольно неприятных разговоров с заместителем управляющего ему удалось наскрести немного денег и уплатить долг Фряновской фабрике. Вдогонку за деньгами он послал телеграмму, в которой покривил душой: произошло, мол, недоразумение... Дня через три прекратили отгрузку

сырья и материалов сразу несколько поставщиков — в их числе крупнейший поставщик красителей химический завод. Комбинат оказался несостоятельным плательщиком. Управляющий банком официально известил Власова, что в порядке санкции комбинат лишается банковского кредита на шесть месяцев. Над комбинатом нависла реальная угроза останавки. Власов понимал: за все спросится в первую очередь с него. Как это он, опытный хозяйственник, поступил так легкомысленно? И никто даже не вспомнит о том, что вот уже больше трех месяцев работники комбината обивают пороги разных учреждений, часами простаивают в приемных ответственных работников и молят об одном — утвердить цены на хороший, нужный народу товар. В одном учреждении дают положительное заключение, в другом сочувственно кивают головой и ставят визу — мы, мол, согласны, но пусть окончательно решают другие, а в третьем требуют такие данные о технических показателях, что, кажется, утверждают цены не на шерстяные и полушерстяные ткани, а на реактивные самолеты и ракеты...

Власов, прохаживаясь по привычке из угла в угол кабинета, представил себе на минуту, как через день, через два начальники цехов объявят рабочим утренней смены, что из-за отсутствия сырья, красителей, химикатов и вспомогательных материалов фабрики комбината временно останавливаются. Тысяча рабочих направляются к проходной... Они изумлены, возмущены — они не могут понять, как же так: в тяжелые дни войны комбинат не простаивал ни одного дня, а тут?.. Где же был директор, почему он вовремя не принял необходимых мер?

Власов сжал кулаки. Разве он не думал о добром имени коллектива, о его благе, когда приказал заправить двадцать станков под новые образцы? Делал он это сознательно, предвидя возможные последствия. Он-то понимал, что, помимо всего прочего, надвигалась реальная опасность затоваривания для многих шерстяных и трикотажных фабрик. Неужели руководители не замечают нашей отсталости в этой области? Или — почему делают вид, что не замечают? Видно, так спокойнее жить... Зачем раньше времени портить себе кровь и тревожить высокое начальство?

В кабинет влетел плановик Шустрицкий и, еще стоя у дверей, развел руками.

— Ничего не получается! — сказал он. — Какой-то заколдованный круг... Если бы я не был в здравом уме, то решил бы, что против нас заговор. Взрослые люди играют в прятки и повторяют одно и то же: «Куда вы торопитесь?» Легко сказать, куда вы торопитесь, тому, над кем не каплет...

— Короче, опять не утвердили цены? — Власов устало остановил поток красноречия возмущенного плановика.

— И нет никакой надежды, что утвердят скоро!

— Так!.. — Власов подошел к письменному столу, в раздумье постучал пальцем по стеклу. — Скажите, Наум Львович, на какую сумму, по-вашему, нужно нам пополнить оборотные средства, чтобы удержаться хотя бы еще один месяц? — спросил он.

— На сто двадцать тысяч рублей, — не задумываясь ответил Шустрицкий.

— Вы уже подсчитали?

— Зачем? Тут и считать нечего — расчет проще простого. За четыре месяца мы выработаем нового товара, не имеющего цены, тысяч на двести. Эта сумма частично покрывается теми пятьюдесятью тысячами, которые подкинул нам Боков, да у нас было семьдесят тысяч — излишек оборотных средств. Итого за балансом остается сто двадцать тысяч рублей. Это и есть то, что поможет нам удержаться месяц, не больше.

Кстати, когда вы затевали дело с новыми образцами, вы же не могли знать, что так долго не будут утверждать цены...

— Обязан был знать,— ответил Власов. Он позвонил в гараж и попросил подать машину.

В городском совнархозе, куда он поехал, его никто и слушать не хотел. Заместители председателя и сам председатель совнархоза посоветовали ему обратиться в текстильное управление к Бокову.

— Но поймите, что Боков не в состоянии помочь нам, у него нет денег,— говорил Власов начальнику.— Я прошу у вас всего сто двадцать тысяч рублей заимообразно на месяц. Или еще лучше — утвердите цены на новый товар, тогда мы сами выйдем из положения!

Настойчивость директора комбината рассердила председателя совнархоза.

— Нечего было изображать из себя умника и самовольничать! — сказал он.— Мне докладывали, что вы запустили в производство товар, не имеющий цены, и не позаботились получить предварительно хотя бы санкцию текстильного управления. А теперь хотите переложить свои затруднения на чужие плечи!..

— Последнее мне вообще не свойственно,— ответил Власов.— Санкцию же я не попросил потому, что знал заранее — не дадут. Хотел поставить управление, а может быть, и вас перед совершившимся фактом — убедить, так сказать, отличным качеством новых тканей.

— Вот видите, сами признаетесь, что партизаните! — Председатель раздраженно открыл лежавшую перед ним папку, давая этим понять, что разговор окончен. Но он плохо знал Власова.

— Разрешите задержать вас еще немного и выяснить несколько вопросов?

— Пожалуйста, только короче...

— Вам известно, что товары, вырабатываемые нашими фабриками, покупатель берет неохотно и что скоро вовсе перестанет брать?

— Ерунда! Сезонные затруднения были и будут,— отрезал председатель совнархоза.

— Известно ли вам...— бешенство охватило Власова.— Известно ли вам, что наш комбинат продолжает выпускать ткани образца 1924 года? И еще я хотел вас спросить — считаете ли вы правильным, что над нами установлена такая мелочная, строгая опека? Кто лучше знает нужды и дела предприятия — начальник текстильного управления Боков или директор и главный инженер?

— Ну, анархия — власть порядка, это, товарищ Власов, мы слышали. Партизанщина у вас в крови — по-видимому, вы хотели бы работать без руководства, по принципу: что хочу, то и творю. Не выйдете! — Председатель совнархоза встал.— Нам известен ваш нор — годы не излечили вас. Мой вам совет: не думайте о делах, которые вас не касаются, работайте так, как положено директору фабрики. Можете идти, я вас не задерживаю!

Власов сделал над собой усилие, чтобы не вспылить, сумел взять себя в руки и спокойно сказал:

— Спасибо за науку. Я вас понял...

— Что именно поняли?

— Что вы отучились думать и требуете того же от других! — Власов повернулся и вышел.

Теперь он твердо знал: бесполезно обращаться в совнархоз, нужно искать другого выхода. Он вернулся на комбинат.

Слух о том, что из-за нехватки сырья и материалов комбинат накануне остановки, обсуждался всюду — в этом вопросе на комбинате не было равнодушных. Кадровые рабочие, давно знавшие Власова, с пеной

у рта доказывали, что этого не может быть: Алексей Федорович не допустит остановки комбината.

Председателем профкома в то время работал Капралов — человек уже в летах, вялый, медлительный, не очень далекий. В цехах рабочие атаковали его со всех сторон: почему, мол, фабричный комитет скрывает от них положение дел на комбинате и почему он сам не принимает никаких мер? А одна пожилая ткачиха во время обеденного перерыва набросилась на Капралова при всем честном народе.

— Не стыдно вам, руководителям, допускать комбинат до такого позора? Это ж позор на всю страну! Вместо того чтобы о членских взносах толковать, ты бы, Федор Федорович, принял нужные меры. А то, гляди, снимем тебя — тогда небось почешешься!

Капралов пошел в партком к Полетову.

— Сергей Трофимович, слухи об остановке комбината подтверждаются, — сказал он, тяжело опустившись на диван.

— Чем подтверждаются? — спросил Сергей.

— Рабочие говорят... Да и станки постепенно останавливаются из-за нехватки основ.

— Скажу тебе без утайки, Федор Федорович, положение у нас трудное. Если Власов не достанет денег, чтобы расплатиться с поставщиками, не знаю, чем все это кончится, — сказал Сергей.

— Пойдем посоветуемся с Алексеем Федоровичем, — предложил Капралов.

Власова они застали разговаривающим по телефону. Не отнимая от уха трубки, он свободной рукой показал на кресла, приглашая их сесть.

Директор вел какой-то странный разговор:

— Нет, это долго!.. Понимаете, нам дорог каждый час... Только прошу, дайте лучшим кройщикам... Мужской и дамский костюм по последней моде... Очень прошу обратить особое внимание на дамское летнее пальто, чтобы оно было изящным... А то у нас привыкли шить летнее пальто из коверкота или габардина, ткани дорогие, тяжелые. Нам хочется сломать эту традицию, доказать, что летнее пальто из легкой ткани не хуже коверкотового, а во многих отношениях лучше... Хорошо, договорились. Я пришлю вам ткани, а послезавтра вы пришлете нам готовые изделия. Очень, очень вам признателен — просто выручили. До свидания!..

Власов положил трубку, удовлетворенно потер руки.

— Это я говорил с директором Дома моделей, — объяснил он. — Пора и нам заняться рекламированием своего товара! Чтобы поскорее утвердили цены на наши новые ткани, покажем, какие изящные изделия можно сшить из них. Недаром говорят, что русский человек глазам не верит — должен руками пощупать. Вот мы и предоставим начальству такую возможность. Пусть щупают!..

— Оно, конечно, — пробормотал Капралов. — Но вот слухи ходят, что комбинат накануне остановка... Рабочие волнуются, спрашивают, а мы с Сергеем Трофимовичем ничего не знаем...

— Как это — не знаете? Прекрасно знаете, что положение у нас архитрудное. Мы обладаем большими ценностями, а платить поставщикам не можем. Начальство тоже не поддерживает нас... Говорит: завари кашу, сами и расхлебывайте!.. Сейчас все зависит от нашего умения, организованности. Сумеем выстоять — победим. Нет — комбинат остановится, меня прогонят как негодного работника. И правильно делают!.. Но сдаваться я не собираюсь. Нет, не собираюсь, — повторил Власов и нажал кнопку. Когда вошла секретарша, он протянул ей листок бумаги и сказал: — Попросите всех по этому списку ко мне!

По быстрым, порывистым движениям Власова, по тому, как он убежденно говорил, Сергей понимал, что директор всерьез намерен биться

до последнего. Но вот что можно предпринять при том положении, в котором очутился комбинат, Сергей себе не представлял.

Один за другим входили в кабинет вызванные Власовым работники управления фабрик, начальники цехов, мастера, помощники мастеров.

— Друзья,— начал Власов, когда все уселись,— я вам не буду рассказывать о том довольно тяжелом положении, в котором очутился наш комбинат. Об этом вы знаете. Не буду также анализировать причины, приведшие к этому. Время покажет, правы были мы, когда рисковали, или нет. Сейчас речь идет о том, как спасти положение. Выиграть пятьдесят дней. К тому времени, я убежден, мы добьемся утверждения цен на новые ткани...

Власов сделал паузу. Все молчали. Он снова заговорил:

— Находчивость и дипломатия — великое дело. Придется отправиться к нашим поставщикам — уговорить их поставлять нам сырье, пряжу и материалы еще дней десять без оплаты счетов. Дипломатия здесь вот в чем: не просто объяснять государственную важность нашего дела, но и воздействовать на знакомых людей. Я прошу Сидора Яковлевича Варочку отправиться на Фряновскую фабрику — там он хорошо знает главного бухгалтера, — тот не откажет ему помочь. Наума Львовича Шустрицкого прошу сегодня же побывать на фабрике имени Калинина. Мы с мастером Степановым отправимся на химический завод. — Власов снял трубку и тут же позвонил директору химзавода Надеждину.

— Надеждин, здорово, брат! Приветствует короля химии ткацкий поммастер Власов... Почему ваши счета не оплачиваем? — Власов подмигнул присутствующим. — Очень просто — считаем, что вы и так богаты, без зазрения совести грабите текстильщиков!.. А если без шутки, то изволь: затоварились по вине почтенных организаций, утверждающих цены... Прошу уделить нам с мастером Степановым минут десять времени. Ты ведь знаком со Степановым?.. Зачем — хитрость? Без всякой хитрости — сознательно беру с собой твоего бывшего учителя Степанова, чтобы лучше воздействовать на тебя! Спасибо, скоро выезжаем! — Власов положил трубку на рычаг.

— Обещает? — спросил Степанов.

— Сказал, приезжайте, поговорим, — ответил Власов. — А тебе, дорогой Матвей Григорьевич, придется прогуляться до города Иванова, — обратился он к ремонтному мастеру. — Явишься на меланжевый комбинат — и прямо к секретарю партийной организации. Так, мол, и так, помогите. Ты ведь там всех знаешь!

— Всех не всех, но многих... Родился и вырос в Иванове...

...К вечеру шли и шли на комбинат, в сопровождении командиров производства, доверху нагруженные автомашины. Власов, наблюдая из окна своего кабинета, как разгружают у складов пряжу, химикаты и красители, чувствовал себя на десятом небе. Одержана еще одна победа: комбинат обеспечен всем необходимым дня на три, может быть — на четыре... Но до чего же обидно тратить столько энергии на вещи, которые с точки зрения здравого смысла говорят сами за себя!..

Шустрицкий первый доложил о том, что на шерстепрядильной фабрике его встретили вначале довольно холодно, но выслушав все, поняли и обещали отпустить пряжу в течение десяти дней без оплаты счетов — вроде в кредит.

— Не перевелись еще у нас люди с отзывчивым сердцем! — добавил плановик.

— Да, не перевелись, — задумчиво отозвался Власов, а когда Шустрицкий вышел, добавил про себя: — «Но черстных, бездушных людей тоже хоть отбавляй!»

В начале одиннадцатого Власов встретил последнюю автомашину с пряжей, сопровождаемую Варочкой. Поблагодарив старого бухгалтера

и отпустив его, Власов поднялся из-за стола, потянулся. Возбуждение прошло, уступив место усталости, какой-то опустошенности. Сильно болела голова, стучало в висках, поташнивало. «На сегодня хватит»,— сказал он вслух и отправился домой.

Дома было тихо, уютно. Матрена Дементьевна, с очками на кончике носа, восседала в кресле — вязала. На коленях у нее дремала ее любимица — пушистая сибирская кошка. Анна Дмитриевна сидела за обеденным столом, разложив на нем книги и тетради. Она любила заниматься в столовой под большим абажуром.

— Наконец-то! — воскликнула Матрена Дементьевна, увидев в дверях сына.

— Мишук спит? — спросил Власов.

— Нет, дожидается полночи, пока отец домой вернется!

— Можно взглянуть? — Власов направился было в спальню, но мать удержала его.

— Не ходи, разбудишь! — Матрена Дементьевна отложила вязание, прогнала кошку и встала.— Ты, милый мой, забываешь свои годы — смотри, виски совсем поседели, под глазами мешки. Отец семейства, а воображаешь себя молодым, путаешь день с ночью!

— Много дел, мама, не успеваю...

— Всех дел никогда не переделаешь!.. Только учти, скоро сын твой забудет, как ты выглядишь,— дяденькой тебя будет называть,— сказала мать и пошла на кухню.

Во время этого разговора Анна Дмитриевна не проронила ни слова. Оторвавшись от книг, она с улыбкой следила за обоими. Она вообще отличалась выдержкой и удивительным спокойствием. Никто никогда не видел, чтобы она суетилась, торопилась, никто не слышал, чтобы она повысила голос.

Власов быстро переоделся, умылся и, вернувшись в столовую, сел рядом с женой.

— Устал? — спросила она.

— Леша, борщ будешь есть? — послышался голос Матрены Дементьевны из кухни.

— Нет, мама, какой уж там борщ, на ночь-то глядя!.. Дай простокваши с хлебом.

— Как хочешь.— Мать поставила перед ним банку домашней простокваши, хлеб, сахарный песок.

— Ну, что за еда для взрослого мужика! — Мать покачала головой и ушла к себе.

— Денег не дали? — спросила Анна Дмитриевна.

— Не дали,— ответил Власов.— Если хочешь знать, дело даже не в том, дали нам денег или нет,— это частность, касающаяся только нас. Вопрос значительно сложнее... Отраслевые управления, госплан, гостехника, комитет труда и зарплаты, финансовые органы — все планируют, раскладывают по полочкам, усиленно контролируют, а о перспективах развития промышленности мало кто думает. Мы топчемся на месте. А если кто-нибудь пытается хоть на самую малость отступить от этого порядка, раздается грозный окрик: не мудри, не лезь поперед батьки в пекло, не будь белой вороной! Работай как все!..

Власов отодвинул пустую баночку.

— Ты извини меня, Аннушка,— я, как маньяк, все об одном!.. Как твои дела? Ведь скоро защита.

— Вроде нормально.

— Почему — вроде?

— Руководители нашего института продолжают твердить, что я скорее эмпирик, чем теоретик... Академик Соболев ворчливый, но справедливый старик и большой ученый, ему многое можно простить. Хуже с

Мануйловым: это педант, сухарь, воинственный сторонник чистой теории... В общем и у нас свои болячки, не говоря уже о мелких склоках на почве ущемленного самолюбия и ревности к чужим успехам...

— Да... Похоже, пройдет немало времени, пока люди не освободятся от всех этих страстей и страстишек!..

— Может быть, мои шефы в чем-то и правы. Меня действительно всегда больше интересовали практические результаты научных экспериментов, чем теория. Кстати, я ведь хорошая жена: занялась технологией крашения синтетических волокон. Пока ничего путного не добились — крепкий оказался орешек!

— Это очень, очень важно! В век синтетики нет ни оборудования, ни нужных красителей — ничего. Всегда так: сперва создадим горы неведомого сырья, а потом ломаем голову, как его использовать. В красилке — сплошной брак. Из трех-четырех партий пряжи сумели покрасить более или менее прилично одну. Остальные перекрашиваем в черный цвет... Знала бы ты, как все это надоело! К черту!.. Я всю жизнь тем и занимаюсь, что с кем-то воюю. Иногда подумываю — не пора ли бросить все, подыскать себе тихую пристань и там коротать остаток положенного времени...

— Одно только ты забыл — характер свой неугомонный! — Анна Дмитриевна ласково посмотрела на мужа.

— Характер, характер... Переделывать нужно такой характер, раз он жить мешает!

Анна Дмитриевна мягко улыбнулась:

— Это пройдет, дорогой. Ты просто устал. Отдохнешь — и все покажется в другом свете. Иди ложись, уже поздно, а я позанимаюсь еще...

Было далеко за полночь, когда она собрала книги и тетради и на цыпочках, чтобы не разбудить мужа, вошла в спальню. Власов, укрывшись простыней, крепко спал. Анна Дмитриевна улыбнулась: «Счастливым характер у человека — может спать, что бы ни случилось!»

Она долго не засыпала — лежала с открытыми глазами, думала. Вспомнила о тех временах, когда Власову было трудно, очень трудно. Но и тогда он не унывал, верил, что справедливость рано или поздно восторжествует. Сейчас он опять плывет против течения, ему снова трудно. Но он не отступает. Такой уж человек...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сергей брился перед маленьким зеркальцем на кухне, когда туда вошел Леонид с полотенцем через плечо.

— Здорово! — весело сказал он и, склонившись над раковиной, стал так шумно и энергично умываться, что брызги полетели во все стороны.

— Морж, настоящий морж! — засмеялся Сергей. — Смотри, какие лужи вокруг.

— Ничего, подотру!..

— Поехали вместе на работу, а? — спросил Сергей, убирая бритвенный прибор.

— Зачем? Ты не маленький, дорогу знаешь...

— Не валяй дурака — лучше скажи честно: почему ты по утрам избегаешь меня?

— Избегаю? — Леонид немного смутился, но тут же ответил шуткой: — Если у тебя появилось непреодолимое желание коротать время в моем приятном обществе по утрам, то, разумеется, я чувствую себя польщенным!

Они позавтракали на скорую руку и вместе вышли на улицу.

— По некоторым данным, знакомство с красивойшей из женщин, пользующихся московским метрополитеном, продолжается,— сказал Сергей.

— Допустим...

— Не допустим, а точно!

— Ты что, агентуру завел?

— Когда имеешь дело с таким выдающимся конспиратором, как ты, не нужна никакая агентура: все и так видно по твоему поведению!..

На станции метро «Сокольники», как обычно в этот утренний час, народу было много. Пустой состав подкатил к широкой платформе. Леонид схватил Сергея за руку, затащил в третий вагон. Туда же вошла и Муза — в шелковом кремовом костюме. Сергей присвистнул про себя: серьезный случай — не какая-нибудь смазливенькая простушка!.. Кажется, Леонид был счастлив уже оттого, что мог стоять рядом с ней.

— Разрешите, Муза Васильевна, представить вам моего друга — Сергея Полетова,— не очень уверенно проговорил Леонид.

Молодая женщина внимательно посмотрела на Сергея.

— Очень рада,— сказала она, протягивая ему руку.— Почему мы не встречались до сих пор?

— Видимо, ехали в разное время,— сказал Сергей.— Здесь ведь решают минуты!

— Правда! — Муза улыбнулась, блеснули белые ровные зубы.— Я с вами знакома заочно. Леонид Иванович много рассказывал о вас...

— Что же он рассказывал?

— Только хорошее!

— Еще бы! — Сергей рассмеялся.— Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Раз я хорош, значит, неплох и сам Леонид.— Что-то знакомое было в этой женщине, и Сергей напрягал память, чтобы вспомнить, где он встречал ее.

Из метро они вышли все вместе.

— Я провожу Музу Васильевну — тут недалеко, и догоню тебя,— сказал Леонид. Ему хотелось остаться с нею наедине.

— Идет! — Сергей попрощался с Музой и некоторое время смотрел им вслед. Леонид, жестикулируя, что-то доказывал ей....

Вскоре он вернулся.

— Ну что? — не без скрытой тревоги спросил он.

— Красивая, ничего не скажешь,— сдержанно ответил Сергей.— Только, знаешь, Леня, она из породы хищниц...

— Что за чушь!

— Нет, не чушь. Ну, может быть, и не из породы хищниц, но женщина властная, знающая себе цену. Это вовсе не значит, конечно, что все эти ее свойства проявятся и по отношению к тебе. Под воздействием настоящей любви...

— С чего ты все это взял? — перебил Леонид.

— Да это ж по всему видно! По ее манере говорить, по сжатым тонким губам, по выражению ее красивых глаз... И, наконец, я инстинктивно почувствовал... И вот еще что,— только ты не бесись, пожалуйста! Не так давно я видел ее в обществе Никонова... Только сейчас вспомнил! Помнишь этого типа, главного механика главка, подручного твоего отчима?

— Еще бы не помнить Юлия Борисовича!.. Но ведь он осужден...

— Был осужден. Только он не из того теста сделан, чтобы долго томиться в заключении. Он ловкач, пройдоха, выкрутится из любого положения. Говорят, вместо трех просидел всего один год и вернулся. Сейчас этот делец и дамский угодник разгуливает по Москве как ни в чем не бывало. Посмотрел бы ты на него — выхоленный, в шикарном костюме, прямо со страниц журнала мод!

Леонид молчал. Вид у него был подавленный.

Расстались они во дворе комбината. Леонид ушел к себе в конструкторское бюро, а Сергей завернул в партком — в маленький, довольно уютный кабинет, обставленный старой мебелью. Сел, раскрыл записную книжку, куда заносил все дела, которые предстояло сделать за день:

«Договориться с директором о созыве собрания партийно-хозяйственного актива».

«Побывать в молодежном общежитии».

«Побывать дома у Астахова — он тяжело заболел»...

Сергей достал авторучку, чтобы записать еще несколько неотложных дел, но в эту минуту вошел председатель фабричного комитета Капралов.

— Здравствуй, Сергей Трофимович, — он устало опустил на стул. — Слыхал? Умерла сегодня ночью старая ткачиха Леонова. Ты ее знал?

— Еще бы не знать! Тетка Настасья с моей мамой в одной смене работала...

— Была здорова, ни на что не жаловалась. Вышла на пенсию и через полгода — готово... Врачи говорят, так бывает в результате нарушения привычного ритма жизни. Если их послушать, так и на пенсию уходить не нужно — помрешь!

Зазвонил телефон. Власов вызывал их к себе.

— Пополнение пришло к нам, молодые специалисты, — сказал Власов, приглашая Сергея и Капралова сесть. — Вот Нина — она по специальности инженер-химик. Светлана — прядильщица, Валерий — ткач, — и обратился к полной, краснощекой девушке: — Ну как, Нина, в цех сменным мастером или в лабораторию?

— В цеху работа трехсменная? — спросила та.

— Нет, ночную смену на отделочной фабрике мы давно ликвидировали, — ответил Власов.

— Тогда в цех сменным мастером...

— Вот и хорошо! А вы, Светлана, к станку, как говорят, или в ОТК?

— Сначала в ОТК, если, конечно, можно. — Маленькая, веснушчатая Светлана смутилась, покраснела.

— Хорошо, так и запишем. Теперь ваша очередь, Валерий.

— Если можно, меня в ремонтную бригаду, — попросил тот. — А там видно будет...

— Почему вы так решили? — поинтересовался Власов.

— Очень просто. Прежде чем работать мастером, инженером или даже начальником цеха, нужно хорошо узнать ткацкий станок — как говорит мой отец, пощупать его собственными руками. — У Валерия оказался приятный бас.

— Правильное решение!.. — Власов с одобрением посмотрел на молодого инженера и, улыбаясь, спросил: — Скажите, Валерий, если, конечно, не секрет, вы пением не увлекаетесь?

— Еще как! — с готовностью ответил Валерий. — После десятилетки мечтал о консерватории, хотел стать профессиональным певцом, но отец не разрешил. Он считает пение баловством, хотя сам любит петь, а профессору ткача ставит выше всего, всю жизнь работал ткацким пом-мастером и только недавно назначили его мастером.

— Итак, договорились! — Власов наложил резолюцию, встал, протянул каждому руку, пожелал успехов.

Когда молодые специалисты вышли, он сказал:

— Со временем из этого парня получится настоящий инженер — у него хорошая закваска!

В кабинет быстро вошел главный бухгалтер. За последние годы Варочка заметно постарел, сдал, но не хотел подчиняться времени и по-прежнему ходил прямо, с высоко поднятой головой.

— Что вы делаете, Алексей Федорович? — взволнованно спросил он. — Сами себе закрываете пути-дороги на будущее!

— Ничего не понимаю. В чем дело?

— Как же — девушке, которую вы назначили контролером ОТК прядильной фабрики, положили оклад восемьдесят рублей в месяц.

— Совершенно верно. Одно дело работать в красилке или ремонтировать станки, и совсем другое — работать в отделе технического контроля, где, как говорят, не пыльно и не каплет. Вот я ей и установил оклад на тринадцать рублей меньше, чем остальным.

— Я-то это понимаю, но не понимают в райфинотделе, вот в чем беда. При очередной регистрации штатов снимут эти тринадцать рублей и больше вы их никогда не восстановите.

— Да-а, — вздохнул Власов. — Мы вынуждены переплачивать не желающему работать на производстве молодому инженеру лишь потому, что финансовые органы снимут с оклада тринадцать рублей, а потом будут доказывать, что не я, а они стоят на страже интересов государства... Чепуха какая-то! Сидор Яковлевич, не кажется ли вам, что эти порядки выдуманы, чтобы затруднять и без того трудное руководство промышленностью?

— Во всяком случае, выдуманы они не очень умными людьми, — ответил Варочка.

Вошла секретарша, положила перед Власовым записку.

— Очень хорошо, пропустите! — Власов оживился. — Из ателье принесли заказанные нами изделия из новых тканей. Оставьте и вы, Сидор Яковлевич, — полюбуйте, деньги за шитье вам платить!

Две женщины внесли в кабинет большие картонные коробки и бережно положили их на диван. Старшая отрекомендовалась:

— Художник-модельер Валентина Федоровна! А это, — она показала на свою спутницу, — Таня, наша манекенщица. У нее идеальная фигура, — мы сшили пальто и костюм по ее мерке. Если в будущем вам захочется продемонстрировать эти изделия где-нибудь еще, Таня всегда вам поможет.

— Мы ждали вас с нетерпением! — сказал Власов. — Скажите, понравились вам наши новые ткани? Скажите откровенно — мы люди не обидчивые.

— Что за вопрос? Очень даже понравились! Ткани замечательные, изумительные расцветки. Просновки тоже подобраны с большим вкусом. А главное, они не мнутся. Мы давно не видели таких материй. Одним словом — то, что нужно. В нашем ателье все убеждены, что они будут иметь большой успех у покупателей, особенно у женщин.

— Приятно слышать!

— Разрешите приступить к демонстрации? — спросила художница.

— Пожалуйста.

— Комнатку бы нам или, в крайнем случае, ширму, чтобы Таня могла переодеться.

— Сейчас! — Власов попросил секретаршу открыть пустующий кабинет главного инженера. Таня взяла две коробки и последовала за секретаршей.

Кабинет главного инженера пустовал давно, с тех времен, когда Баранова перевели на другую фабрику. Власов попросил не назначать нового главного инженера, а возложить его обязанности на директора. Он считал это тем более целесообразным, что на комбинате работал очень опытный начальник производства, да и дипломированных инженеров было достаточно. В тогдашнем министерстве текстильной промышленности с мнением Власова не согласились, но, не найдя подходящей кандидатуры, долго не назначали главного инженера, а потом и вовсе забыли об этом. Так и работал Власов — один в двух лицах.

И вот из кабинета вышла Таня в элегантном, изящном костюме.

— Вот это да! — восхищенно воскликнул старый бухгалтер.

Власов удовлетворенно потер руки.

— Теперь уж мы утрем нос кому следует! Пусть попробуют затягивать установление цен на наши новые ткани!..

Таня, пройдясь несколько раз перед присутствующими, вышла и тут же вернулась в новом пальто. Светлый тон тонкой ткани, едва заметные просновки, простота фасона придавали пальто особое изящество. Все сошлись на том, что и костюм и пальто из новой материи выглядят очень эффектно, производят самое хорошее впечатление.

Когда очередь дошла до мужского костюма, Власов пошутил:

— Сергей Трофимович, костюм сшит по твоим размерам. Ты бы и надел, показался нам! Глядишь, понравишься швейникам — пригласят тебя на работу в Дом моделей. Сам знаешь, работа не тяжелая — во всяком случае, значительно легче, чем в красилке.

— Зря вы, товарищ директор, разбрасываетесь кадрами, — засмеялся Сергей. — Поглядел бы я, что бы вы делали без красильщиков? Да и профессию свою красильщика я менять не собираюсь, она у меня потомственная!

Костюм тоже всем понравился.

Не успел Сергей вернуться к себе, как раздался телефонный звонок.

— Где ты пропадаешь? — спрашивал Леонид. — Звоню, звоню, никто не отвечает! — По голосу чувствовалось, что он чем-то взволнован.

— Были у Алексея Федоровича. Работники ателье показали нам готовые изделия из наших материалов. Как сказала секретарша директора, эти костюмы и пальто будут гвоздем сезона в этом году. А она, как тебе известно, понимает толк в такого рода делах. Может, и перед твоей Музой тебе удастся покрасоваться...

Леонид не принял шутки и сухо спросил:

— Можно зайти к тебе?

— Заходи!

Леонид не вошел, а вбежал. Он опустился на стул, долго молчал, глядя в одну точку.

Сергей терпеливо ждал. Наконец Леонид сказал:

— Мне очень важно знать, Сергей, — ты пошутил или сказал правду, что видел Музу Васильевну с тем мерзавцем, ну, как его?

— Никонов, Юлий Борисович, — подсказал Сергей. — Но почему ты придаешь этому факту такое большое значение?

— Ты понимаешь... — начал было Леонид, но осекся на полуслове и снова замолчал.

— Леня, я не случайно сказал тебе, что она из породы хищниц...

— Ну, знаешь, из одного факта делать такие чудовищные выводы...

— Из какого одного факта?

— Что Муза Васильевна была в обществе этого подонка. Мало ли какие обстоятельства бывают в жизни. Если дело на то пошло, твоя жена, а моя сестра тоже бывала в его обществе. Даже в ресторан ходила, вино с ним пила... От этого она хуже не стала.

— Слушай, как у тебя поворачивается язык делать такие нелепые параллели? Кроме того, ты, наверно, помнишь, что я предостерег тебя вовсе не потому, что видел твою знакомую в обществе Никонова. И вообще я давно хотел поговорить с тобой... В последнее время твое поведение вызывает у меня серьезную тревогу. Да не только у меня...

— Чем?

— Всем. Ты стал очень замкнутым... Видали, барин какой нашелся — он занят только собственной персоной, собственными переживаниями, а до остального ему будто никакого дела нет!

— Какие у тебя основания так говорить?

— Оснований у меня больше чем достаточно. Хочешь по порядку? — спросил Сергей.

— Очень хочу...

— Изволь! Вспомни недавнее прошлое: комсомольцы на общем собрании выдвигали твою кандидатуру в общекомбинатский комитет. Как ты ответил на это? Как рядовой обыватель: «Я учусь, мне трудно». Хотя в это время ты взят в институте академический отпуск на целый год и ничем особенным не был занят. Просто отвертелся.

— Не понимаю, по-твоему, отказ быть избранным в руководящие органы комсомола может считаться проявлением замкнутости, может быть, даже эгоизма? — Леонид усмехнулся.

— Не крути, Леня. Мы с тобой знаем друг друга как самих себя. Высоко себя ценишь — вот и ушел от большой общественной работы!

— Но... — Леонид попытался что-то сказать. Сергей перебил его:

— погоди, это не все. Наберись терпения и выслушай до конца. Разве тебя тревожит, что ты скоро механически выбудешь из комсомола, по возрасту? Ничуть. Ты не сделал ни малейшей попытки, чтобы подготовиться к вступлению в партию.

— В партии людей и без меня хватает...

— В этом никто не сомневается. Но и ты при желании можешь быть в их числе. Сын старого большевика, героя Отечественной войны, молодой, способный специалист с большим практическим стажем...

— Словом, подходящие анкетные данные. Нет, Сергей, к вступлению в партию я отношусь значительно серьезнее, чем ты думаешь, и не считаю себя подготовленным для такой чести.

— Слова, пустые, заученные слова! Тебя пугает наша дисциплина, вот где истина. Конечно, куда проще жить вольным казаком, не подчинять свое «я» общественным интересам. Только вот беда — времена вольных казаков давно миновали.

— Я еще раз убедился, что тебя не зря выбрали в наши вожди. Народ знает, что делает. Ты произнес целую речь, как и положено руководителю партийной организации, но не сказал самых обыкновенных, простых слов, которые показали бы, в чем же заключается, в конечном итоге, мой эгоизм?

— Значит, не понял? Ну что ж, в таком случае придется сказать тебе еще кое-что, помочь понять. Скажи честно, ты доволен своим поведением дома, в кругу семьи?

— Не понимаю...

— Какой же ты стал непонятливый! Разве ты не замечаешь, что стал вести себя как обыкновенный квартирант — пришел, поел, лег спать. Даже в мелочах. Недавно Иван Васильевич попросил тебя сыграть с ним партию в шахматы. А ты недовольно буркнул: «Не могу, некогда». Неужели тебе нужно объяснять, как ты должен относиться к отцу-калеке, вынужденному день-деньской сидеть дома в одиночестве? Да, он стал играть неважно, подолгу думает над каждым ходом, это все так, но он твой отец...

— Я не знал, что мое поведение дома раздражает вас. Могу переехать хоть сегодня. Освободить вас от необходимости воспитывать в квартиранте гражданские чувства...

— Глупости говоришь!.. Переехать нетрудно. Кстати, ты, кажется, готовишь почву для этого.

— Терпеть не могу разговаривать загадками и разводить китайские церемонии. Если ты знаешь больше, чем я сам, говори прямо!

— Всегда готов. Не хочу быть пророком, но в то же время почти убежден в том, что твои отношения с той красавицей...

— Постой! — остановил его Леонид. — Хочешь, остальное я доскажу за тебя? Пожалуй, я сделаю это даже лучше. У тебя красноречие какое-

то... казенное. Итак, продолжаю твою мысль. Ты хорошенько прислушайся, Леонид, к словам людей, которые желают тебе добра, и тогда, может быть, кое-что поймешь. Твои отношения с той красивой женщиной, называемой Музой, кончатся печально, поскольку настоящей любовью здесь и не пахнет, а все зиждется на голой страсти. Еще поэт сказал:

Да будет славен тот, кто выдумал любовь
И приподнял ее над страстью!..

Счастлив ты не будешь, семью не создашь: твоя дама сердца, как представительница породы хищных, не захочет иметь детей, чтобы не портить фигуру. А без детей что за семья?.. С Наташей, скажем прямо, ты поступаешь подло. Впрочем, дело твое, но запомни: есть личные дела, которые тесно переплетаются с делами общественными,— тогда мы вправе спрашивать с тебя. Ты, Леня, это учти! Нарушать моральный кодекс нашего общества никому не разрешается, понял?.. Вот все, что ты хотел сказать. Только ты ничего не понимаешь — мыслишь готовыми формулами. А засим — физкультпривет! — Леонид встал, помахал рукой и исчез за дверью.

После его ухода Сергей долго сидел неподвижно, казнил себя. Может быть, Леонид и прав — кажется, за последнее время он действительно разучился говорить простые, сердечные слова. Произносит какие-то высокопарные фразы, думая, что ими можно убедить людей. Честно говоря, Леонид точно до мелочей сказал все, что собирался сказать ему Сергей,— за исключением, разве, стихов. Он понятия не имел о них... Однако, нужно признаться, стихи пришлось к месту!..

Леонид долго мучился, прежде чем решился позвонить Музе. Не очень охотно давая ему номер своего телефона, она просила звонить только в исключительных случаях.

— Говорит Леонид,— сказал он срывающимся голосом, когда она подняла трубку.— Извините меня за звонок, но мне нужно встретиться с вами сегодня же хотя бы на десять минут, нет, на пять... Хорошо, спасибо,— буду ждать после работы на углу улицы... Конечно, конечно, я подожду, пока разойдутся ваши сослуживцы...

В ее голосе слышался холодок, но это, наверное, потому, что она была не одна в комнате, да и неудобно ей говорить о личных делах в служебные часы. Что же скажет он ей? Просто спросит: «Скажите, вы знакомы с инженером-механиком Юлием Борисовичем Никоновым?» Дальнейший разговор будет зависеть от того, как и что она ответит... А если рассердится и задаст вопрос: а позвольте спросить, вам какое дело? От этой мысли Леонида бросило в жар...

Дню, казалось, не будет конца. Леонид чуть ли не каждые пять минут смотрел на электрические часы. Работа двигалась плохо, в голове был полный ералаш.

Наконец стрелки часов показали ровно шесть. Леонид встал из-за чертежного стола, умылся, завязал галстук, тщательно причесал густые волосы и выбежал на улицу.

Заняв место на наблюдательном пункте за углом, он едва дождался той минуты, когда из подъезда вышла она. У Леонида сильнее застучало сердце. Забыв о всякой осторожности, он побежал навстречу.

— Что случилось? — спросила она, когда они свернули в почти безлюдный переулок.

— Ничего особенного... Мне захотелось повидать вас!

— И только поэтому вы позвонили на работу? Разве нельзя было потерпеть до утра?

— Нельзя... Я не мог не поговорить с вами.

— О чем же вы хотели поговорить? — Она держалась подчеркнуто холодно.

Несколько секунд Леонид молчал, потом вдруг посмотрел ей в глаза и спросил:

— Скажите, вы знакомы с инженером по фамилии Никонов? Никонов Юлий Борисович.

«Конечно, Сергей все это выдумал, а я просто идиот, и все это пустяки!» — в ту же минуту подумал он. Но лицо Музы говорило о другом. Она спросила далеко не равнодушно:

— Почему... вас это интересует?

— Мне важно знать! — сказал Леонид, хотя уже понял, что она знакома с Никоновым.

— Прежде всего, я не намерена отчитываться перед вами. Я не давала вам ни малейшего повода задавать мне подобные вопросы. И, наконец, это вас попросту не касается, — отчетливо выговаривая каждое слово, ответила Муза. Повернулась и быстро пошла переулком.

Леонид растерянно постоял, потом медленно пошел к метро.

Приехав в Сокольники, Леонид у выхода замедлил шаги. Куда деваться? Домой не хотелось, а больше идти было некуда. Раньше можно было пойти к Наташе, но теперь дорога к ней закрыта навсегда... Неужели во всем белом свете никто его не поймет, никто не посочувствует, не протянет руки помощи?

Не придумав ничего лучшего, он направился к киоску, недалеко от главного входа в парк.

— Налейте-ка, девушка, сто граммов! — небрежно, как заправский пьяница, сказал он молодой накрашенной продавщице.

Та посмотрела на Леонида оценивающим взглядом.

— Ах так, — догадался Леонид. — Деньги вперед, значит?

— Ничего не поделаешь, пьют и не платят. Надоело милицию беспокоить!

Леонид бросил на прилавок рубль. Девушка убрала деньги и привычным движением налила в граненый стакан водки.

— Пейте на здоровье.

Леонид медленно выпил, ему стало противно. Он запил водку газированной водой. Не помогло.

— Еще сто граммов!

Девушка укоризненно покачала головой — она хорошо изучила повадки пьяниц и понимала, что перед нею новичок.

— Может, хватит? — спросила она. — Небось с утра ничего не ели. — Но водки все же налила.

Леонид выпил водку залпом, заплатил и отошел от киоска.

Девушка оказалась права — две стопки водки на голодный желудок оказались слишком сильным успокоительным средством для непьющего Леонида. Закружилась голова, подгибались колени. Чтобы не упасть, он свернул в сквер перед церковью и со всей возможной неприужденностью опустился на скамейку.

Как на экране кино мелькали события дня. Сергей, подняв руку, что-то говорил ему — губы шевелятся, а слов разобрать нельзя, мешает какой-то шум. Шум постепенно нарастает, словно молотом бьет по голове. И голова сильно болит. Появляется Муза — не то в парче, не то в струящемся шелку. Но ее застигает туман, медленно окутывает ее — она расторяется в этом тумане, исчезает...

«Пора домой», — это всегда понимают даже очень пьяные. Леонид с трудом поднимается со скамейки и, пошатываясь, направляется к дому...

Открыв ему дверь, Милочка ахнула. Леонид стоял бледный, с блуждающими глазами, пытался улыбнуться,

— Что с тобой? Леня, что?!

— Я... Со мной? Ничего.— Язык у Леонида заплетался, и он улыбнулся все-таки жалко, просяще.

Милочка поняла. Втащив его в дом, она удивленно повторяла:

— Какой вид... Какой безобразный вид... Посмотрел бы ты на себя со стороны! Ну как ты мог, Леня, как ты мог довести себя до такого состояния?

Леонид задумчиво моргал.

На голос дочери подъехал на своей тележке Иван Васильевич. Мгновенно поняв в чем дело, он стал успокаивать дочь.

— Ничего, ничего, дочка, это бывает. Ты лучше уложи его на диван, пусть поспит малость, и все пройдет.

Проснулся Сергей. Он попросил Милочку принести подушку, а сам раздель Леонида и уложил на диван. Леонид мгновенно заснул.

...За вечерним чаем Милочка только и говорила о брате.

— Что, что могло случиться? Как Леня дошел до этого?

— Кажется, виноват я,— сказал Сергей.

Милочка с недоумением посмотрела на мужа.

— При чем здесь ты?

— Сегодня я разругал его...

— За что?

— За многое... Я выложил ему все, что думаю о той женщине, с которой он познакомился в метро. Сказал, что видел ее в обществе Никонова... Вот тебе результаты воспитательной беседы!

— Господи, в кого он? У нас в семье пьяниц не было!..

— Будет тебе, какой он пьяница? Смалодушничал парень, и все. Завтра он на водку и смотреть не захочет. А как старик отреагировал? — Сергей кивнул головой в сторону большой комнаты, где за занавеской жил Иван Васильевич.

— Защищал его, как и ты!.. С кем, говорит, не бывает. Сегодня папа очень возбужден — получил письмо из Текстильпроекта. По-моему, ответ на свою заявку. Помнишь, папа послал туда свой проект организации механических мастерских при текстильных фабриках?

— Что же в письме?

— Не говорит. Письмо спрятал под подушку и ничего не сказал, хотя, судя по его настроению, ответ благоприятный.

За вторым стаканом чая Сергей спросил у жены, не забыла ли она, что и в яслях, и в детском саду в воскресенье родительский день.

— Конечно, не забыла!

— Куда ж ты собираешься — в ясли или в детский сад?

— Ну, чего ты дипломатничаешь? Я ведь знаю — тебе хочется поехать в детский сад. Ну и поезжай!

— Хорошо, только ты приготовь гостинец! Может, в кино пойдем?

— Какое там кино? Не можем мы оставить Леонида без присмотра.

— Ничего с ним не случится — проспит до утра. В случае чего, батянка присмотрит.

— Нет, Сережа, в кино я не пойду.

— Пойдем хоть погуляем, подышим свежим воздухом.

— Выходи — я переоденусь и догоню тебя.

В большой комнате Сергея окликнул Иван Васильевич, и, когда он зашел за занавеску, старик длинными обрубками, напоминающими клешни, достал из-под подушки письмо.

— На, почитай...

Сергей быстро пробежал глазами напечатанное на машинке письмо.

— Замечательно, Иван Васильевич! — сказал он. — Значит, есть порох в пороховнице!

— Выходит, есть! — ответил тот, радуясь, как ребенок. — Ты читал приписку внизу? «Следующие вам деньги переводим по почте». Дело, ко-

нечно, не в деньгах. Но ведь если бы моя работа не пригодилась, не стали бы платить. Не так ли, Сережа?

— Разумеется, кто станет платить за ненужную работу,— ответил тот и торопливо вышел в палисадник. У него почему-то перехватило дыхание и слезы навернулись на глаза...

Следом за ним из дома вышла Милочка в простеньком штапельном платье. Глядя на тонкий ее стан, на свежие щеки, никто бы не сказал, что она — мать двоих детей.

Сергей подошел к ней, тихо сказал:

— Не зря все-таки я за тобой столько лет ходил! Красивая ты...

— Нашел красавицу! Я уже старуха...

— Если бы все старухи выглядели как ты, косметологам нечего было бы делать. Закрылась бы целая отрасль промышленности, разорились бы крупнейшие фирмы и, возможно, наступила бы эпоха всеобщего кризиса.

— Я рада, что у тебя хорошее настроение.

— С тобой у меня всегда хорошее настроение.

Некоторое время они шли молча.

Вечер был по-летнему теплый, светлый.

— Удивительно все-таки,— заговорил Сергей, отвечая на собственные мысли,— стоит человеку поверить, что он еще кому-то нужен, как он сразу меняется, даже будто моложе становится!

— Это ты о ком?

— Об Иване Васильевиче, об отце твоём. Кажется, худшего положения, чем у него, не придумаешь, а ведь он хочет работать, приносить пользу. Получил бумажку, в которой написано, что его предложение дельное, что оно будет использовано... Ты бы видела его лицо, когда он показывал мне письмо из Текстильпроекта!..

— Жалко мне его,— сказала Милочка.— Временами он замыкается в себе, часами молчит... А иной раз ведет себя так, словно ничего с ним и не случилось — шутит, смеется, играет с детьми... Нет, не могу простить маме, что она так жестоко, так бесчеловечно поступила с ним!

— А вот Леонид думает иначе. Говорит, что мать при всех обстоятельствах остается матерью. И каждый месяц посылает ей деньги... Наверное, это великая вещь — уметь прощать людям их слабости.

— Ну нет, не всякую слабость можно простить!..

Зажглись фонари. Из парка доносились звуки танцевальной музыки.

— Пошли в парк,— предложил Сергей.— Давно не были.

— Что ты! — Милочка замахала руками.— Забыл, в каком состоянии мы оставили Леню? Да и мне хочется лечь пораньше... Если бы ты знал, Сережа, как я устала!

— Еще бы — мать большого семейства. Да еще школа... Знаешь что, пока ребята за городом, езжай куда-нибудь отдыхать. Купим путевку в дом отдыха под Москвой или еще лучше на юг, к морю.

— Интересно, как я оставляю вас, троих мужчин? Вы такого тут натворите!..

— Ничего, не пропадем, не бойся! Мы с Леонидом можем обедать в столовой комбината, а бате будем стряпать дома.

— Да уж вы настряпаете!.. Никуда я не поеду...

Дома Леонид, посапывая, спал на диване. Рядом с ним сидел в своем кресле-коляске отец...

Утром Леонид поднялся с трудом. Ему было стыдно, скверно, трещала голова.

Сергей позвал его позавтракать.

— Что ты, я на еду смотреть не могу...

В метро, куда они спустились вдвоем, Леонид быстро прошел мимо третьего вагона. Сергей ни о чем не спросил его.

Из дневника Сергея Полетова

6 июня 1964 года

Вести дневник регулярно никак не удается — нет свободного времени. А хочется. Раскройешь потом тетрадь, и воскресают перед глазами «дела давно минувших дней», словно вновь их переживаешь. По моим дневникам, наверное, можно написать историю нашего комбината со времен Великой Отечественной войны. Что ж, может быть, такая история и будет когда-нибудь написана...

Уже поздно, двенадцатый час ночи. Милочка, подложив руку под щеку, спит. Это ее любимая поза. А мне спать не хочется.

Сегодня случилось нечто такое, о чем грех не писать.

Мы собрались на прогулку, когда Милочка сообщила мне, что Иван Васильевич получил какое-то письмо из Текстильпроекта и спрятал его под подушку. Потом сам Иван Васильевич дал прочитать мне это письмо. Он весь так и сиял.

Я, конечно, сделал вид, что вижу письмо впервые. А составляли его в Текстильпроекте под мою диктовку...

Речь шла о работе Ивана Васильевича, о проекте образцовой механической мастерской при текстильной фабрике. Он ведь по специальности инженер-механик. Мы ему не мешали, были рады-радехоньки, что он чувствует себя необходимым людям. Как ни трудно было ему с чертежами, старик довел свой проект до конца и послал его в Текстильпроект. Я-то знал, что Иван Васильевич здорово отстал и слабо себе представляет современную текстильную фабрику, — он ведь нигде не бывал с самого начала Отечественной войны. А ведь все его надежды были связаны с этим проектом. Я поехал в Текстильпроект и рассказал все начистоту начальнику Ивану Архиповичу, благо он оказался человеком душевным и отзывчивым. Он понял меня с полуслова.

Я продиктовал секретарше письмо — положительный ответ на заявку И. В. Косарева — и попросил ее послать вместе с письмом тридцать рублей (деньги у меня были с собой) как аванс.

Сегодня, видя радость старика да и Милочки, я не жалел о своем обмане.

7 июня

Не успел закончить запись в дневник. Было поздно — я лег спать. Мы долго говорили с Милочкой о житье-бытье. Я предложил ей поехать к морю, отдохнуть. Но она решительно отказалась. Да и как она могла поступить иначе — не на кого оставить дом, все-таки двое детей и отец.

Временами мне бывает обидно за Милочку — какую тяжесть мы взвалили на ее плечи. Разумеется, она никогда не жалуется, даже вида не показывает, что ей тяжело, но от этого мне не легче. Я-то знаю, каково ей. Она постепенно превращается в домашнюю хозяйку, а человек она способный и к детям подход имеет, ребяташки в школе ей доверяют, любят ее. Обидно, а что придумать — не знаю...

20 июня

Вот и лето. В этом году оно наступило рано. Под нашим окном давно зацвела сирень, посаженная еще моим отцом. Не сирень — гигантский куст, так она разрослась. В прошлом году у нее появились признаки

дряхлости — засохли ветки, да и цветы стали помельче. Я всерьез занялся сиренью, обрезал засохшие ветки, отрубил одревеневшие корни, вырыл под деревом большую лунку, положил туда много удобрений, даже навоз и костяную муку, словом, спас от гибели. Это ведь не просто сирень — это память отца.

24 июня

Узнал, что Анна Дмитриевна Забелина, жена Власова, вчера оформила себе в отделе кадров постоянный пропуск на комбинат. Они с мастером Степановым опять начали колдовать над крашением пряжи из синтетических волокон. Это очень приятно: Анна Дмитриевна умница и настойчива. Она своего добьется. Жаль, что я не могу участвовать в этой работе...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Музе Горностаевой шел двадцать седьмой год, а между тем среди своих знакомых и друзей она слыла женщиной опытной, много повидавшей. И не так уж они были неправы.

Единственная дочь культурных, обеспеченных родителей, она росла и воспитывалась в лучших традициях русской интеллигентной семьи. Приветливая, вежливая маленькая Муза свободно болтала по-французски: тетка, сестра отца, души не чаявшая в племяннице, разговаривала с ней только на этом языке. Знание французского определило и будущую профессию Музы. По окончании средней школы, семнадцатилетняя, стройная, весьма привлекательная девушка без особых трудов поступила в институт иностранных языков.

Все в институте знали, что эта серьезная студентка с большими зеленоватыми глазами владеет разговорным французским не хуже, чем ее педагоги. Однако у нее хватало ума этого не подчеркивать. Вела она себя скромно, успешно изучала кроме французского итальянский и испанский языки.

На третьем курсе она познакомилась с ответственным работником Министерства внешней торговли, отцом двух детей. Познакомилась и убедилась, что влюблена в него — в человека, на целых шестнадцать лет старше. В этом для Музы не было ничего из ряда вон выходящего — просто проявилась эксцентричность ее характера. Еще в восьмом классе школы она написала учителю математики, объясняясь в любви к нему. Не получив ответа, разгневалась и возненавидела учителя. Годом позже совсем не по-детски кокетничала с собственным дядей и, нужно сказать, не без успеха. Поклонник богемы, любитель приключений, он охотно пошел навстречу желаниям красивой племянницы, и если бы не вмешательство родителей Музы, неизвестно, чем бы это могло кончиться. Потом была длительная связь с знаменитым спортсменом, связь тягостная, мучительная, тянувшаяся до знакомства с будущим мужем.

Окончив институт, Муза получила назначение в Италию переводчицей в советское торгпредство. В этом не было ничего, что могло бы вызвать недоумение у окружающих: она была отличницей, великолепно владела языками — кому же, как не ей, быть переводчицей в Италии или во Франции?

Торговым представителем в Риме оказался ее знакомый из Министерства внешней торговли. И связь, начатая в Москве, продолжалась здесь, под южным солнцем.

Архангельский не привез в Италию семью, мотивируя это тем, что дети уже взрослые и должны учиться в Советском Союзе. На первых порах он тщательно скрывал свои отношения с молодой переводчи-

цей, но со временем, отбросив всякую осторожность, стал всюду с нею появляться. В советской колонии в Риме тотчас обратили внимание на эту связь немолодого человека, отца семейства, с девчонкой. Пошли пересуды. На партийном бюро резко осудили поступок Архангельского и предложили немедленно прекратить связь с переводчицей. Он поехал в Москву, сумел за очень короткий срок развестись с женой и, представив советскому генеральному консулу справку о расторжении брака, попросил зарегистрировать новый брак — с Музой Горностаевой.

Став ее мужем, Архангельский сразу положил конец всем пересудам и сплетням. Однако совместная жизнь с молодой капризной женщиной не принесла счастья ни ей, ни ему. Читая во взглядах окружающих осуждение, они постоянно испытывали чувство неловкости и даже порою угрызения совести, понимая, что из-за своей прихоти сделали несчастными других. А тут еще непонятное поведение родителей Музы...

Она, как примерная дочь, известила родителей, что собирается выйти замуж. Дала понять, что будущий ее супруг хотя и не очень молодой, но достойный, прекрасный человек. Мать и отец не замедлили поздравить ее, пожелать ей счастья.

Через некоторое время Муза послала родителям фотографию, на которой она была запечатлена с мужем возле роскошного лимузина у дверей генерального консульства после регистрации брака. В письме описывала, какие получила подарки, как праздновали свадьбу. Одновременно с письмом она послала посылку с дорогими вещами.

В ответ Муза получила короткое, сухое письмо от отца, в котором он просил в дальнейшем не посылать им никаких посылок. В адрес зятя в письме не оказалось ни слова приветия, будто того и не существовало. Несколько дней Муза ходила под впечатлением холодного отцовского письма и, наконец, не вытерпела — позвонила по телефону домой. К телефону подошла мать. На все вопросы дочери она отвечала сдержанно, а под конец расплакалась и сказала: «Доченька, разве можно быть счастливой, делая несчастными других? Мы все знаем, отец очень сердит-ся». После короткой паузы спросила: «Зачем ты это сделала?»

Все стало ясно. Муза не спала ночь: она представляла себе, как оценивают ее брак родители, тетка, многочисленные родственники. Они убеждены, что она развела пожилого, годящегося ей в отцы человека с женой и вышла за него замуж ради его высокого положения и материального благополучия.

«Фу, какая гадость», — громко сказала она в ночной тишине, а на утро заявила Архангельскому, что им лучше разойтись.

Не зная еще как следует характера жены, тот воспринял ее слова как очередной каприз. Однако очень скоро убедился, что жестоко ошибается. Формально они не разошлись — этого нельзя было сделать в Риме. Но быть мужем и женой перестали.

Спустя некоторое время Архангельского отозвали в Москву.

Вернулась в Москву и Муза. Она приехала к родителям, а Архангельский поселился на первых порах в гостинице. Они почти не встречались, за исключением нескольких деловых свиданий для выяснения подробностей, связанных с предстоящим разводом.

Отношения Музы с родителями хотя и стали понемножку налаживаться, но холодок и натянутость оставались. Поэтому она стремилась устроиться самостоятельно. К великому ее удивлению, родители не только не возражали против намерения дочери жить отдельно от них, но и всячески шли ей в этом навстречу. На семейном совете было решено, что тетка уступит ей свою комнату в Сокольниках, а сама переедет жить к ее родителям.

Дом в Сокольниках был неказистый, деревянный, но зато большая, светлая комната на втором этаже всеми своими тремя окнами выходила

в один из многочисленных, похожих один на другой, сокольнических проездов.

Муза отремонтировала свою новую комнату. Стены оклеила светлыми обоями, двери и оконные рамы окрасила в белый цвет. Проявив удивительную деловитость, она нашла покупателей и распродала старомодную теткинскую мебель, а взамен купила новый венгерский гарнитур. Безделушки, красивые абажуры, яркие занавески и покрывала, привезенные из Италии, украсили комнату.

По рекомендации своего институтского профессора она устроилась на работу в отдел технической информации одного научно-исследовательского института, где отлично справлялась с обязанностями переводчицы, хотя и не имела специальной технической подготовки. Работники отдела души не чаяли в красивой, приветливой сотруднице, быстро оценив ее доброту, скромность, общительный характер.

Душевная боль от неудачного замужества начинала утихать, жизнь входила в нормальную колею. Она вела почти затворнический образ жизни — никуда не ходила, ни с кем из старых знакомых не встречалась, все свободное время проводила за книгой. Устав от чтения, шла в парк — он был рядом, всего в сотне шагов, — бродила в одиночестве по пустынным аллеям. Иногда садилась на скамейку около маленького пруда и подолгу смотрела на зеленоватую воду. Ей казалось, что жизнь кончилась, что впереди нет и не может быть ничего хорошего — слишком много она повидала, несмотря на свои молодые годы. Такое состояние покоя, грустной умиротворенности нравилось ей, хотя и вызывало недоумение у сослуживцев. Особенно старалась подчеркнуть свое дружеское расположение к ней некая Мурочка, молодая сотрудница библиографического отдела. Она не раз приглашала Музу к себе домой и неизменно получала отказ.

— Так и проживете всю жизнь монахиней? — удивлялась Мурочка. — Неужели вам не хочется пойти в театр, в кино, повеселиться в хорошей компании, потанцевать?

— Я свое уже оттанцевала, — невесело улыбалась Муза.

Однажды после работы, по дороге домой, она встретила Мурочку с высоким, хорошо одетым мужчиной.

— Легки на помине! — воскликнула Мурочка. — Я только что рассказывала Юлию Борисовичу о вас. Познакомьтесь, пожалуйста.

Юлий Борисович оказался человеком воспитанным, с приятными манерами. Держался он скромно, разговаривал с Музой почтительно. Он предложил Мурочке проводить новую знакомую до Сокольнического парка.

— А мы отправимся с вами, Мурочка, в Сокольнический парк. Там отличный ресторан, пообедаем вместе, если, конечно, вы не возражаете.

— Я с удовольствием! — ответила Мурочка. — Только, что за эгоизм: почему мы с вами, а не втроем?

— Разумеется, я буду очень рад, если Музе Васильевне захочется провести с нами время.

Муза промолчала.

— Пойдемте с нами, — уговаривала Мурочка, — доставьте нам такое удовольствие. Завтра воскресенье, рано вставать не надо. Пообедаем, послушаем музыку, потанцуем. Как говорится — себя покажем, на других посмотрим.

Для решительного отказа у Музы не нашлось причин. «Тем более, что мы втроем», — подумала она и согласилась.

Юлий Борисович проявил необыкновенную щедрость. Он заказал дорогие закуски, отлично разбирался в винах. Ко всему, он оказался еще и хорошим танцором. Так состоялось знакомство Музы Васильевны Горностаевой с Юлием Борисовичем Никоновым.

На первых порах ей казалось, что на ее пути наконец-то появился

настоящий человек, что эта связь будет приятной, прочной. Но очень скоро она стала сомневаться в правильности этих своих предположений, хотя видимых причин для сомнений как будто и не было. Юлий Борисович вел себя по отношению к ней в высшей степени предупредительно и корректно. Однако Муза была достаточно проницательной женщиной, чтобы не заметить в нем какую-то неестественность, а временами и фальшь. Особенно смущали ее дорогие подарки, которые он ей делал. Время от времени Юлий Борисович оставлял у нее на несколько дней то сверток, то маленький чемодан. Она не знала содержания свертков и чемодана, считая недостойным копаться в чужих вещах, но во всем этом ей чудилось что-то непривычное, даже нечистое.

И она по-настоящему испугалась, когда он преподнес ей перстень с крупным бриллиантом. Сначала, увидев старинное красивое кольцо, она пришла в восторг. Но потом сняла перстень с пальца и, положив на туалетный столик, сказала:

— Спасибо, Юлий Борисович. К сожалению, я не могу принять от вас такой дорогой подарок.

— Почему? — спросил он с наигранной веселостью. — Я перстень не украл, не купил. Это — остаток прежней роскоши, так сказать, семейная реликвия. Перстень носила моя покойная матушка. Кому же мне его подарить, если не такой прелестной женщине, как вы?

— Я тронута. Но перстень возьмите. Я не могу принять его.

— Скажите, почему вы относитесь ко мне с недоверием? — Юлий Борисович укоризненно посмотрел ей в глаза. — Разве я давал вам для этого повод? Трещусь, как все... Если живу немного лучше, чем многие, так это результат сочетания целого ряда благоприятных обстоятельств. Некоторые дорогие безделушки, как, к примеру, этот перстень, оставлены мне родителями. Трофейное имущество, купленное по случаю, позволило мне прилично обставить свою комнату. Ну и, наконец, — трудолюбие! Я всю жизнь трудился и сейчас трещусь, не щадя сил... Вы знаете, что я холост, — у меня нет особых расходов, а зарабатываю я прилично. Так почему мне не жить хотя бы немного лучше окружающих и не делать подарки женщине, лучше которой нет и не может быть в целом свете.

Длинная речь Юлия Борисовича произвела на Музу впечатление совершенно обратное тому, на которое он рассчитывал. Она не поверила ни одному слову, а слушать его было тягостно.

— Вы вправе жить так, как вам нравится, — сдержанно ответила она.

— Мне страстно хочется, чтобы вы стали моей женой! — не поняв ее холодности, продолжал Юлий Борисович. — Сколько раз я говорил вам об этом и повторяю снова! Ведь вы не безразличны ко мне, как хотите сейчас показать. Но почему-то всякий раз делаете вид, что не слышите об этом моем желании. Вы не согласились даже побывать у меня дома... Признаюсь, это меня обижает. Я не принадлежу к числу безгрешных, много видел на своем веку женщин, но, уверяю вас, никому не делал такого предложения!

— О, я крайне польщена тем, что вы так великодушно выделяете меня из многочисленных ваших знакомых!.. Но я уже говорила вам, повторяю и сейчас, что никогда не соглашусь стать вашей женой!

Решительный тон Музы задел Юлия Борисовича, не привыкшего получать от женщин отказ. Он встал, подошел к туалетному столику, повертел флаконы с духами, баночки с кремом, потом повернулся к ней.

— Может быть, вас тяготит и знакомство со мной?

— Как вам сказать? — ответила она после некоторого раздумья.

Леонид не знал, что, спрашивая Музу о знакомстве с Юлием Борисовичем, он задевает ее больное место.

Муза была права, когда не поверила ни одному слову Никонина, — он действительно жил двойной жизнью и делал это довольно ловко.

В 1949 году он был арестован по делу о продаже под видом отходов шерстяной пряжи. Предварительное следствие установило, что главный механик Главшерсти Никонов Ю. Б. не имел прямого отношения к вопросам сбыта, — следовательно, если он и сыграл в деле какую-то роль, то незначительную. Непосредственный виновник сделки, начальник сбыта главка Голубков, держался твердо, никого из своих сообщников не выдавал. Боясь показательного суда, он брал всю вину на себя и на вопросы следователя об участии Никонина в комбинации с пряжей отвечал отрицательно. Никонов, мол, свел его с артельщиками без всякой корысти, думая, что речь действительно идет об отходах. Не выдали Никонина и работники промкооперации.

На этом основании Никонина освободили из-под ареста и взяли у него подписку о невыезде до конца следствия.

Сообразив, что на суде могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, Юлий Борисович воспользовался временной свободой, чтобы привести в порядок свои личные дела. Прежде всего, под видом дальней родственницы, он прописал к себе одну богобоязненную старуху. Положил на ее имя в сберкассу значительную сумму денег и взял у нее письменное распоряжение сберкассе — переводить плату за квартиру.

— А вы, бабуся, получайте каждый месяц сорок рублей и живите, как кума королю, да молитесь за меня богу. В случае, если я исчезну на некоторое время, не бойтесь, берегите вещи и никого в квартиру не пускайте.

На суде дело приняло нежелательный для Юлия Борисовича оборот. Голубков и артельщики, поняв, что показательного суда не будет, сообразили в том, что передали подсудимому Никонову Ю. Б. в разное время около сорока тысяч рублей за посредничество.

Юлий Борисович отрицал факт получения денег, врал и изворачивался как мог, но улики были неопровержимы. Его приговорили к трем годам тюремного заключения и взяли под стражу. У всех осужденных, за исключением Никонина, конфисковали имущество.

Казалось бы, карьера Юлия Борисовича на этом должна была закончиться. Но не такой он человек, чтоб легко сдаться. Еще в тюремной камере, ожидая отправки в лагерь, он в деталях продумал свое поведение, чтобы освободиться досрочно и начать все сызнова, не забывая, разумеется, о своих ошибках.

В лагере на первых порах ему было плохо. Подъем в шесть утра, тяжелая, непривычная физическая работа, простая пища. Кругом уголовники — ругань, матерщина. Он начал было отчаиваться, но помог случай. Однажды его вызвал начальник лагеря и спросил:

— Ты, кажется, инженер-механик по профессии?

Юлий Борисович вздохнул.

— Да, гражданин начальник, был инженером-механиком. Последнее время был главным механиком большого союзного главка.

— Это меня мало интересует. Нам нужен не чиновник, а настоящий механик, хорошо знающий металлорежущие станки. Скажи, ты мог бы руководить нашими механическими мастерскими?

— Мне трудно сразу ответить, гражданин начальник. Дайте возможность сначала ознакомиться с делом, потом уж решать. Не в моих правилах подводить себя и других...

Ответ понравился начальнику лагеря. Он приказал расконвоировать заключенного Никонина Ю. Б. А через пять дней тот был назначен руководителем механических мастерских.

Юлий Борисович старался изо всех сил и работал как никогда в

жизни. Не шутка — каждый отработанный им день засчитывается за три, таким образом три года тюремного заключения сокращались до одного.

В лагере состоялось знакомство Юлия Борисовича со «знаменитым» дельцом из Львова — Аркадием Семеновичем Шаговым, по прозвищу Папаша, — знакомство, сыгравшее роковую роль в жизни Никонова.

Шагов, плотный, среднего роста лысеющий мужчина лет сорока пяти, всегда суетился, куда-то спешил и в разговоре всем говорил «дорогой». Он был мастером на все руки — актер, режиссер, исполнитель эстрадных песен и куплетов. Умел рисовать. Конечно, шедевры он не создавал, но афиши, плакаты и декорации давались ему без труда. Оценив способности Шагова, начальник лагеря назначил его заведующим клубом и руководителем драматического кружка. Завидные должности, дающие относительную свободу в пределах лагеря.

Шагов пользовался популярностью даже у отпетых уголовников — для этого были особые причины. Он был щедр, и у него всегда было курево (это ценилось в лагере дороже всего), сахар, консервы, масло, белый хлеб и всякая другая снедь. Как он доставал все это, как ухитрялся прятать от лагерного начальства — оставалось загадкой.

Шагов считался в лагере старожилом, знал всех, и все знали его. Надзиратели, воспитатели, сам начальник лагеря и его старший помощник по политчасти относились к Папаше снисходительно, прощали ему небольшие шалости. Оберегали его и уголовники.

Однажды вор, новичок в лагере, украл посылку, полученную Шаговым. Аркадий Семенович пришел в ярость, пошел к старшине уголовников по прозвищу Сашка Кривой и сказал:

— Ну, знаешь, дорогой, если ваши ребята и меня будут обкрадывать, тогда мир перевернется вверх тормашками и не будет в нем никакого порядка.

Украденная посылка была найдена в тот же день и возвращена Папаше в целостности и сохранности, там не хватало только куска копченой колбасы, ее успел съесть воришка, за что атаман принес Аркадию Семеновичу искренние извинения, точь-в-точь, как это делается в дипломатическом мире.

Как-то ранней весной, когда Юлий Борисович только-только осваивался с ролью заведующего механическими мастерскими лагеря, в клубе прорвало водопроводную трубу. Шагов побежал в канцелярию просить о помощи. По дороге он встретил Никонова, остановил его.

— Вот как раз вас-то мне и нужно! Я Шагов Аркадий Семенович, заведующий клубом и руководитель драмкружка. Многие зовут меня еще Папашей, может, слышали? — представился он. — В клубе прорвало трубу, срочно пришлите, дорогой, слесаря — иначе вода зальет весь первый этаж.

— О вас я слышал много хорошего, Аркадий Семенович, — любезно ответил Юлий Борисович. — Но, к сожалению, все слесари разошлись по нарядам... — Он задумался на минуту — не хотелось отказывать лагерной знаменитости. — Может, я сам сумею исправить — как-никак, инженер-механик...

В клубе он перекрыл воду, намочив тряпку цементным раствором, обмотал ею трубу с трещиной.

— Часа через два можете открыть воду, — он хотел было уйти, но Шагов удержал его.

— Не хотите ли, дорогой, выпить со мной стаканчик крепкого чаю и закусить чем бог послал?

Юлий Борисович с благодарностью принял приглашение — в лагере не часто приходилось пить хороший чай.

Шагов повел его к себе в конуру за кулисами, поставил чайник на

плитку и, заперев двери клуба, угостил Юлия Борисовича по-царски: копченой колбасой, сыром, маслинами, консервами и белым хлебом. Так состоялось их знакомство, превратившееся вскорости в дружбу.

Они стали часто встречаться. Однажды во время очередного пиршества Шагов сказал Никонову:

— Извините, дорогой, я знаю, по лагерному этикету не принято спрашивать, кто за что сидит. Но мы с вами друзья и, мне кажется, можем нарушить этот неписанный закон. Как вы думаете, дорогой?

— Согласен с вами! Тем более, что мне скрывать абсолютно нечего,— ответил Юлий Борисович, приготовляя себе бутерброд с голландским сыром.

— В таком случае рассказывайте, дорогой, как могло случиться, что такой культурный, интеллигентный человек, как вы, специалист высокой квалификации, угодил сюда.

— Честно говоря, по неопытности, за пустяк! — Юлий Борисович рассказал Шагову историю о комбинации с шерстяной пряжей со всеми подробностями и без утайки.

— Ай-ай-ай,— воскликнул тот, выслушав исповедь до конца.— Из-за каких-то сорока тысяч — три года! Многовато... Разве можно так дешево продавать свою свободу, дорогой? Вы при желании могли бы зарабатывать в три, пять, десять раз больше с меньшим риском.

У Юлия Борисовича загорелись глаза.

— Каким же образом?

— Это особый разговор,— уклончиво ответил Шагов.

— Вы-то сами зарабатывали такие деньги?

— Случалось и больше...

— И тоже попались!..

— Я, дорогой, попался не за это! — Шагов махнул рукой, покачал головой.— Может быть, когда-нибудь расскажу... Никому не рассказывал, но вам, дорогой, расскажу.

Услышав протяжный свисток, Шагов насторожился.

— Нам, кажется, пора расстаться,— сказал он.— Продолжим нашу беседу в другой раз!

Юлий Борисович поднялся и поспешил в барак, где он жил, чтобы быть на месте во время поверки.

Понемногу он привыкал к лагерной жизни. Днем работал в мастерских, по вечерам читал или играл в шахматы. А когда Шагов был свободен, шел к нему в клуб. С питанием тоже более или менее наладилось: он покупал в лагерном ларьке положенное количество продуктов, изредка получал посылки от старухи, которую вселил к себе в комнату, но главным источником его сытости был Шагов. Мало того что он щедро угощал Юлия Борисовича, он снабжал его кое-какими продуктами: чаем, сахаром, сгущенным молоком, изредка даже колбасой. Казалось, все складывалось для Никонова сносно. Лагерники относились к нему терпимо — по крайней мере не обкрадывали, не ругали на каждом шагу площадными словами. У лагерного начальства он тоже был на хорошем счету и не терял надежды освободиться досрочно. Единственное, к чему он никак не мог привыкнуть, была жизнь в бараке — в большом, длинном помещении с низким потолком, в котором стояли в ряд восемьдесят железных коек. Летом там бывало жарко, душно, хотя все окна открывались настежь. Зимой же воздух, насыщенный запахом грязных тел, пота, влажных портянок, вызывал тошноту. Но самым страшным бичом для Юлия Борисовича был храп — из-за него по ночам он не мог сомкнуть глаз. Только на рассвете он, усталый и измученный, забывался коротким сном, но тут наступало время подъема.

Даже днем этот храп звенел в ушах, сверлил мозг, и Юлий Борисович мечтал избавиться от барака. Спал ведь Шагов у себя в клубе, по-

чему же ему, руководителю механических мастерских, не пользоваться такой привилегией? Чем он хуже других?

Однажды Юлий Борисович спросил Шагова:

— Как вам удалось, Аркадий Семенович, избавиться от барака? Я совсем не сплю по ночам и просто не знаю, что делать? Готов спать на голой земле, лишь бы не дышать спертым воздухом «спальни», не слышать страшного храпа!

— Покинуть барак считается серьезным нарушением лагерного режима,— сказал Шагов.— Мне с превеликим трудом удалось завоевать право спать здесь, в клубе... Но не отчаивайтесь, дорогой друг! Вы молоды, здоровье у вас крепкое. У вас все впереди!

— Впереди я тоже не вижу ничего хорошего... В наших условиях человек, имеющий судимость, подобен члену касты неприкасаемых в Индии — перед ним закрыты все пути-дороги.

— Я не совсем понимаю вас,— Шагов пожал плечами.— Вы что — мечтаете карьеру сделать, собираетесь в недалеком будущем стать министром?

— Нет, конечно, но все же...— замялся Юлий Борисович.

— Все эти высокие должности, положение в обществе и прочее — ерунда, суета сует. Делайте деньги, большие деньги, и тогда вы будете иметь все!.. Надеюсь, вы не верите в потустороннюю жизнь?

— Только этого не хватало!

— Вот и надо позаботиться о хорошей жизни на этом свете, памятуя, что маленький человек имеет ряд существенных преимуществ, о которых не знают непосвященные. Прежде всего его не преследует постоянный страх, что он лишится положения и власти. Он пренебрегает общепринятыми правилами и условностями — человек он маленький, незаметный, что с него взять? Он не утруждает себя размышлениями о высоких материях, не думает о судьбах человеческих и ни за что не отвечает. Имейте в виду, что посланники и министры страдают, как правило, геморроем и несварением желудка!

— Стало быть, дело за небольшим: уметь, как вы говорите, делать деньги... Но вот беда — этого хотят очень многие. Хотят, но не умеют!

— Вот мы и подошли, дорогой, к основному пункту нашей беседы. Когда приблизится время вашего освобождения, я дам вам несколько советов, причем совершенно безвозмездно! А еще, быть может, укажу на людей, которые помогут вам в начале вашей деятельности на новом поприще.

— А через некоторое время придется снова вернуться сюда, чтобы дышать тошнотворным воздухом казармы...— без особого энтузиазма заметил Юлий Борисович.

— Дорогой, от случайностей никто в жизни не гарантирован. Как говорится — от тюрьмы и от сумы не уйдешь... Но, смею вас заверить, что новое занятие, которое я порекомендую, менее опасно, чем, скажем, подледная рыбная ловля... Вы любите рыбачить?

— Нет.

— Напрасно. Рыбная ловля успокаивает нервы. Это удивительно приятное занятие, дорогой, особенно для людей пожилого и среднего возраста, вроде нас с вами... Закидываешь удочку в воду, а сам предаешься сладостным мечтам, строишь воздушные замки, сочиняешь сказки. Кругом ни души, тишина! В эти часы ты властелин мира, всемогущ...— По блаженному выражению лица Аркадия Семеновича не трудно было догадаться, что он вспомнил о чем-то очень приятном.— На чем мы остановились? Да, вот так: к сожалению, жизнь таит множество опасностей... Даже переход через улицу не лишен известного риска. Но на то человек и наделен разумом, чтобы быть осторожным, беречь себя от возможных случайностей. К этому следует еще добавить, что опасности уменьшаются во много раз опять-таки при помощи денег...

— Извините,— перебил Юлий Борисович,— но боюсь, что эта теория безнадежно устарела и не подходит к нашим условиям, чему доказательство — ваше присутствие здесь, в лагере!..

Шагов усмехнулся.

— Ну, дорогой, вы упрощаете вопрос!.. Мое пребывание здесь вовсе ничего не доказывает. Это, так сказать, печальное исключение из правил. Если бы не деньги, я очутился бы за решеткой куда раньше и, видимо, не один раз... Да, в моей практике разное бывало... Вот, к примеру, случай в Вильнюсе, сразу после войны. Дошли до меня слухи, что там можно приобрести золото и валюту по сходной цене. Не теряя времени я отправился туда, сошелся с нужными людьми, и дело пошло!..

Однажды, это было, кажется, на седьмой день моего пребывания в этом красивом городе, возвращался я в гостиницу и нес в чемоданчике порядочное количество всякой всячины. Вдруг около меня, словно из-под земли, вырос человек в штатском и спрашивает: «Что у вас, гражданин, в чемоданчике?» В ответ я сразу в бутылку — какое, мол, ваше дело? Человек в штатском вытаскивает из кармана синюю книжечку и протягивает мне. Читаю,— там черным по белому написано, что обладатель книжки не кто иной, как оперуполномоченный уголовного розыска.

Положение у меня, сами понимаете, хуже губернаторского, попал, что называется, как кур во щи, имея с собой вещественные доказательства своей виновности. В чемоданчике три тысячи хрустящих американских долларов и двенадцать каратов бриллиантов чистойшей воды. Упрячут меня лет на десять, в этом сомневаться не приходилось. Нужно отвертеться во что бы то ни стало, отвертеться любой ценой. Разумеется, сперва я встал в позу обиженного и начал говорить высокопарные фразы: что это такое, кто дал право хватать честных советских граждан на улице, попирать их гражданские права в нашем свободном государстве и прочее, прочее. Не помню уже, какую еще нес чепуху. Вижу, мои слова не производят никакого впечатления. В ответ оперуполномоченный повторяет одно и то же: «Пойдемте в отделение, там разберут». Незаметно изучаю физиономию своего спутника и принимаю решение — рисковать!

В таких случаях нужно сразу огорошить блюстителя порядка предлагаемой суммой. Мелочишкой не отделаться. «Хотите двадцать пять тысяч?» — спрашиваю оперуполномоченного. Тот от неожиданности заморгал глазами, проглотил слюну и, не веря собственным ушам, хриплым голосом переспросил: «О чем вы это?» — «Предлагаю вам двадцать пять тысяч наличными. Это примерно ваш двухлетний оклад», — отвечаю ему. «Как же так», — бормочет оперуполномоченный. «Очень просто,— успокаиваю я его,— отпустите меня подобру-поздорову и получите кругленькую сумму. Попрошу вас только об одном: деньгами не шикуйте, иначе попадетесь и потянете за собой меня». Мой спутник ничего не отвечает, но шаги наши, по мере приближения к отделению милиции, замедляются: верный признак того, что рыбка клюнула. Меня не проведешь, я опытный воробей: понимаю, что оперуполномоченный готов взять деньги. Однако сразу сделать это он не может — ему нужно время, чтобы внутренне подготовиться, а может быть, выдумать мотивы и оправдаться перед самим собой. В общем, штучки сентиментальных интеллигентиков всех времен и народов!.. «Ладно,— говорит,— давайте деньги и можете идти куда хотите». Легко сказать — давайте деньги. Не будешь же отсчитывать их на улице, да и денег-то таких не было у меня с собой. Но теперь я мог диктовать ему свою волю. «Договорились,— отвечаю,— пойдемте со мной до гостиницы. Вы посидите в ресторане, а я через десять минут вынесу вам деньги, завернутые в газетную бумагу и незаметно оставлю на вашем столике, проходя мимо». Конечно, можно было пригласить его в номер, но, сами понимаете, мне не хотелось ви-

деть его у себя — в гостиницах слишком уж много любопытных глаз. Оперуполномоченный молча посмотрел на меня, я прочел его мысли, как в открытой книге. «Не бойтесь, я вас не обману, это не в моих интересах, — успокаиваю его. — Не откажите ответить только на один вопрос: чем было вызвано ваше внимание к моей скромной персоне?» — «Дом, откуда вы вышли, у нас на подозрении. Мы следим за ним. По нашим сведениям, там орудуют спекулянты»...

Мы повернули назад, и все произошло, как я предполагал. Поднявшись к себе, я первым делом постарался избавиться от чемоданчика — сдал его в камеру хранения. Это на всякий случай — осторожность никогда не мешает. Потом отсчитал двадцать пять тысяч рублей, аккуратно завернул их в газету и спустился в ресторан. Квитанцию от камеры хранения держал наготове, чтобы в случае чего уничтожить. К счастью, этого делать не пришлось. В тот же вечер я уехал из Вильнюса, предварительно известив тамошних дельцов, что за ними следят...

— Вам просто повезло — встретились со сговорчивым представителем власти. Чаще бывает по-другому, — сказал Юлий Борисович.

— Конечно, дорогой, могло быть и по-другому, — согласился Шагов. — Я встречался и с идейными тоже. С ними труднее. Однажды, дело было в Одессе, я закупил на черной бирже порядочное количество иностранной валюты. Уложив ее в докторский саквояж, иду себе как ни в чем не бывало. Откуда ни возьмись — молодой человек в кожаной тулупке. И задает стандартный вопрос: «Что у вас в саквояже?» Отвечаю хладнокровно: «Грязное белье, несу к прачке в стирку». Молодой человек рассердился и строго говорит: «Вы, гражданин, бросьте эти штучки — не в цирке. Лучше покажите, что несете?» Я собираюсь с духом и спрашиваю: «Сколько?» Видимо, тут я дал маху — недооценил человека. Видели бы вы лицо моего собеседника после этого «сколько»! Он побагровел и, сверкая глазами, закричал: «Я покажу тебе «сколько», паршивый спекулянт! Пойдем со мной»...

— Вот видите, деньги не всегда помогают! — заметил Никонов.

— Там, где не помогут деньги, что бывает редко, поможет сообразительность. Думаете, дорогой, я попался в тот раз? Ничего подобного. Покорно следую за молодым человеком по набережной и — секундное дело — бросаю саквояж в море.

— Разве это могло вам помочь? — спросил Юлий Борисович.

— А как же? Вещественных доказательств, что у меня была валюта, нет? Нет. Свидетелей тоже не имеется. Остается только утверждение уполномоченного уголовного розыска. Но разве на этом основании можно осудить человека? Ни в коем случае, тем более, что задержанный категорически отрицает свою вину.

— Но могли же они достать саквояж со дна моря?

— Могли. Больше того, наверняка достали в тот же день. Но какое и это могло иметь значение? Кто и как мог доказать, что извлеченный со дна моря саквояж с долларами принадлежит мне? Никто, никак!.. Молодой человек в кожанке оказался не только идейным, но и на редкость сообразительным. Поняв, что со мной ничего нельзя сделать, он выругался, послал меня ко всем чертям и пригрозил, что мы еще встретимся. Конечно, тут у него были и другие, менее идейные соображения. Приведи он меня, голого как сокол, в управление, его не погладили бы по головке: он ведь прошляпил дело, позволив мне избавиться от вещественных доказательств. Надеюсь, дорогой, вы поверите, если я скажу, что у меня не было никакого желания встречаться с ним вновь. Жаль было, конечно, что плакали мои денежки, но в нашем деле без потерь нельзя, лишь бы уцелела голова!..

С каждым днем дружба между Шаговым и Юлием Борисовичем крепла. Почувствовав, как говорили в старину, родство душ, они разго-

варивали друг с другом совершенно откровенно. Юлий Борисович, не стесняясь, рассказывал об обидах, нанесенных ему Советской властью с юных лет за то только, что его отец имел несчастье быть городским головой. Он вслух мечтал о красивой жизни где-нибудь в Швейцарии, недалеко от голубого озера, или на лазурном берегу во Франции.

— Живут же там люди,— вздыхал он.— Живут без забот и хлопот, без политики, без необходимости вечно хитрить и приспосабливаться... Представьте себе фешенебельные гостиницы, изысканные обеды в обществе прелестных дам, казино, прогулки на белых быстроходных яхтах. Обо всем этом мы только можем мечтать!..

— Для такой жизни нужны деньги, много денег,— говорил Шагов.— Мне кажется, что у нас, в России, делать деньги легче, чем за границей. У нас мало кто знает цену большим деньгам, а там люди только тем и заняты, что делают деньги. И какие люди! Великие мастера своего дела. Чтобы пробиться среди них, занять местечко под солнышком, нужно иметь редкую голову и стальные мускулы, иначе сомнут, сотрут с лица земли!

Шагов заваривал чай, доставал закуску. Нарезая колбасу, они предавались мечтам о будущем.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приближалось время досрочного освобождения Никонова. Он уже считал дни и часы, когда наконец снова обретет свободу. Иногда сомневался: а вдруг раздумают, не освободят? Ведь речь шла о досрочном освобождении. Однако будучи оптимистом и веря в свою судьбу, он отбрасывал эти мрачные мысли. Он строил обширные планы на будущее, и в нем опять просыпались честолюбивые желания — ему по-прежнему хотелось иметь все, что пожелает душа. Но как? Снова пуститься в сомнительные операции? Но ведь достичь нормальными путями элементарно приличных условий жизни едва ли будет возможно. При наличии у него судимости ни один кадровик не даст ему руководящую работу с приличным окладом, а о персональном окладе и говорить не приходится... Подобные рассуждения приводили Юлиа Борисовича в уныние. Он не мог даже представить себе, как будет жить на оклад рядового инженера. О своей особе он был высокого мнения, считал себя человеком незаурядным, утонченным — следовательно, по его мнению, не было ничего зазорного в том, что и запросы у него повышенные.

Конечно, при желании можно воспользоваться расположением к нему Аркадия Семеновича Шагова и при его помощи делать, как тот любил выражаться, деньги...

— Как вы думаете, Аркадий Семенович, есть возможность теперь перебраться за границу? — спросил Никонов при очередной встрече.

— К чему вы это? — удивился тот.

— Так, на всякий случай... Скажем, ценой большого риска человек заимел немного денег. А дальше что? У нас даже тратить их толком нельзя. Сейчас же обратят внимание...

— Трудно, очень трудно, особенно нашему брату,— сказал Шагов.— Давайте перечислим, какие есть для этого возможности. Прежде всего — туристские поездки. Но это не про нас. Человека с сомнительной биографией, в особенности имеющего в прошлом судимость, за границу не пустят. Следовательно, этот вариант отпадает. Подумаем о другом. Переход границы нелегально. Весьма опасное занятие, почти невозможное. Нужно дойти до ручки, чтобы решиться на такое... Третья возможность — родственники из-за границы приглашают вас погостить. Для этого прежде всего нужно их иметь, этих родственников... Поло-

жим, можно организовать, чтоб были. Тут дело в цене. Вы можете получить вызов из любой страны, это я вам могу гарантировать. Но — отпустят ли вас погостить, вот в чем загвоздка!

— Выходит, об этом и думать нечего...

Юлию Борисовичу казалось, что его со всех сторон окружили капканами. Хочешь жить тихо, мирно, как живут все, — живи. Один неосторожный шаг в сторону — и непременно угодишь в капкан. Находятся же люди, болтающие о какой-то свободе!.. Какая, к черту, свобода, когда везде и всюду тебя преследует закон? Нет, он, Юлий Борисович Никонов, не будет вечно влачить нищенское существование, он не рожден для этого. Только бы выйти на свободу, а там он покажет себя!

Дня через три, сдав мастерскую вновь назначенному инженеру и подписав акт по всей форме, Юлий Борисович вздохнул, словно с его плеч сняли тяжелый груз. В хорошем настроении направился он в клуб к Шагову. И опять сидели они за чашкой чая, вели непринужденный разговор, словно находились не в тесной конуре с низкими сводами, а в светлом зале дорогого ресторана.

Шагов признался, что, искренне радуясь освобождению друга, он печалится о потере такого приятного собеседника, как Юлий Борисович. Тот, в свою очередь, заверил, что не забудет до конца своих дней все, что сделал для него милейший Аркадий Семенович и при первой возможности постарается отплатить ему тем же.

— Мне, дорогой, еще долгонько сидеть здесь, — сказал Шагов, — но рано или поздно освободят. Встретимся с вами в Москве, отпразднуем нашу встречу... А теперь скажите, если, конечно, не секрет, чем думаете заниматься дома?

— Как чем? Поступлю куда-нибудь рядовым механиком, буду ишачить. Другого-то выхода у меня нет!

— И получать девяносто целковых в месяц? Как говорится, сыт будешь, но жира не накопишь... А деньги на жизнь есть у вас?

— Не так много, но кое-что найдется... За это время друзья присылали мне посылки, платили за квартиру, переводили сюда положенные пятнадцать рублей в месяц. Все же, по моим расчетам, тыщонки полторы должно остаться...

— На такие деньги далеко не уедешь! — Шагов оглядел своего собеседника с ног до головы так внимательно, будто видел его в первый раз, и спросил: — Хотите, дам вам адрес одного надежного человека, который в случае надобности придет вам на помощь?

— В каком смысле?

— В самом прямом. Скажем, наступает такой момент, когда вам становится немогогу и вы решаетесь изменить образ жизни... Бывает ведь такое?

— Безусловно! — охотно согласился Юлий Борисович.

— Вот тогда вы явитесь к нему и он научит вас, как быть и что делать. Он человек очень умный — осторожный, как олень, и хитрый, как лиса... Живет себе на свете безобидный, набожный еврей, соблюдает все положенные верой обряды, не ест тrefного, посещает синагогу, ухитряется помогать бедным из своей скудной пенсии. Если вы ему понравитесь и будете следовать его советам, дела у вас пойдут как по маслу.

— Я с удовольствием познакомлюсь с таким умным человеком! — ответил Юлий Борисович, думая про себя, что такое знакомство ни к чему не обязывает, а пользу может принести большую.

— Тогда слушайте и запоминайте. Записывать не надо. В дачной местности Красково, под Москвой, — это по Казанской дороге, — на Красноармейской улице, в доме семнадцать, живет Казарновский Соломон Мойсеевич. Он известен больше по кличке Борода... Адрес повторить или запомнили?

— Запомнил.

— Если надумаете и придете к нему, передайте от меня привет и скажите, что это я посоветовал вам побывать у него. О чем бы он вас ни спросил, говорите всю правду. Борода пронизателен — заметив, что вы, дорогой, хитрите, не пожелает иметь с вами дела. Имейте в виду, деньги для него не играют большой роли.

— Зачем же тогда он занимается делами?

— Из спортивного интереса... Вы, дорогой, конечно, такое и не представляете себе. У него столько денег, что хватит до конца жизни не только ему, но и его детям, внукам и правнукам. Скажу больше — иногда он даже как бы тяготится своим богатством. Но остановиться не может...

— Странно! Очень странно...

— Ничего странного нет. Делать большие деньги — это своего рода наркотик. Вы — азартный игрок, вы затеяли интересную комбинацию и, словно полководец, наместили стратегию и тактику баталии, пустили в ход все свои способности — ум, хитрость, ловкость. Сражение началось — кто кого? Нервы ваши напряжены до предела: ведь ставка в этой игре — ваша свобода, а может быть, и жизнь. Как вы думаете, что вас интересует при такой ситуации прежде всего? Ну конечно же исход сражения, а потом уже деньги. Все это, правда, относится к людям крупным, масштабным. У мелкого и комбинации бывают мелкие и горизонт узкий...

— Какие же нужно иметь нервы, чтобы пускаться в такого рода занятие!.. Нет, не каждому это дано!..

— Совершенно верно, не каждому! — согласился Шагов, и глаза его на миг блеснули азартным огнем. — Попробуйте, дорогой, перехитрить десятка полтора молодцов, специально поставленных, чтобы помешать вам жить и работать. Оттолкните локтями десятки других дельцов, готовых перехватить куш. Все это позади, вы вышли победителем в этой отчаянной игре! Теперь вы можете позволить себе отдых на лучших курортах или совершить путешествие в первом классе парохода, покупать красивые вещи и дарить любовницу, если она у вас есть. Единственно что требуется от вас — это быть осмотрительным и не привлекать к своей персоне внимания блюстителей порядка.

— Вы так увлекательно описали все, что мне самому захотелось хоть завтра вступить в эту игру!

— Не спешите, дорогой! Вернувшись домой, сперва пропишитесь, обязательно устраивайтесь на работу — одним словом, легализуйтесь. Потом уж решите, как вам быть...

В пятницу вечером в большом зале лагерного клуба происходила сессия выездного суда. Клуб был битком набит. Предстояло рассмотрение дел по досрочному освобождению большой группы заключенных, в том числе и Юлия Борисовича.

Когда секретарь суда назвал его фамилию, он вскочил с места и, смертельно побледнев, подошел к столу. Все обошлось благополучно. Вернувшись после короткого совещания, председатель суда огласил решение о его досрочном освобождении.

Утром Юлию Борисовичу выдали железнодорожный литер до Москвы и семьдесят четыре рубля шестьдесят копеек, заработанных в лагере за год.

Вот она, свобода! Поезд отходил со станции, находящейся в семи километрах от лагеря, только вечером, но Юлию Борисовичу не терпелось. Тепло попрощавшись с Шаговым, с маленьким чемоданчиком в руках, он вышел на дорогу, ведущую к станции. Доехав до нее на попутной машине, он прежде всего пошел в ресторан и с удовольствием пообедал. Потом купил билет до Москвы в мягком вагоне. Пользоваться литером он не хотел.

В Москве все шло гладко. Старуха сберегла его комнату со всеми вещами в целости и сохранности. В отделении милиции ему выдали новый паспорт, прописали по месту прежнего жительства и пожелали не повторять ошибок прошлого.

Скрепя сердце, Юлий Борисович пошел на камвольный комбинат в надежде, что ему подыщут там подходящую работу. «Квалифицированные механики на улице не валяются», — подбадривал он себя.

Но Власов встретил его сухо, даже сестя не предложил.

— Я насчет работы, Алексей Федорович. Думаю, что могу быть полезным — работал здесь не один год и хорошо знаком с оборудованием, — заискивающе сказал Юлий Борисович.

— Могу предложить вам должность дежурного теплотехника, — ответил Власов после короткого раздумья.

— Почему — дежурного теплотехника? Я ведь высококвалифицированный инженер-механик. На этом комбинате был главным механиком, потом в Главшерсти...

— То было давно, когда все думали о вас иначе, — перебил его Власов. Потом спросил: — Как вы сами думаете — должен человек нести ответственность за свои неблагоприятные поступки?

— Я понес жестокое наказание — целый год отсидел в лагере!

— И решили, что это все? Вы забыли о моральной стороне дела. Впрочем, этот разговор ни к чему. Другой работы у нас нет. Хотите работать дежурным теплотехником — пожалуйста. Идите в отдел кадров и оформляйтесь, я дам указание. — Власов встал, ему противно было разговаривать с этим типом.

— Нет, эта работа мне не подходит, — ответил Никонов, направился было к выходу, но, остановившись у дверей, повернулся к Власову. — Не думал, что вы такой мстительный! Считал, что вы понимаете, что тогда я выполнял чужую волю... И что же, по-вашему: если человек один раз поскользнулся, так он навсегда лишается места под солнцем и права на труд?

— Не обманывайте себя. Вы не случайно поскользнулись. Образ вашей жизни, ваше поведение во всем, даже в мелочах, должны были привести вас к тому, к чему и привели.

— Ничего, я еще встану на ноги! Тогда посмотрим. — И он вышел из кабинета.

В поисках работы Юлий Борисович побывал в разных учреждениях, посетил десятки фабрик, и везде ему предлагали место рядового инженера. Дни проходили, сбережения таяли, а он никак не мог отрешиться от старых привычек — посещал рестораны, приглашал к себе женщин, угощал их вином, фруктами...

Узнав, что Толстяковы живут на даче, он направился в Софрино. Юлий Борисович надеялся, что Василий Петрович может оказаться ему полезным: без сомнения, у него сохранились старые связи. Да и с Ларисой не мешало бы возобновить прежние отношения — она женщина волевая, энергичная...

На даче он обнаружил полнейшее запустение. Толстяков, больной, раньше времени состарившийся, безразличный ко всему, не удостоил своего бывшего оруженосца даже короткой беседы. В ответ на приветствие он молча кивнул и снова погрузился в книгу, которую читал. А Лариса Михайловна, увидев его, спросила с явным раздражением: зачем пожаловал?

— Хотел узнать, как вы живете, и засвидетельствовать свое почтение...

— Напрасно беспокоились!.. И вообще я посоветовала бы вам забыть наш адрес.

Юлий Борисович не верил своим ушам; это говорила та самая жен-

щина, которая год назад устраивала дикие сцены ревности и плакала на его груди. Нет, с миром решительно что-то случилось!..

Иногда он вспоминал о Бороде, но прежде чем являться к нему, нужно было легализоваться, как разумно советовал Шагов. Юлий Борисович начал было отчаиваться, но помог случай.

Как-то в ресторане «Арагви» он встретил бывшего артельщика, тоже причастного к сделке с шерстяными отходами и чудом избежавшего суда. Узнав о бедственном положении Юлия Борисовича, он обещал помочь и сдержал слово: позвонил на следующий день и дал адрес трикотажной фабрики, где работал его знакомый. И Юлий Борисович тотчас же поехал на эту фабрику к главному инженеру Голованову.

Фабрика оказалась обыкновенной кустарной мастерской с допотопным оборудованием, но имела все признаки большого предприятия: проходную будку с вахтером, одетым в полувоенную форму, окошечко с табличкой — «Бюро пропусков», контору, где по сторонам неширокого коридора с крашеным скрипучим полом теснились многочисленные кабинеты начальства.

Юлий Борисович вошел в маленький кабинет главного инженера. Узнав, от кого посетитель, Голованов пригласил Юлия Борисовича сесть, внимательно ознакомился с его документами.

— Очень хорошо, — изрек он наконец. — Хочу вас предупредить заранее — оборудование у нас изношенное, разнотипное. Нам нужен механик опытный, не гнушающийся черной работой. К сожалению, платить много не сможем, по штатному расписанию механику полагается у нас девяносто рублей в месяц, иногда бывает прогрессивка...

Юлий Борисович сокрушенно вздохнул, но на Голованова это не произвело впечатления.

Так честолюбивый инженер Юлий Борисович Никонов стал главным механиком бывшей кустарной артели. Работа была не пыльной. Дисциплины никакой — приходи на работу и уходи когда хочешь. Слесаря-ремонтники оказались знающими свое дело людьми. Им давали прилично зарабатывать, и потому они старались выжать из старого оборудования все, что только можно.

Юлий Борисович догадывался, что руководители фабрики совершали какие-то комбинации, но какие, он не знал да и не старался узнать: раз его не вовлекали в эти дела, значит, не доверяли.

При небольшом окладе сбережения его быстро таяли и, взвесив все свои обстоятельства, он решил в ближайшие дни съездить в Красково к всемогущему Бороде.

В субботу после работы, не заезжая домой, Юлий Борисович поехал в Красково. Сидя в электричке, он внушал себе, что посещение Бороды ни к чему его не обязывает: приедет, познакомится, послушает, что скажет этот маг-чародей, и все. Никаких обещаний и сделок — до тех пор, пока не убедится в абсолютной безопасности предприятия, если таковое будет предложено. Он — стреляный воробей, его на мякине не проведешь!..

Сойдя на платформу дачного поселка, он легко нашел Красноармейскую улицу, никого не спрашивая. Дом номер семнадцать на этой улице ничем не отличался от большинства других дач — высокий забор, сад и в нем деревянный домик.

На звонок калитку открыла седая, опрятно одетая старуха.

— Вам кого? — спросила она, преграждая незнакомцу путь в сад.

— Я к Соломону Моисеевичу! — бодро ответил Юлий Борисович.

— А по какому делу?

— Привез привет от одного его близкого друга.

— Минуточку. — Старуха бесцеремонно закрыла калитку перед самым его носом и велела подождать. Скоро она вернулась и пригласила Юлия Борисовича в дом.

В большой комнате, обставленной старинной мебелью, его встретил худой, невысокий старик с окладистой бородой. Одет он был скромно — черный костюм из дешевого полшерстяного материала, старомодная трикотажная сорочка в полоску, домашние тапочки.

— Я привез вам привет от Аркадия Семеновича, — сказал Юлий Борисович с подчеркнутым уважением. — Судьба свела нас вместе в отдаленных местах, и если бы не он, то вряд ли я сегодня стоял бы перед вами.

— Юлий Борисович Никонов, если не ошибаюсь? — голос у Бороды оказался мягким, певучим.

— Совершенно верно!

Заметив удивление на лице Юлия Борисовича, Борода улыбнулся и объяснил:

— Я давно жду вас. Садитесь, пожалуйста. Аркадий известил меня о вашем возможном посещении. — Борода устроился в кресле, а гостя посадил на диван. — Очень приятно, что вы не забываете добро. Это характеризует вас с самой лучшей стороны... Рассказывайте, как вы устроились, как живете?

— Хвастаться особенно нечем... Работаю механиком на трикотажной фабрике за девяносто рублей в месяц.

— Какая это фабрика?

— Числится под номером восемнадцать, в Черкизове.

— А, там главный инженер Голованов?

— Совершенно верно. Вы его знаете?

— Так, немножко. — Борода улыбнулся. — Я хотел было спросить вас кое о чем, но надобность в этом отпала — мне рассказали о вас...

— Кто же мог рассказать? — Юлий Борисович пожал плечами.

— Свет не без добрых людей, — уклончиво ответил Борода и, чтобы переменить тему разговора, спросил: — Вы обедали?

— Не обедал, но не голоден. Я закусил по дороге.

— Софья Григорьевна, — позвал Борода. — Не пора ли нам победать? Кстате, и наш гость покушает с нами, — добавил он, когда старуха появилась у дверей.

Обед был скромный: щи, котлеты и вместо третьего — чай.

— Вы уж извините, живем мы скромно, — сказал Борода. — Вино бывает у нас только по большим праздникам, да и пить некому.

За обедом завязался оживленный разговор, и между прочим Борода поинтересовался, не делал ли Голованов попытку привлечь Юлия Борисовича к делу.

— Впрочем, они мелко плавают и доходы у них мизерные, — добавил он.

— Признаться, я стараюсь держаться в стороне и не вникать в их дела, — сказал Юлий Борисович.

После обеда хозяин повел гостя в сад, показал фруктовые деревья, небольшой, но тщательно обработанный огород, множество цветов перед террасой и вдоль дорожек.

— Люблю копаться в земле — лучший вид отдыха! И, если хотите, эликсир долголетия. Как вы думаете — сколько мне лет?

Юлий Борисович внимательно посмотрел на сухопарую фигуру старика, на его свежее краснощекое лицо без единой морщинки, живые черные глаза и сказал наугад:

— Я бы дал вам лет пятьдесят пять, не больше.

Тот рассмеялся.

— Хорошо бы так!.. К сожалению, давно перевалило за семьдесят.

Юлий Борисович стал прощаться, но Борода удержал его:

— Подождите минуточку. Как у вас сейчас с деньгами?

— Не блестяще...

— Я могу одолжить вам немного денег. Вернете потом, когда не будете стеснены в средствах.

— Спасибо, мне неудобно...— Юлий Борисович был смущен предложением Бороды.

— Всегда следует помогать ближнему, иначе добро не зачтется!— Борода пошел в дом и, вернувшись минут через десять, протянул Юлию Борисовичу маленький сверток.— Тут тысяча рублей,— сказал он и проводил гостя до калитки.

— Право, не знаю, как вас благодарить! — Юлий Борисович с чувством пожал худую, но крепкую руку старика.

— Не стоит благодарности! На той неделе загляните — может быть, придумаем для вас что-нибудь! — И Борода закрыл за ним калитку.

Среди ночи Юлий Борисович проснулся, словно кто-то толкнул его в бок, и сразу вспомнил о Бороде, о тысяче рублей. «Приманка, а может быть, и ловушка»,— мелькнуло в голове, и от одной этой мысли ему стало жарко и сон окончательно пропал. В этот поздний час в доме было тихо. Он встал, прошелся по комнате, выпил стакан боржоми и подошел к открытому окну. Лунная, светлая ночь. Все дышало миром и покоем, не было покоя только на душе у Юлия Борисовича. Борода с его деньгами не выходил из головы. «Ерунда, какая может быть ловушка? Я ему расписку в получении денег не давал? Не давал,— успокаивал он себя.— Если Борода предложит что-либо неприемлемое для меня, откажусь, и делу конец! Никто не может заставить меня делать то, чего я не хочу. А если возникнет вопрос, зачем посетил некоего гражданина Казарновского, по прозвищу Борода, ответ будет простой и правдивый: сидел в лагере с одним человеком, он попросил побывать у старика, передать ему привет. Этика, знаете, лагерная, в такого рода просьбах отказать нельзя»...

Юлий Борисович лег в постель, закрыл глаза, но сон не шел к нему. «Тысяча рублей — порядочные деньги: мой годовой заработок! Никто беспричинно не станет швыряться такой суммой. Тут что-то не так...» Утром он встал с головной болью.

Юлий Борисович не поехал к Бороде на следующей неделе: решил подальше держаться от этих людей. Но — как жить? Вопрос этот возникал все чаще, по мере того как таяли деньги. А таяли они быстро.

На беду он познакомился с очень милой, образованной девушкой по имени Мурочка и почти влюбился в нее. С нею было приятнее, веселее, чем с другими. Но Мурочка оказалась требовательной и расточительной. Она любила рестораны, танцы, часто устраивала веселые вечеринки. Все это стоило немалых денег. И наконец, скрепя сердце, Юлий Борисович снова отправился в Красково.

Борода встретил его радушно, как старого знакомого. Даже не интересовался причиной долгого отсутствия.

— Все собирался к вам, но никак не мог вырваться — то одно, то другое...— начал было Юлий Борисович, когда они устроились в саду на скамейке. Однако Борода не обратил на его слова никакого внимания. Весь его вид — улыбающееся лицо, прищуренные глаза с хитрецей — как бы говорил: «Рассказывай, рассказывай, я-то знаю настоящую причину. Все это время ты боролся сам с собой». Заметив это, Никонов осекся и замолчал.

— Вы друг моего друга, следовательно — мой друг. Вы можете приходить ко мне, когда только вам вздумается,— сказал Борода.

— К сожалению, не скоро вернется наш общий друг! — Юлий Борисович вздохнул.— Как было бы хорошо увидеть его здесь!

— Да, не скоро, если, конечно, не освободят его досрочно, как вас...

— Обязательно освободят! Вы бы видели, каким уважением пользуется там Аркадий Семенович,

— Дай бог!.. Мне очень не хватает его... Ладно, оставим его в покое. Рассказывайте лучше, что нового у вас?

— Ничего... Тяну ляжку по-прежнему...

— Я кое-что придумал для вас. Если хотите, можете заняться.

— Чем именно... заняться?

— На первых порах хоть и небольшим, но доходным делом... Ваша фабрика выпускает пуховые и полупуховые платки, не так ли?

— Выпускает.

— Есть у меня один знакомый директор магазина в Пассаже — он торгует вашими платками. Вы будете снабжать его незаполненными ярлыками, и на этом ваши функции кончатся.

— Вы отлично знаете, что к производству платков я не имею никакого отношения... И потом — где я возьму незаполненные ярлыки?

— Платками займутся без вас... Что касается ярлыков, то, по моим сведениям, они лежат у вас в открытых ящиках. Главному механику по должности положено оставаться на фабрике после работы и руководить ремонтными делами. Разумеется, ярлыки легко достать и без вас. Но, спрашивается, зачем привлекать к этому золотому делу еще кого-то? А дело стоящее. За каждый платок, проданный в этом магазине, вы будете иметь один рубль. Если учесть, что магазин получает от вашей фабрики от пятисот до шестисот платков в месяц, то не трудно подсчитать, сколько придется на вашу долю. Я понимаю: шестьсот рублей — небольшие деньги, но для начала неплохо, как вы думаете?

— Неплохо, конечно, — ответил Юлий Борисович и задумался. — А как передавать ярлыки и получать деньги?

— Ярлыки вы лично передадите директору магазина в собственные руки, а деньги будете получать у меня в конце каждого месяца. Такой вариант вас устроит?

— Вроде все ясно... Меня беспокоит только одно — как бы не попасться с этими проклятыми ярлыками. В случае чего, не скажешь ведь, что взял их для коллекционирования!

— Не надо попадаться. А что — вы знаете способ делать деньги без всякого риска? Если знаете, поделитесь со мной. Как говорит один мой хороший знакомый: без труда не вытащишь рыбку из пруда.

Юлий Борисович легко завладел целой пачкой ярлыков. Во время обеденного перерыва, когда в помещении, где производили браковку и маркировку готового товара, никого не было, он взял пачку ярлыков, завернул в газету, спрятал пачку в котельной и стал выжидать — обнаружат ли пропажу? Прошла неделя, а о ярлыках никаких разговоров не было. Успокоившись, он отнес ярлыки директору магазина.

В конце месяца Борода выдал Юлию Борисовичу пятьсот рублей, сказав при этом, что удержал сто рублей в счет его долга. Юлий Борисович был доволен: он одним махом доставил две тысячи пятьсот ярлыков. Этого количества хватит месяцев на пять — ему оставалось только получать деньги. Такой удачи он не ожидал.

Дела его поправились настолько, что он полностью расплатился с Бородой, купил полдюжины нейлоновых сорочек, сшил новый костюм, приобрел две пары модных остроносых ботинок. И у него еще осталась значительная сумма.

Мурочка непрестанно и с восторгом рассказывала о необыкновенно красивой переводчице, недавно поступившей к ним в институт.

— Я не мужчина и то влюбилась! Что за женщина, бог ты мой, бывают же такие! Красивая, умная, а как языки знает — передать нельзя!

— В жизни не встречал необыкновенных женщин и до сих пор не верил в их существование, сейчас тоже сомневаюсь. Познакомь, пожалуйста, посмотрим, что за чудо это твоя новая знакомая, — усмехаясь, попросил Юлий Борисович.

— Познакомлю хоть завтра, я не такая эгоистка, как ты думаешь, и ни капельки не ревную,— ответила Мурочка. И она познакомила Юлия Борисовича с Музой Васильевной Горностаевой, и он настолько увлекся прекрасной переводчицей, что готов был жениться на ней, хотя и презирал семейную жизнь. Единственно, что омрачало его настроение, это холодность, отчужденность Музы. Но приписав это очередной женской уловке, он успокоил себя и продолжал ухаживать за ней.

Однажды, вручая Юлию Борисовичу очередную выручку, Борода спросил:

— Скажите, Юлий Борисович, где вы храните свои деньги?

— У меня их не так много, чтобы ломать над этим голову... Часть денег ношу с собой, часть прячу в ящике письменного стола.

— Не годится,— изрек Борода.— Глупо в наше время жить поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Место, куда прятать деньги, нужно подготовить заранее. Но сперва нужно определить, что следует прятать?

— Не понял, что вы хотите сказать?

— Если что и следует копить, то только золото или валюту.

— А где их взять?

— Если хотите, я вам скажу,— ответил Борода.— К нам ежегодно приезжают сотни тысяч иностранцев — туристов. Среди них много деловых людей. Подумайте сами — какой им смысл менять валюту по официальному курсу, когда за нее в другом месте можно получить гораздо больше советских денег.

— Но это опасно!..

— Если взяться за дело умеючи, то никакой опасности нет. Короче,— хотите испробовать свои силы на новом поприще? — Борода устремил на него черные, как маслины, пронзительные глаза.

— Отчего нет, если дело сулит хороший заработок...

— Сулит, и немалый. Возьмите отпуск за свой счет дней на десять и поезжайте во Львов. Там купите кое-что...

Через несколько дней Борода снабдил Юлия Борисовича командировочным удостоверением и чемоданом с двойным дном, уложил туда десять тысяч рублей крупными купюрами, дал адрес, где он должен был остановиться, назвал людей, с которыми следовало связаться во Львове.

— Люди эти абсолютно надежные. Но дельцы — им палец в рот не клади, откусят. Запомните: последняя цена десятирублевой золотой монеты — семьдесят-восемьдесят рублей. За один американский доллар — рубль три, не больше, иначе даже расходы на дорогу не оправдаете. Канадские доллары не берите.

— Скажите,— Юлий Борисович замаялся,— что будет, если... ну, если я попадусь?

— Зачем говорить такие неприятные слова! Если на худой конец чекисты проследят, что абсолютно исключается, вам следует избавиться от чемодана, и больше ничего. Без вещественного доказательства ни один суд не может осудить вас. Слава богу, мы живем в цивилизованном обществе, где соблюдаются законы!

Юлий Борисович взял чемодан и попрощался со стариком.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В бессонные ночи Власов обдумывал широкие планы действия. Из хаоса, реального и фантастического, постепенно выкристаллизовалось одно: он отправляется в Госкомитет торговли, добывается приема у председателя или его первого заместителя, показывает альбом с образцами новых тканей, демонстрирует готовые изделия из них. Пона-

чалу сделает вид, что ему ничего не надо: пришел, мол, так, показать образцы новых тканей, которые начал вырабатывать Московский камвольный комбинат. Пусть полюбуются. Спросят: много ли вырабатывается таких тканей, а он скромно ответит, что выработано порядочно. Можно бы и еще больше, но отпустить торгующим организациям не можем из-за отсутствия утвержденных цен. Уже более трех месяцев тянется волокита, а конца не видно...

Выслушав все это, председатель, или его заместитель, возмутится, воскликнет: «Что за чертовщина! Когда же придет конец такому бюрократизму — люди выработали ходкие ткани, подходящие к сезону, но отгружать не могут из-за отсутствия цен. Так и мода пройдет на них, уменьшится спрос... Немедленно утвердить цену!..»

Примерно в таких радужных красках рисовались Власову возможные решения мучавших его вопросов. Но так было по ночам. Днем становилось совершенно очевидно, что ночные видения никакого отношения к реальному положению вещей не имеют.

На следующий день после осмотра готовых изделий Власов позвонил секретарю райкома Сизову, втайне надеясь, что получит дельный совет.

Так и случилось.

— Удивляюсь вам, Алексей Федорович,— сказал Сизов.— Такой серьезный человек и вдруг занялись строительством воздушных замков. Пройдет неделя, если не больше, прежде чем вы добьетесь приема у председателя комитета. И еще вопрос: добьетесь ли вообще? Да и захотят ли они принять срочные меры по такому, по их масштабам, пустяковому поводу? Подумаешь, дело какое — какому-то комбинату задержали утверждение цен!..

— Что же делать, что же делать? — чуть не закричал в телефонную трубку Власов.

— Нельзя ли мне взглянуть на эти изделия? — спросил Сизов.

— Пожалуйста! Скажите, когда удобно,— и я привезу их к вам в райком.

— Зачем в райком? Я сам к вам приеду.

— Когда?

— Да хоть сейчас. Вы не заняты?

— Нет. Я вас жду! — поторопился с ответом Власов.

Приехав на комбинат, Сизов придирчиво рассматривал костюмы, хвалил их, потом спросил:

— А цены?

— Какие цены? — удивился Власов.

— Этих со вкусом сшитых костюмов. Сколько заплатит, скажем, модница с кондитерской фабрики «Рот-фронт» за это элегантное пальто или инженер радиозавода за костюм?

— Не скажу. Знаю стоимость метра каждого образца, а вот сколько будет стоить пальто или костюм...— Власов развел руками.— До этого мы не додумались,— признался он.

— Но ведь люди не ткани ваши будут носить... Дайте задание срочно выяснить и ждите моего звонка. Я посоветуюсь с секретарями горродского комитета партии и скажу вам результаты.

Не прошло и двух часов, как позвонил Сизов и сообщил, что секретари горкома согласились посмотреть новые ткани комбината и готовые изделия из них. Власову нужно срочно связаться по телефону с управляющим делами горкома, договориться с ним и, не теряя времени, заняться организацией выставки новых тканей в зале заседаний бюро.

— Учтите, помещение там небольшое. В вашем распоряжении полтора дня, успеете? — спросил Сизов.

— Надо успеть! — Власов был взволнован. Он знал, что Сизов человек слова, но такой оперативности не ожидал даже от него.

Человек ровный в обращении, доброжелательный к людям, Сизов не скрывал от себя, что питает особую симпатию к директору камвольного комбината Власову. Ему был по душе этот широкий, увлекающийся человек. Даже когда поиски заводили Власова в сторону от практических нужд, Сизов понимал, что беспокойный директор руководствовался благородным стремлением сделать как можно лучше. Такова уж натура этого человека. И, оглядываясь назад, Сизов не жалел, что в свое время, в трудную для Власова минуту, вступился за него и добился восстановления его на работе. А ведь тогда нелегко было отстаивать работника, проявившего слишком большую самостоятельность!..

За минувшие годы Власов сделал много полезного. Коллектив комбината во главе со своим неуживчивым директором показал образцы трудового подвига, без больших затрат удвоил выпуск продукции, а если говорить правду, то по существу был создан второй комбинат.

Сейчас Власов тоже поднимает чрезвычайной важности вопрос — об ассортименте и качестве выпускаемой комбинатом продукции. Впрочем, это касается не только камвольного комбината, но и всей промышленности в целом — конечно, в первую очередь, промышленности, выпускающей ширпотреб. Разумеется, вопрос очень сложный, как говорится: ноги вытянешь — голова увянет, голову вытянешь — ноги увянут. Однако решать надо, иначе будет поздно.

Почему бы не поддерживать новую инициативу Власова? Трудно! Слов нет, очень трудно, но разве райком партии существует только для того, чтобы решать текущие дела? Почему не поднимать и большие, выходящие за рамки района, вопросы? А в том, что вопросы, поднимаемые Власовым, именно таковы, сомневаться не приходится...

Работа по устройству выставки закипела. Полетов поехал в горком уточнить размеры зала и прикинуть: можно ли разместить там хотя бы восемь стендов. Шустрицкий получил задание совместно с работниками ателье составить калькуляцию готовых изделий с учетом прибыли как для комбината, так и для швейников, установить, хотя бы приблизительно, цены на них. Художница Валентина Федоровна получила указание отобрать образцы для выставки. «Только из тех, что имеются в наличии на складе. А то мы все мастера блеснуть на выставках», — было сказано Власовым.

Остаток времени прошел в невероятной суете, но к сроку успели. На стендах висели новые ткани, на них были таблички с указанием состава волокон, себестоимости и примерной продажной цены.

В день осмотра, рано утром, Власов, Полетов, Валентина Федоровна, Шустрицкий и манекенщица Таня поехали на Старую площадь в горком партии. Поднялись на пятый этаж и, войдя в зал заседаний бюро, удивились: кроме образцов комбината, там были выставлены еще трикотажные изделия, сукно и драпы.

— Значит, предстоит осмотр не только наших тканей, — заметил Власов своим спутникам с тревогой в голосе, не зная, к лучшему это или нет.

Ровно в одиннадцать часов открылись боковые двери и в зал заседаний вошли руководители городского комитета партии во главе с первым секретарем. С ними были также представители совнархоза, Московского совета, заместитель председателя Госкомитета по торговле республики, начальники текстильного и трикотажного управлений.

Пригласили в зал и руководителей предприятий, продукция которых была выставлена.

Позже всех пришел ответственный работник Госплана Союза. Он скромно сел в стороне.

Всем было ясно: в городском комитете придадут серьезное значение совещанию — иначе не оторвали бы от дела столько людей.

Когда председательствующий, первый секретарь горкома, предоставил слово Власову, тот, хотя и подготовился к выступлению, очень волновался.

— Причин нашей плохой работы немало, и определить их, а тем более устранить сразу невозможно,— сказал он.— Но все же на некоторых из них наиболее, на мой взгляд, важных, я остановлюсь. Основная и главная причина заключается в той мелочной опеке, которой мы окружены. Государство доверило нам на миллионы материальных ценностей, и в то же время мы лишены элементарных прав использовать их целесообразно. За нас постоянно кто-то думает, преподносит готовые рецепты, как нам работать...

Горячо, убедительно говорил он о том, что подлинного хозрасчета нет — забыли о рубле, о денежном нашем знаке. Никто не интересуется, сколько предприятие дает прибыли по отношению к основным средствам: такой графы нет в отчетности. Прибылью интересуются только работники финорганов, а как и из чего она образуется — финансисты тоже не знают и знать не хотят. Преданы забвению и вопросы банковского кредита. Почему, например, вместо капитальных вложений из государственного бюджета банку не открывать кредит предприятиям на расширение производства? Кредит, обусловленный определенным сроком и, разумеется, с минимальным процентом. Почему не оставляют предприятию некоторую сумму из плановых и сверхплановых прибылей? На эти деньги можно было бы расширять производство, строить жилье и культурно-бытовые учреждения, поощрять людей...

— Разве сейчас нет у вас фонда? — спросил секретарь горкома, ведущий промышленностью.

— Есть,— ответил Власов.— Но, во-первых, он невелик, а главное — этот фонд только формально наш — он тоже разложен по полочкам — сколько куда.— Он посмотрел на Сизова и, поймав его одобряющий взгляд, продолжал: — Почему не ограничиться выделением фондов зарплаты по категориям трудящихся? Зачем регистрировать каждую единицу в финорганах? При таком положении зарплата работнику определяется навсегда, независимо от того, как он работает. И, наконец, почему не утверждать цены на новую продукцию оперативно, ну, скажем, в течение десяти дней, и создать такие условия, чтобы предприятия были заинтересованы в выработке новой продукции? Вот мы по собственной инициативе начали выпускать новые ткани, которые вам покажем сегодня. Начали и погорели...

— Каким образом? — спросил кто-то из президиума.

— Потому погорели, что вот уже более трех месяцев обиваем пороги различных учреждений и организаций, но добиться утверждения цен не можем. Всем нравятся наши новые ткани, все хвалят их, но цену не утверждают!

— В чем дело, почему так получается? — первый секретарь обратился к представителю Моссовета.

— Длинная история,— уклончиво отозвался тот.— Когда-то была дана команда не торопиться с утверждением цен на новую продукцию... Эта мера хотя и устарела и сегодня приносит только вред, но до сих пор никто команды не отменил...

— Интересно,— спросил первый секретарь,— чем руководствовались деятели, давшие такую странную, если не сказать больше, команду?

Представитель Моссовета пожал плечами и ничего не ответил. Тогда секретарь обратился к присутствующим:

— Может быть, вы понимаете, в чем тут дело, товарищи?

— Чтобы директора фабрик особенно не мудрили! — ответил после небольшой паузы начальник текстильного управления горсовнархоза Боков.

В зале засмеялись.

— Вернее всего, рублем мало интересовались! — вмешался Власов. — А еще из-за боязни. Проявит хозяйственник инициативу, выпустит товар без указки сверху, пройдет безнаказанно, глядишь, вообразит себя самостоятельным и начнет...

— Ну да, по логике — как бы чего не вышло! — сказал первый секретарь.

— Мне осталось сказать еще несколько слов, — продолжал Власов. — Не имея цены на новую продукцию, мы затоварились...

— Нельзя было выпускать продукцию до получения цен! — подал реплику Боков.

— Вот видите, мой начальник уже сердится!.. Я вам говорил, Николай Иванович, — зная, что цены не скоро получим, мы хотели поставить вас и других перед свершившимся фактом. Банк закрыл наш текущий счет, мы не можем платить поставщикам. Мы немало потеряли на производительности труда и оборудования, потому что новый товар более трудоемкий. Комбинат с трудом выполнил план по валовке, потому что новый товар дешевле. В результате — третий месяц не получаем прогрессивку и комбинат не участвует в социалистическом соревновании. Вот коротко о результатах выработки новой продукции. А теперь разрешите показать наши новые ткани и готовые изделия из них. Если они вам нравятся, то помогите установить цены, иначе комбинат остановится!

Присутствующие толпились у стендов, где Валентина Федоровна давала характеристику каждому образцу. По лицам было видно, что новые ткани нравятся всем.

— Честно говоря, — сказал второй секретарь горкома, — каждый из нас с удовольствием сшил бы себе костюм из этих тканей! Молодцы, хорошо поработали — красиво и дешево!

Власов предложил посмотреть готовые изделия. По его знаку в зал вошла Таня в новом костюме. Она была молода, красива, светлый костюм сидел на ней особенно изящно. Потом она продемонстрировала пальто. Ей аплодировали. Впрочем, неизвестно было, чему аплодировали — то ли молодости и красоте девушки, то ли пальто из новой ткани?..

Мужской костюм продемонстрировал Сергей Полетов. Накануне Власов долго и проникновенно убеждал упрямого секретаря парторганизации, что это никак не уронит его достоинства.

При появлении Сергея первый секретарь горкома громко, чтобы услышали все, сказал:

— Хорошо, когда руководитель партийной организации принимает непосредственное участие в хозяйственных делах своего предприятия!

Смущенный Сергей неловко повернулся раз, другой, чтобы все могли разглядеть костюм, и торопливо вышел.

— Ну как, нравятся вам новые ткани московского комбината и готовые изделия? — обратился первый секретарь к заместителю председателя Госкомитета торговли.

— Очень нравятся! Это то, что нужно сегодня.

— Какое же количество возьмете?

— Сколько угодно, без всякого ограничения! — был ответ.

Осмотр новых трикотажных изделий проходил гладко, но вдруг коммерческий директор ЦУМа задал директору фабрики, пожилой женщине, коварный вопрос:

— А много уже выработали такого товара?

— Нисколько! — ответила та. — Это же образцы!

— Вот именно что образцы! Мы их видели бесконечное число раз на выставках. Нам нужен товар для продажи, понимаете, а не образцы!

— Что вы, разве без санкции вышестоящих организаций и без утверждения цен можно выпускать товар? — ответила она. — Этак вконец разориться можно!.. Вы же слышали только что, в каком положении оказался огромный комбинат...

Неожиданный оборот принял осмотр суконных товаров и драпа. Директор суконной фабрики сам взялся давать объяснения, показывая образцы.

— Скажите, чем же отличаются эти товары от тех, которые выпускала ваша фабрика до сих пор? — спросил секретарь, ведающий промышленностью, перебивая объяснения директора.

— Как чем? — удивился тот. — Раньше мы выпускали сукна на семьдесят, а то и на все восемьдесят процентов черного цвета, сейчас же выпускаем большое количество темно-синего, коричневого... Может быть, скоро выпустим и серые, если будут красители. Два артикула драпа начали выпускать с шерстяной подкладкой. Вот они...

— И это все?

— Что же еще? Мы же суконщики, а не трикотажники. Там просто — переменял фасон или пропустил цветную нитку, готов новый образец. У нас сложно, — обиделся директор.

— Послушайте, товарищ Архипов, из такого сукна и драпа шили себе шубы еще наши прадеды. Неужели вы не понимаете, что сейчас этот товар, весом в килограмм метр, никто покупать не станет?..

— Зато наш товар очень ноский: сошьет человек из него пальто или шубу, будет носить годами, а когда надоест, сыновьям своим перешьет! — не сдавался Архипов.

— Все ясно, вам бы жить этак лет на пятьдесят — семьдесят раньше, товарищ директор, и выпускать сукно для купцов-охотнорядцев, они любили добротный товар, так сказать, на всю жизнь, — укорил Архипова первый секретарь.

Он встал, поблагодарил собравшихся и, закрывая совещание, сказал:

— Мы в городском комитете партии обсудим выдвинутые некоторыми товарищами вопросы и постараемся сделать нужные выводы.

Власов стоял растерянный: он надеялся, что прямо здесь, на совещании, наконец-то решится вопрос об утверждении цен на новые ткани, представленные комбинатом. Что же получается? Как говорится, с чем пришел, с тем и ушел...

— Товарищ Власов, кажется? — неожиданно услышал он. — Вас просит первый секретарь.

В кабинете, за длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели секретарь горкома, заместитель председателя Госкомитета по торговле, представители Госплана, Моссовета и Сизов.

— Садитесь! — первый секретарь показал рукой на свободный стул. — Алексей Федорович, вы сегодня подняли важные вопросы, касающиеся не только вашего комбината, но и всей промышленности. Проблемами лучшей работы промышленности, ее целесообразной и более гибкой структурой интересуются в Центральном Комитете партии. Наша с вами задача — помочь Центральному Комитету полнее узнать положение на местах. Было бы хорошо, если бы вы до конца продумали поднятые вами вопросы, подкрепили бы их фактами, цифрами. Я уверен, что в скором времени весь этот материал понадобится, и мы должны быть готовыми.

— С удовольствием! Я готов немедленно заняться этим, но, к сожалению... — начал было Власов, однако секретарь не дал ему договорить.

— Понимаю, над вами висит угроза финансового банкротства и вы ни о чем другом не можете думать, пока не утвердят цены на товар, выпущенный вами без санкции высокого начальства. Не так ли?

— Совершенно верно,— сказал Власов. На душе у него стало легче: здесь все понимают, а раз понимают, то и помогут.

— Заместитель председателя Госкомитета по торговле товарищ Титов и ответственный секретарь Моссовета обещали, что в двухдневный срок цены на ваши новые ткани будут утверждены,— сказал первый секретарь.— В случае осязки свяжитесь с товарищем Титовым или со мной... Но, конечно, выпуск легких, дешевых по цене тканей испортит показатели комбината, это ясно. Надеяться же на то, что в середине года кто-то скорректирует ваш план, не приходится. Да и мы тоже против чехарды с планами, хотя и понимаем, что пока над предприятиями висит дамоклов меч в виде вала, рассчитывать на изменение ассортимента выпускаемой продукции в лучшую сторону нельзя. Тут уж ничего не поделаешь!..

— Я понимаю... И если позволите, еще одно!— Власов решил до конца использовать беседу с секретарем горкома.— Есть решение, по которому нельзя расширять московские предприятия. А если этого требуют условия производства? На нашем комбинате легко воздвигнуть новостройку в два этажа между двумя корпусами, причем без больших затрат. Это дало бы нам возможность расширить подготовительные цехи и увеличить выпуск суровья. Чтобы вырабатывать такое количество шерстяных тканей в другом месте, нужно строить целую фабрику стоимостью в несколько миллионов рублей, нам же потребуется всего сто — сто двадцать тысяч на строительство и оборудование. Вот вам и резервы! Но как их использовать, если наши руки связаны? Я против всякой анархии, но в пределах разумного нам должны быть предоставлены права!

— Об этом как раз и идет речь, чтобы перевести всю нашу экономику на хозрасчет и дать простор инициативе местных руководителей,— ответил первый секретарь.— Что же касается строительства двух этажей между корпусами, напишите обоснованное письмо в Моссовет. Думаю, что для вашего комбината сделают исключение.

Власов спустился в вестибюль и там застал работников комбината с картонными коробками в руках.

— Ну как, товарищ директор, вы довольны итогами совещания? — спросил Шустрицкий.

— Еще бы! Разговор был деловой, конкретный. Если бы всегда так!

— А цены?

— Обещали утвердить в течение нескольких дней,— ответил Власов.

Он был в отличном настроении — наконец-то лед тронулся!..

Были у него и другие основания для хорошего настроения: усилиями Анны Дмитриевны, при активной помощи Никитина, наконец-то налаживалось дело с крашением пряжи и суровья из синтетических волокон.

Получив постоянный пропуск, Анна Дмитриевна бывала на комбинате регулярно через день после работы в институте и задерживалась там до поздней ночи.

Опыты проводились в кабинете мастера Степанова. Этот кабинет со множеством щитов на стенах, приборов, механических регистраторов, специальных часов и сигнальных лампочек теперь скорее походил на центральный пульт диспетчерской электростанции, чем на кабинет красивого мастера.

В красилке были внедрены новейшие достижения автоматики. Суровье красилось в двадцати четырех закрытых барках из нержавеющей стали — изобретение Сергея Полетова еще в те времена, когда он работал помощником красивого мастера и учился на четвертом курсе текстильного техникума.

Терморегуляторы сами соблюдали температурный режим в барках, а специальные часы механически отключали моторы по истечении срока крашения. Мощные вентиляторы вытягивали влажный воздух и нагнетали свежий. По чугунным плитам, положенным по всему цеху, плавно

катились нагруженные доверху тележки на резиновом ходу. И все же красилка оставалась красилкой — там всегда было душно. Воздух был влажный, а запахи химикатов и уксусной кислоты ударяли в нос.

Удивительное дело — опыты Анны Дмитриевны отлично удавались в колбах, но стоило перенести их на барки, с той же рецептурой и температурным режимом, как получался сплошной брак.

Мастер Степанов чертыхался, ругал последними словами химиков. Анна Дмитриевна хладнокровно, с завидным упорством повторяла опыты. Меняла температурный режим, увеличивала и улучшала дозу компонентов — и все напрасно. В больших количествах синтетика не окрашивалась.

Испробовав все возможные варианты, Анна Дмитриевна убедилась, что ей одной, без квалифицированной консультации, не удастся решить задачу, и однажды за ужином заговорила об этом с мужем.

— Задача, Алексей, оказалась сложнее, чем я думала, — сказала она.

— О чем ты?

— Все о том же — о крашении синтетических волокон. Видно, без квалифицированной консультации не обойтись.

— Ну так что же? Кто тебе мешает приглашать хоть академиков? Нужно будет платить — заплатим. Для такого дела денег не жаль, лишь бы ликвидировать брак. Мне тошно смотреть на эту черноту...

— Хорошо бы привлечь Николая Николаевича Никитина. Только не знаю, удобно ли, — он ведь ушел с комбината обиженный. К тому же, Никитин уже доктор наук и, возможно, сочтет ниже своего достоинства заниматься такой мелочью, как крашение новых волокон.

— Ерунда! Он не такой человек, чтобы загордиться, я его хорошо знаю. Потом он ушел с комбината, когда меня сняли с работы, — на меня он не обижался.

— Может, ты позвонишь ему?

— А почему не ты, Ачнушка?

— Мне как-то неудобно...

— А... а, понимаю! Он ведь был влюблен в тебя. Боишься разбудить в нем старые чувства?

— Не говори глупости... Я уже старенькая...

Власов погладил жену по голове.

— Знаешь, я часто думаю, что седина очень пойдет к тебе...

Анна Дмитриевна, улыбаясь, отвела его руку.

— Ну так как же, позвонишь Никитину?

— Непременно. Приглашу его от твоего имени, тогда он наверняка не откажется!

— Можно и так, если ты не надеешься на свой авторитет...

Как и нужно было ожидать, Никитин охотно принял приглашение и в тот же день вечером приехал на комбинат.

После совещания в городском комитете для комбината началась новая эра, словно кто-то взмахнул волшебной палочкой. Ровно через два дня позвонила Шустрицкому девушка из бюро цен при Моссовете и сердито спросила: почему комбинат до сих пор не присылает за выпиской из протокола об утверждении цен на новые ткани?

Шустрицкий извинился, но потом не удержался и добавил:

— Вообще-то, куда нам спешить? Ждали около четырех месяцев, подождем еще...

— Как хотите! — Девушка не была расположена шутить и повесила трубку.

Не успели зарегистрировать новые цены в горторготделе, как подкатили сразу три автомашины и за один день вывезли весь товар. Банк оплатил счета. Теперь на текущем счету комбината появилось более ста пяти тысяч рублей свободных денег.

Власов попросил главного бухгалтера Варочку оплатить долг поставщикам и перевести пятьдесят тысяч рублей текстильному управлению, добавив, что всякий долг платежом красен. Он тут же позвонил начальнику управления Бокову и сказал ему по телефону:

— Николай Иванович, долг свой возвращаем с большой благодарностью. Об одном прошу: передайте, пожалуйста, вашему финансисту, что мы никакие не партизаны, а самые что ни на есть мирные люди, болеющие за порученное нам дело.

— Что, обиду затаили? — мягко спросил Боков.

— Что вы, боже упаси! Разве на начальство обижаться можно? Вы же знаете отлично, что я воспитан в духе смирения и глубокого уважения к начальству.

— Раз вы шутите, значит, у вас отличное настроение, и я очень рад за вас!

А еще через три дня Власов получил решение торговой палаты о выделении в распоряжение директора комбината значительной суммы денег для поощрения работников за освоение и выпуск новых тканей.

Слух о совещании в городском комитете партии распространился по комбинату молниеносно — не без активной помощи Шустрицкого. Он останавливал цеховых работников и, держа за пуговицу пиджака инженера или мастера, рассказывал со всеми подробностями о совещании.

— Молодец-таки он, риск был большой, но пошел на это и победил!

— О ком вы, Наум Львович? — спрашивал его собеседник, делая наивное лицо.

— Вы еще спрашиваете? Конечно, об Алексее Федоровиче! Голова, я вам скажу!..

Сдержанный, менее всего восторженный бухгалтер Варочка зашел к Власову в кабинет, пожал ему руку и сказал:

— Я работал со многими директорами, но, поверьте, впервые понял, каким должен быть советский хозяин. Рад, что на старости лет мне довелось работать с таким человеком, как вы. Думаю, наш комбинат будет инициатором многих славных начинаний!

А красильный мастер Степанов ходил по цеху именинником. Потирая руки, он приговаривал:

— Знай наших! Мы не какие-то там суконщики, мы — камвольщики. Суконщику что? Завалил суровье и все грехи спрятал. У нас так не получается — все открыто, все на ладони. Слыхали, даже там, в Московском комитете, признали нас. А кто дал суровью такую красоту? Мы — отделочники. Без нас нет и не может быть никакого текстиля!..

Слова Варочки не выходили из головы Власова. «Комбинат наш будет инициатором больших начинаний». Легко сказать!.. А вот как добиться, чтобы комбинат действительно стал образцовым социалистическим предприятием?

Образцовое социалистическое предприятие... Еще никто толком не знает, что это такое... Власову не сиделось на месте, он встал и по привычке стал измерять шагами длину кабинета. Радужные надежды, заманчивые перспективы. Если бы... если бы только можно было осуществить их на деле!..

И тут вдруг позвонил Сизов. Сообщил: завтра в одиннадцать утра вызывают к секретарю Центрального Комитета директора комбината Власова, секретаря партийной организации комбината Полетова и секретаря райкома Сизова. По всей вероятности, там будет и кто-либо из секретарей городского комитета.

— Готовьтесь, Алексей Федорович — битва за новое начинается! — добавил Сизов.

Да, подготовиться нужно было основательно! Не каждый день вызывают директоров фабрик к секретарям Центрального Комитета.

Сергей разволновался, когда Власов сообщил ему по телефону о вызове в ЦК.

— Я думаю, не стоит пока широко оглашать это. Послушаем, что скажут, тогда и решим, как быть и что делать,— посоветовал Власов.

Он ушел пораньше домой, заперся у себя в комнате и до поздней ночи писал, делал какие-то подсчеты. Иногда звонил работникам комбината и подолгу советовался с ними. Матрена Дементьевна, видя озабоченное лицо сына, не стала надоедать ему и, только когда стенные часы пробили одиннадцать, позвала пить чай.

— Стряслось что? — спросила она, когда он сел за стол.

— Нет, но если случится то, о чем я думаю, будет замечательно!.. Вот когда мы покажем, на что способны,— ответил Власов больше своими мыслям, чем матери.

— Говоришь ты уж больно мудро, ничего-то я не поняла.

— Речь идет об установлении новых порядков в промышленности. Завтра нас вызывают...

— Опять перестройка?

— Может быть.

— Вы все меняете и меняете, когда наконец успокоитесь?

— Как же тут успокоиться? Ведь впервые и первые из людей социалистическую промышленность налаживаем! А ты — успокойтесь...

Секретарь Центрального Комитета принял их ровно в назначенное время и держался так просто, так приветливо, что сразу создалась обстановка непринужденной беседы. Власов подробно, не торопясь, рассказывал обо всем, что накопилось на душе, о чем думал годами.

— Вы хотите сказать: сокращу лишних работников, а оставшимся буду платить вне всякого тарифа, сколько каждый из них заслуживает. Так я вас понимаю? — спросил его секретарь ЦК.

— Совершенно верно поняли, именно это я и хотел сказать!.. Ведь это несколько не противоречит социалистическому принципу — каждому по способностям. На нашем комбинате сто сорок человек инженерно-технических работников. Разве нам нужно столько специалистов? Нет, вполне достаточно и сорока. Вы спросите: почему же держите их? Да потому, что не можем подобрать дельных, высококвалифицированных работников — цена-то им по тарифу всем одна, что хорошему, что плохому!

— Скажите, Алексей Федорович, вы не боитесь, что, нарушая принцип оплаты труда по тарифу, создадите в стране небывалую текучесть кадров? — снова спросил секретарь ЦК.

— Весьма возможно... Но это только на первых порах. Потом каждый найдет место по своим способностям, и это будет справедливо. Никому ведь не возбраняется пополнять свои знания, быть инициативным, стать нужным, а может быть, и незаменимым.

Секретарь ЦК задумался, потом спросил:

— Сколько получает у вас сейчас, ну, скажем, инженер, заведующий производством?

— Двести рублей.

— Сколько же вы стали бы ему платить при новом порядке?

— Рублей триста плюс прогрессивка и премия, когда она будет.

— И по-вашему, такое резкое увеличение зарплаты оправдывает себя?

— Видите ли, тут нужно оговориться: я не ставлю вопрос о поголовном увеличении заработной платы инженерно-техническим работникам и служащим. Но в тех случаях, когда это целесообразно, нужно платить больше — по способностям работника. Этим самым была бы ликвидирована обезличка, поднялась бы ответственность людей.

— Что думает по этому поводу руководитель партийной организации комбината? — обратился секретарь ЦК к Сергею.

— Я полностью согласен с Алексеем Федоровичем!.. У нас на комбинате триста сорок семь коммунистов — это же огромная сила! И у нас действительно есть возможность сделать наш комбинат образцовым предприятием.

— Значит, у вас полное единодушие, — улыбнулся секретарь ЦК. — Что ж, у меня следующие соображения: пусть товарищ Власов подаст нам докладную записку и подробно изложит все: как он мыслит работать по-новому и что для этого потребуется. Мы посоветуемся с членами президиума Центрального Комитета и, думаю, разрешим вам в порядке эксперимента организовать работу по принципиально новому методу. На вашем положительном опыте будут учиться другие — отсюда, учитите, и мера вашей ответственности. Договорились?

— Договорились! — поспешил ответить сияющий Власов.

Чтобы выполнить социалистическое обязательство и сдать транспортер новой конструкции к двадцатому августа, Леонид, главный механик и группа слесарей всю ночь колдовали возле него. К утру все было готово — агрегат длиной более шестисот метров работал безотказно.

— Опробуем еще раз и позвоним директору — пусть придет, примет транспортер на ходу! — Главный механик устало опустил на табуретку, вытер руки концами и с наслаждением затянулся дымом сигареты.

— Агрегат вполне готов. Но, если хотите, можно опробовать еще раз, — сказал ремонтник. — Как вы полагаете, Леонид Иванович?

— Чтобы не опозориться, — ответил Леонид, — будем действовать согласно поговорке: семь раз отмерь, один раз отрежь. Пускайте!

Убедившись, что транспортер работает нормально, главный механик позвонил Власову.

— Директор сказал, что сейчас придет со всеми участниками десяти-минутки... Ребята, — сказал главный механик слесарям, — побыстрее уберите мусор у мотора!

Минут через пятнадцать в цех пришли все командиры производства во главе с директором, секретарем партийной организации и председателем фабкома. Они ходили вокруг транспортера, щупали руками ленту, ролики.

Главный механик хотел было нажать на пусковую кнопку, но Власов остановил его:

— Постойте! Мне кажется, эту честь нужно предоставить Леониду Ивановичу — он автор проекта.

Леонид нажал пальцем на кнопку. Заработал электромотор, завертелись ролики, транспортер пришел в движение. Самопогрузчик легко подымал с тележек дюралюминиевые ящики, заполненные пряжей, и плавно опускал на широкую ленту. Лента с ящиками медленно двигалась, подавая пряжу в ткацкие залы второго, третьего и четвертого этажей.

Конструктор предусмотрел все мелочи. В нужном этаже открывались низенькие дверцы, механические руки толкали на тележки определенное количество ящиков, после чего дверцы закрывались и лента двигалась вверх, к следующему этажу.

— Молодцы, — сказал Власов, пройдясь по всей длине транспортера. — Леонид Иванович, светлая ты голова! Смотрите, как подогнал транспортер по лестничным клеткам, не мешая нормальному движению, — облегчил труд таскальщиков. — Он пожал руку Леониду. — Кроме авторского свидетельства, которое вы, без сомнения, получите, — еще премия в размере месячного оклада от нашего комбината. Вам тоже большое спасибо, славно поработали! — Власов пожал руку главному механику и слесарям.

Все это время, несмотря на успех, несмотря на лестные отзывы, Лео-

нид стоял мрачный, не проронил ни единого слова, даже не поблагодарил директора за премию. Виною тому была Муза. В тот день она рассердилась на него, повернулась, ушла. А он, вместо того чтобы побежать за нею, попросить прощения за свою нетактичность, встал в позу обиженного. И до сих пор не может заставить себя подойти к ней... В ее знакомстве с этим типом, Юлием Борисовичем, было для него что-то оскорбительное. Почему она так рассердилась при одном упоминании имени Никонова? Все это неспроста... Конечно, Леониду было приятно, что новый транспортер получился удачным и, как выразился Сергей, был началом больших дел, предстоящих комбинату. Но... если бы к этой радости еще кое-что!..

Днем ему позвонил Сергей и пригласил на заседание парткома, где должны были обсуждаться, по его словам, очень важные вопросы, связанные с перестройкой производства.

— Я же беспартийный,— ответил Леонид.

— Что ты говоришь? А я забыл!

— Нет, серьезно, Серега...

— Серьезно? Видишь ли, Леонида Косарева приглашают на заседание партийного комитета как беспартийного большевика и толкового конструктора, ему доверяют и возлагают на него определенные надежды, а он кокетничает. Если у тебя в голове вместо мозгов не каша...

— Думаю, что не каша, хотя давно не проверял.— Леонид помолчал.— Видимо, в таких случаях принято говорить слова благодарности, но я воздержусь... А приятный приду!

— Соблаговолишь, значит? Ну что же, спасибо и на этом.— Сергей положил трубку.

Леонид сидел некоторое время с трубкой в руке и смотрел в одну точку. «Что за чертов характер у меня»,— думал он.

Вечером, после работы, Леонид не поехал домой, а отправился на площадь Дзержинского в магазин «Детский мир» купить племянникам подарки — они скоро должны были вернуться в Москву.

Спускаясь по многолюдному Кузнецкому мосту, он встретил около Книжной лавки писателей Наташу Никитину. Отступить было некуда. Пробормотав слова приветствия, он стоял и смотрел на девушку.

— Здравствуй, Ленья! Сколько лет, сколько зим. Как дела? — спрашивала Наташа.

— Наташа, я перед тобой очень...— начал было Леонид, но она не дала ему договорить.

— Не надо об этом... Ты куда собрался?

— Домой. Купил племянникам подарки и решил пройтись немного. Совсем не бываю на воздухе.

— Если не возражаешь, я тебя провожу немного.

— Пошли!

Они спустились по Кузнецкому мосту, пересекли Неглинку и вышли к Петровке.

— У нас большая радость,— рассказывала Наташа.— Николаю дали лабораторию, прикрепили к нему семь сотрудников. Он на десятом небе — всю жизнь мечтал об этом. Сейчас занят разработкой новой темы, говорит, что она имеет большое общезначимое значение. А у вас на комбинате он и Забелина разработали новый способ крашения синтетических волокон...

— Я очень рад за Николая Николаевича. У нас красильщики только и говорят о нем и о Забелиной — возносят их до небес...

— Он когда-то любил Анну Дмитриевну Забелину,— помолчав, сказала Наташа,— а та вышла замуж за вашего директора... Да ты ведь знаешь об этом! С тех пор Николай не смотрит на других женщин. Увеличил фотографию Забелиной, повесил у себя в комнате...

— Говорят, сердцу не прикажешь...

— Да, сердцу не прикажешь! — повторила Наташа.

Леонид заставил себя посмотреть ей в лицо. Губы у нее дрожали. Молча дошли они до Большого театра. Наташа остановилась, протянула руку.

— Мне пора. До свидания — не забывай нас!

— До свидания.— Леонид пожал маленькую холодную руку.

Он стоял и смотрел ей вслед, думая: «Бывают же такие чистые души... А я — я бессердечный истукан!..»

Начался летний теплый дождь. Леонид побежал к метро.

Дома его дожидался незнакомый молодой человек с двумя фотоаппаратами.

— Здравствуйте, Леонид Иванович! Я к вам...

— Ко мне?

— Вот именно. Понимаете, мы поздно узнали, что сегодня вы сдавали оригинальной конструкции транспортер... Я уже побывал на вашем комбинате, но вас не застал. Сфотографировал транспортер — снимок будет напечатан в «Вечерней Москве», с вашим портретом, конечно!.. Хотелось бы снять вас около агрегата, но ничего не поделаешь — времени нет.

— Простите, пожалуйста, но я ничего не изобретал, просто приспособил идею ленточного транспортера к условиям нашего производства, — сказал Леонид.

— Скромность украшает всякого человека, тем более талантливого изобретателя! Но все-таки я убедительно прошу разрешения снять вас.— Фотокорреспондент, как и все журналисты, оказался человеком настойчивым.

Леонид сперва хотел решительно отказаться, но вдруг в нем заговорило что-то похожее на честолюбие. Пусть напечатают его портрет! Муза, наверно, читает «Вечернюю Москву» — пусть увидит...

— Хорошо бы снять вас хотя бы за чертежным столом, — сказал фотокорреспондент, оглядывая комнату.— Не найдется ли у вас чертежного стола или, на худой конец, доски?

Он сделал десятка полтора снимков и, поблагодарив Леонида, ушел.

Впервые в жизни Леонид не мог заснуть ночью. Странное дело — чем больше он думал о Наташе, тем сильнее хотелось ему встретиться с Музой. Встретиться, поговорить откровенно, по душам — понять наконец, что она за человек. Он ворочался с боку на бок, пружины дивана скрипели...

В соседней комнате Сергей читал докладную записку в ЦК. Он прислушивался к скрипу пружин, изредка качал головой и опять углублялся в чтение. Наконец терпение его лопнуло. Он встал, подошел к Леониду.

— Ты здоров? Почему не спишь?

— Просто не спится...

— А все-таки?

— Понимаешь, сегодня встретил на улице Наташу, поговорили...

— И что же?

— Сам не знаю, — признался Леонид.— Человек она удивительный!.. Ни единого упрека, разговаривала со мной так, словно ничего не произошло. Мне жаль ее... А с собой ничего не могу поделать...

— Все тянет к той?

— Скоро три недели, как мы не встречаемся. Думал — конец. Нет, вижу — не конец... И потом мне не дает покоя ее знакомство с Никоновым...

Сергей задумался.

— Никонов... Где работает, чем занимается? — вслух рассуждал он.— Вид у него преуспевающего человека. И это — после тюрьмы! Неужели нашел себе нового покровителя, вроде Толстякова?

— А что, очень даже может быть. Для таких ловкачей, как Никонов, нет ничего невозможного. Они из всего извлекают для себя пользу. Зачем он вертится около нее?

— Ну, это понятно!.. Она красивая женщина — почему бы Никонову не ухаживать за нею без всякой другой цели?

— Такие люди, как он, ничего не делают без корысти.

— В тебе говорит ревность... Впрочем, хватит! Давай спать,— завтра нам с тобой на работу!

После этого разговора с Сергеем Леонида охватила навязчивая идея: узнать во что бы то ни стало все подробности о Никонове. Во время обеденного перерыва он позвонил Власову, попросил у него разрешения отлучиться часа на два по личным делам.

— Пожалуйста, хоть на все четыре! — ответил Власов.

В ближайшем справочном бюро Леонид узнал адрес Никонова Ю. Б. и поехал к Никитским воротам, в домоуправление.

На вопрос, где работает жилец дома номер восемь Юлий Борисович Никонов, Леониду ответили не сразу. Молоденькая регистраторша вместо ответа внимательно посмотрела на Леонида и спросила:

— Вы новый сотрудник ОБХС? Старых я знаю всех, а вот вас вижу первый раз.

— Нет, я не сотрудник ОБХС. Мне просто нужно повидать Никонова по срочному делу.

— Частным лицам мы обычно таких справок не даем. Но...

— Пожалуйста, сделайте для меня исключение! Мне очень нужно!

— Что ж,— смягчилась девушка.— Поищу справку с места работы...—

Она покопалась в большом ящике, заполненном карточками, вытащила одну из них.— Вот, запишите.

Справка была выдана трикотажной фабрикой в Черкизове. Никонов Ю. Б. работал в должности главного механика и получал зарплату девяносто рублей в месяц.

Леонид поблагодарил девушку, записал адрес трикотажной фабрики и вышел.

Он не обратил внимания на то, что во время его разговора с девушкой в комнату вошел человек средних лет, скромно сел в сторонку и стал перелистывать старый «Огонек», лежавший на столе. Как только Леонид вышел, он поднялся и подошел к девушке.

— Как же вы так,— сказал он,— дали ему адрес и даже фамилию его не спросили!

— Зачем? Он сказал, что ему нужно по срочному делу увидеть нашего жильца из дома номер восемь Никонова... Простите, вы-то кто будете?

Тот ничего не ответил, повернулся и быстро вышел из комнаты.

Не заметил Леонид и того, что этот человек сел вместе с ним в троллейбус, идущий к центру, потом спустился следом за ним в метро и сопровождал его до самого комбината.

Когда Леонид прошел проходную, человек этот подошел к пожилой добродушной вахтерше.

— Не скажете, как фамилия этого молодого человека?

— А вам зачем?

— Очень он похож на одного парня, вместе с которым мы учились в летной школе!..

— Нет, вы ошибаетесь! — Вахтерша улыбнулась.— Леонид Иванович не был летчиком — он инженер-конструктор.

— Леонид Иванович? А фамилия как?

— Косарев.

— Нет, не тот!.. А по виду — вылитый мой однокашник!

На углу улицы он зашел в будку телефона-автомата, набрал нужный номер.

— Говорит Матвеев. В домоуправлении адресом Никонова интересовался молодой человек, но, думаю, он не из той оперы. Инженер, работает конструктором на камвольном комбинате, фамилия Косарев. Косарев Леонид Иванович... Пока все!.. С какой целью — не знаю... Хорошо, узнаю в партийной организации!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Послав докладную записку в ЦК партии, Власов постепенно, без всякого шума подготавливал комбинат к работе в новых условиях. Единственным человеком, с кем он делился своими сокровенными мыслями, был Сергей Полетов. По вечерам они подолгу засиживались в кабинете Власова. Алексей Федорович бродил по кабинету, беспрестанно курил, говорил оживленно, с увлечением.

— Понимаешь, Сергей, было время, когда требовалась строгая централизация, иначе не сумели бы создать мощную индустрию. Мы, «тряпичники», как тогда называли текстильщиков, забили бы всех, потому что работали рентабельно, прибыльно. В ситцевой России выросли замечательные кадры текстильщиков — у нас был вековой опыт, которого не было ни у металлургов, ни тем более у авто- и авиастроителей. Теперь же мы поняли: централизация перешла в свою противоположность и мешает нашему движению вперед.

— Это верно, Алексей Федорович, вот только люди... Многие ведь привыкли работать по формуле — как прикажут. И не их в том вина. Ведь сколько лет дисциплина, четкое оперативное исполнение ставилось превыше творческой выдумки? А теперь невольно думаешь: есть ли у нас руководящие кадры, которые смогут вести дело самостоятельно? Вспомните директора суконной фабрики на совещании в городском комитете партии. С такими далеко не уйдешь!

— Произойдет естественный отбор. Думаю, что исполнитель далеко не всегда был лишен творческой мысли. Кадров у нас, причем весьма квалифицированных, много, нужно выявить их и целесообразно расставить. Все новые источники накоплений заложены только в промышленности, и нам не обойтись без деловых людей. Это должно стать нормой — люди с широким размахом, умеющие считать копейку. Иначе ничего не получится!..

— Верно, столько развелось у нас бездельников с хорошо подвешенными языками — прямо какие-то профессиональные болтуны. Убрать бы их с дороги, развязать инициативу деловых людей и целых коллективов — горы можно перевернуть!

Власов улыбнулся.

— Вот именно, горы перевернуть! А поначалу накопить такой фонд предприятий, чтобы за его счет расширить узкие места производства. Внедрить малую механизацию и окончательно избавиться от ручного труда. Установить машинно-счетную станцию, механизировать учет, сократить лишних людей. Ну и, конечно, — устроить образцовую поликлинику, обеспечить всех отдельными квартирами. Новые детские сады, большой пионерлагерь... Работаешь честно — получай бесплатную путевку и еще деньги на дорогу, если нуждаешься. Отдыхай, лечись, с веселым настроением приступай к работе!

— Мечты, мечты, где ваша сладость?

— Ничего не мечты, абсолютно реальные задачи! Дай нам право организовать работу по-новому, и мы покажем земли врагень!.. — Раздался телефонный звонок, Власов поднял трубку.

— Здравствуйте, Дмитрий Романович, я слушаю, слушаю! — Власов покраснел, от волнения на лбу у него заблестели капельки пота. — Полетов у меня. Мы с ним как раз разговаривали об этом... Сейчас же приедем!

Положив трубку, он долго молчал, словно прислушивался к внутреннему голосу. Потом вдруг вскочил.

— Наконец-то!.. Да здравствует разум!.. Вот тебе и мечты, и реальность!

— Что, Алексей Федорович? Есть решение?

— К вашему сведению, дорогой товарищ, райком получил рекомендацию Центрального Комитета партии и Совета Министров СССР! — торжественно объявил Власов.

— Ну?!

— Ряду предприятий, в их числе и нашему комбинату, разрешено перейти на новые формы планирования и в порядке эксперимента организовать работу на новых началах. Вставай, Сергей Трофимович, поедem к Сизову! — Власов хлопнул Сергея по плечу. — Эх, Серега, Серега... Какое сегодня число?

— Девятнадцатое августа тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года со дня рождения Христова!

— Шути, шути, а дату все-таки эту запомни! Потом внукам рассказывать будешь!..

В райкоме Власов по нескольку раз перечитывал одну и ту же страницу постановления, делал записи у себя в блокноте, тихонько шептался с Сергеем. Наконец оба кончили чтение.

— Ну как? — спросил с улыбкой Сизов.

— Здорово! Больше, чем я ожидал, — ответил Власов. — Но знаете, Дмитрий Романович, для того, чтобы успешно выполнить это решение, нам кое-чего не хватает.

— А именно?

— Прежде всего — денег на капитальное строительство. На этот год нам ничего не запланировано, ни одной копейки, хотя мы настоятельно просили. Второе, нам необходимо расширить подготовительные цехи. Помогите, пожалуйста, получить в Моссовете разрешение на двухэтажную надстройку. При небольших затратах мы получим около девятисот квадратных метров дополнительных производственных площадей. Вы сами понимаете, что это значит для нас...

— Погодите! — остановил его Сизов. — Попробуем решить вопрос, не откладывая в долгий ящик. Я сейчас свяжусь с руководителями Моссовета. Допустим, разрешение на надстройку получим, но у вас нет ни проекта, ни сметы, и где вы возьмете деньги на строительство?

— Дмитрий Романович, вы нас недооцениваете. Проект и смету мы составили давно, еще два года назад, и в ожидании лучших времен положили на полку. А вот денег действительно нет, и я не уверен, что Боков сумеет выкроить их в своем хозяйстве.

— Давайте сначала получим разрешение на надстройку! — Сизов позвонил заместителю председателя Моссовета и быстро договорился с ним обо всем.

— Даже не верится! — воскликнул Власов.

— А вы куйте железо, пока горячо. Завтра же напишите просьбу в Моссовет, а проект и смету представьте в Архитектурное управление города на утверждение. Теперь о деньгах. — Сизов потер руками виски, задумался. — Попробуем уломать ваше начальство! — сказал он и снова взял трубку.

На этот раз никакие уговоры секретаря райкома не помогли: Боков категорически отказался выделить комбинату пятьдесят тысяч рублей на капитальное строительство из резервов текстильного управления.

— Оказывается, упрямый мужик этот ваш начальник — такого легко не обломаешь,— сказал Сизов, закончив разговор.

— Дело не в упрямстве, а в ограниченности,— поправил Власов.— Человек не понимает, о чем идет речь.

— Что ж, обратимся в банк за кредитом!..

Этот день был на редкость удачным для Власова: директор банка сообщил, что имеет распоряжение правления Госбанка СССР открыть кредит предприятиям, включенным в особый список.

На следующий день, после работы, в красном уголке ткацкой фабрики собрались члены парткома, командиры производства, многие коммунисты. Сергей смотрел на заполненные ряды стульев и с удовлетворением думал, что сегодня пришли все приглашенные. Люди сидели молча, сосредоточенно. Слово предоставили Власову. Он встал и со свойственной ему деловитостью ясно и коротко рассказал о рекомендации Центрального Комитета партии. Прежде всего, чтобы быть достойными доверия, оказанного коллективу, нужно взяться за учебу: без серьезных экономических познаний нечего и думать о том, чтобы справиться с поставленными задачами. На комбинате будут организованы курсы по экономическим и финансовым проблемам. С начала третьего квартала все три фабрики и восемнадцать цехов переводятся на подлинный хозрасчет. Они будут заключать между собой договора на поставку своей продукции, платить санкции и штрафы за несвоевременную поставку и за плохое качество. Отныне работники фабрик и цехов будут получать прогрессивную оплату за реализацию продукции и по экономическим показателям. Через два месяца комбинат перейдет на выработку товара, нужного потребителю, и поставляться этот товар будет прямо магазинам по прямым договорам. На комбинате будет действовать постоянный художественный совет. Без утверждения и санкции художественного совета ни один образец не может быть внедрен в производство. Фабрикам и цехам следует составить план организационно-технических мероприятий по полной ликвидации ручного труда.

В скором времени начнется строительство двухэтажной надстройки и расширение подготовительных цехов ткацкой фабрики.

— Всё, в том числе и материальное благополучие коллектива, зависит от нас самих, от нашего умения вести хозяйство. Кто не поймет новых задач и не сумеет перестроиться, пусть не обижается, пусть пеняет на себя, если окажется вне нашего коллектива,— заключил Власов.

Некоторое время в красном уголке было тихо, все молчали. Люди задумались. Шутка сказать — предстояла ломка укоренившихся годами навыков и привычек, перестройка всей работы. А когда заговорили, стало ясно, что все думают о конкретных делах, у каждого есть свое мнение, каждый не раз думал о перестройке, о необходимости работать по-новому.

С заседания партийного комитета расходились в приподнятом настроении, обмениваясь впечатлениями.

— Вот тебе и риск! — говорил один.— Сколько мы ворчали по углам, когда Власов приказал заправлять невыгодный ассортимент? И потом, когда лишились прогрессивки...

— Кто знал, что дело примет такой оборот? — отвечал другой.

— В том-то и фокус, что нужно знать! Талант настоящего руководителя заключается в предвидении. Молодец Алексей Федорович, утер нос чинушам!

— Ну, знаешь, он с таким же успехом мог и голову сломать!..

А во дворе комбината, собрав вокруг себя народ, митинговал мастер Степанов.

— Комбинат наш всегда славился своими делами! В первую империалистическую наши рабочие вывезли на тачке сына хозяина, молодого Шрайдера, и свалили его в канаву. В семнадцатом году наши дружин-

ники участвовали во взятии Кремля. Я тогда мальчишкой был, но все помню — как со знаменем красным вышли из ворот и с песней пошли к Кремлю... Не удивительно, что и теперь нам доверили большое дело!

— Хвастун же ты, Степанов,— сказал кто-то.

— Не грех и прихвастнуть малость,— не смутился старый мастер,— когда дела идут хорошо!

Фоторепортер выполнил обещание: портрет Леонида напечатали в «Вечерней Москве».

Лаборантка Галя, хитро улыбаясь, спросила:

— Видели, Леонид Иванович?

— Что?

— Будто не знаете!.. В жизни вы красивой. И помоложе!..

— Понятия не имею, о чем идет речь!

— До чего скромный человек Леонид Иванович. В «Вечерке» напечатан ваш портрет рядом с транспортером.— Она достала из кармана пальто газету.— Вот: «Инженер камвольного комбината Косарев Л. И. сконструировал новый транспортер, избавивший рабочих от изнурительного труда — таскать по этажам тяжелые ящики». Ну как, нравится?

— Дайте сюда! — Леонид выхватил из рук лаборантки газету, стал разглядывать снимок.

— Правда, в жизни вы лучше? — не унималась Галя.

— Смотря на чей вкус...

Снимок был не очень четкий, но узнать Леонида было можно. Видела ли уже она?

Сунув газету в карман, Леонид поднялся к себе. Удивительно — ему и в голову не приходило, что от такого пустяка, как портрет на страницах газеты, может подняться настроение!..

Он надел халат, сел за чертежный стол. Разместить монорельс в старых корпусах комбината оказалось делом не таким легким, как он думал. Но сегодня он твердо знал, что доведет дело до конца.

Раздался телефонный звонок. Леонида вызывали к директору с чертежами монорельса.

Леонид надел пиджак, пригладил волосы, свернул в трубку чертежи и пошел к Власову.

— Здравствуй, Леонид Иванович, садись! — Власов показал рукой на кожаное кресло.— Давненько мы не говорили с тобой, вот и захотелось знать, как идут твои дела?

— Со скрипом, но идут...

Просмотрев чертежи, Власов спросил:

— Кстати, Леонид Иванович, ты видел газету? — Власов достал из ящика письменного стола номер газеты с портретом Леонида.— Я очень рад за тебя!

— Спасибо...

— Надеюсь, у тебя все нормально? — спросил Власов, уловив в голосе молодого инженера невеселые нотки.

— Как вам сказать.— Леонид замялся, покраснел.— Алексей Федорович, вы давно обещали мне комнату... Я тогда еще студентом был.

— Помню, конечно! Я своих обещаний не забываю. Но сам знаешь — сейчас ничем не могу помочь. Через год дам тебе отдельную квартиру из двух комнат, если ты к этому времени обзаведешься семьей.

— Мне бы хоть комнату...

— Разве тебе так уж плохо у Полетовых?

— Совсем даже не плохо, но совесть тоже надо иметь. Сколько времени можно стеснять людей? У меня ведь отец инвалид.

— Потерпи немножко, Леонид Иванович. Скоро начнем строить соб-

ственные дома — ты с Иваном Васильевичем первые кандидаты на двухкомнатную отдельную квартиру в первом этаже... И очень прошу: ускорь приготовление чертежей на детали. Скоро районный партийный актив — надо рассказать хозяйственным и партийным руководителям предприятий о том, над чем мы работаем и какая помощь нам требуется.

— Чертежи на сто наименований уже готовы, остальные закончим в течение месяца. Раньше невозможно — объем работы большой!

Вечером Леонид допоздна проверял чертежи. Он больше всего боялся подвести Власова. Уходя, он увидел свет в окнах парткома и зашел туда. Сергей писал что-то.

— Привет, труженик! — сказал Леонид, поднял левую руку, трижды постучал ногой об пол.

Сергей перестал писать, поднял голову.

— Гляди-ка, веселый какой!

— А почему, собственно, мне не быть веселым? В газетах портреты печатают, того гляди скоро Героя дадут... Тогда со мной не шути!

— Я и так со всем почтением! Подожди минут десять, пока я допишу страничку — вместе домой пойдем.

— Десять минут — мелочь, пылинка по сравнению с вечностью. Могу ждать и больше — мне некуда больше спешить и некого больше любить... Однако у меня есть другое предложение.

— Какое?

— Пойдем куда-нибудь, посидим, выпьем малость. Словом, повеселимся.

— Ты что, белены объелся?

— Ничуть. Голоден как собака. И вообще, знаешь, Серега, нельзя быть такими сухарями, как мы с тобой. Одна работа, и больше ничего, а от работы, как тебе известно, лошади дохнут.

— На то они и лошади!..

— Тебе хорошо — нашел такую золотую девушку, как моя сестренка. Попалась бы тебе какая-нибудь злючка, посмотрел бы я на тебя...

— Поищи, может и ты найдешь золотую.— Сергей понял, что ему сегодня больше не удастся работать, спрятал бумаги в нескораемый шкаф, надел кепку.— Пошли!

По дороге в метро он сказал Леониду:

— А я и не знал, что ты ученик и последователь Шерлока Холмса.

— С чего это ты?

— Донесла собственная агентура...

— Я серьезно спрашиваю.

— И я серьезно. Сегодня интересовались твоей персоной. Пришел ко мне молодой человек из органов, показал удостоверение и давай задавать вопросы один любопытнее другого и примерно в следующем порядке: знаю ли я одного работника комбината по фамилии Косарев, Леонид Иванович? Из какой он семьи? Как работает, с кем общается и вообще чем дышит? В свою очередь, я тоже позволил себе поинтересоваться — чем, собственно говоря, вызван такой интерес к скромной персоне рядового инженера? Молодой человек долго мялся, но я ему напомнил, что здесь партийный комитет и они обязаны помогать нам лучше узнать свои кадры. Он смягчился и поведал невеселую повесть о том, что Леонид Косарев проявлял повышенный интерес к одному человеку с темным прошлым и не очень светлым настоящим. Косарев искал с ним связи. Человека этого зовут Юлий Борисович Никонов, он недавно вернулся из отдаленных мест, куда выезжал не по своей воле. Косарев узнал место работы вышеупомянутого Никонова и направился туда. Мне все стало ясно, и я сказал чекисту: «Ищите женижку». И вкратце передал историю твоего знакомства с зеленоглазой красавицей...

— Ты с ума сошел! Как ты мог впутать в такую историю Музу!

— По-твоему, из рыцарских побуждений я должен был обмануть представителя органов, занимающихся безопасностью нашего государства? Да ты не бойся — с твоей Музой ничего не случится. Чекист сказал, что Никонов живет явно не по средствам и, видимо, опять занимается неблагоприятными делами, но что дело не только в нем. В заключение он попросил не говорить тебе ничего, но как-нибудь внушить, чтобы ты впредь не интересовался Никоновым — это может напугать всю компанию и помешать органам госбезопасности довести дело до конца.

— Нужно предупредить Музу!..

— Вот уж поистине: кого господь бог хочет наказать, того прежде всего лишает разума. Тебе доверили тайну, а ты? А если твоя Муза замешана в этой грязной истории?

— Этого не может быть!

— Почему не может быть? Ты ведь очень мало ее знаешь. Я прошу тебя об одном: ничего не рассказывай ей о нашем разговоре, не подводи меня и не затрудняй работу чекистов. Вообще-то, послушай друга, — держись от нее подальше!

Всю остальную дорогу Леонид молчал.

Дома Милочка протянула брату конверт.

Читая письмо, Леонид немного посветлел лицом. Заметив это, Сергей поинтересовался:

— В чем дело, Леня?

— Научно-исследовательский теплотехнический институт извещает, что приступил к изготовлению опытного образца малогабаритного котла по моим чертежам, и приглашает меня на консультацию! — ответил Леонид и, пряча конверт в карман, добавил: — Не одни же неприятности в жизни — бывают и светлые окошки!..

Он решил завтра же повидаться с Музой, чего бы это ему ни стоило, и поговорить с нею начистоту.

День выдался ясный, безоблачный. Горопливо шагая к метро, Леонид рассуждал сам с собой: «Неужели я такой уж тупица, что не сумею отличить искренность от притворства?..»

Он стоял у эскалатора и ждал появления Музы. Как Леонид ни злился на себя, он очень волновался, даже в горле першило.

Вот и она! Муза улыбнулась и, как ни в чем не бывало, протянула Леониду руку.

— Где вы пропадали столько времени? — спросила она, когда они вошли в вагон.

— Нигде не пропал... Просто боялся встретиться с вами...

— Боялись?

— Да. Вы, вероятно, помните, как в тот злосчастный день повернулись и ушли, не оглядываясь... Вот я и решил, что насильно мил не будешь. Но, как видите, характера не выдержал...

— Нужно научиться прощать женщинам их маленькие капризы! — Муза улыбалась, и Леонид вдруг понял, что она рада встрече.

— Между друзьями не должно быть капризов... По крайней мере я так понимаю дружбу.

— Да, между друзьями не должно быть никаких недомолвок и обид, — ответила она, думая о чем-то своем.

— Нам нужно поговорить. Если вы не заняты сегодня после работы, я подожду вас.

— Хорошо, — неожиданно легко согласилась она.

Разумеется, Леонид не мог знать, что с того самого дня, когда Муза ушла, так неожиданно рассердившись на него, она места себе не находила, бранила себя за плохой характер и даже плакала. По ночам, когда сон упорно не шел к ней, она пыталась проанализировать свои чувства к молодому инженеру и удивленно спрашивала себя: неужели это любовь?

Она часто увлекалась, но ни к кому не испытывала особенной привязанности и давно убедила себя, что все сказанное и написанное о возвышенной любви, об ее очистительной силе — просто красивая фантазия. И вдруг — сама не может думать ни о чем, кроме как о Леониде.

Иногда она сердилась на себя за это, пыталась отогнать навязчивые мысли, но ничего сделать с собою не могла. Еще немного, и она, потеряв над собою контроль, заговорила бы с Леонидом первая, а если бы его не оказалось в метро и на тех улицах, по которым они обычно ходили вместе на работу, пошла бы к нему домой.

Весь день ей не работалось. Она делала вид, что переводит, а на самом деле думала, думала, и, конечно, главным образом о Леониде.

Она как бы оглядывалась назад, вся ее жизнь проходила перед глазами. Немало было встреч, увлечений. Люди, с которыми она встречалась до сих пор, проявляли в отношении к ней одну корысть — грубо говоря, добивались близости с нею. Они произносили нежные слова, клялись, но она со временем научилась разбираться в людях, понимать, что все это — фальшь. Настоящей любви эти краснобаи не испытывали, они старались создать иллюзию любви, получая от этого удовольствие. Взять того же Никонова — он готов был даже жениться на ней. Вот уж кто лжив всем существом своим — за все время их знакомства он не сказал ни слова правды, чувство хотел заменить дорогими подарками и собирался жениться на ней только из пошлого тщеславия — почему не иметь красивую жену? Как она не раскусила его сразу, с самого начала? Впрочем, в то время она была очень одинока и несчастна...

Леонид — открытая душа, честен, правдив. При встречах с нею робеет, теряет дар речи, даже шутит как-то неловко. Разве все это не признак настоящей любви? Но откуда его повышенный интерес к Никонову?.. Ну, а что касается ее прошлого, то оно никого не касается, разве можно карать кого бы то ни было за заблуждения молодости? Может быть, она грешила чуточку больше, чем другие, но что из этого? Если бы она встретила человека, которого полюбила бы, жизнь сложилась бы совсем иначе. К несчастью, она не встретила такого человека... Но сейчас — сейчас ей никто, кроме Леонида, не нужен!..

И она с нетерпением ждала вечера.

Наступил конец рабочего дня. Леонид быстро привел себя в порядок и выбежал на улицу. Завернув в переулок, он вспомнил, что еще вчера Сергей просил его зайти после работы в партком. Леонид остановился в нерешительности, потом махнул рукой и зашагал вниз по переулку.

Сегодня Муза нарушила ею же установленное правило — не дождалась, пока разойдутся все сотрудники института. На глазах у всех она поспешила навстречу Леониду.

— Вот и я! — сказала она, слегка задыхаясь.

— Я сегодня не успел пообедать и очень голоден. Не согласитесь ли составить компанию и пообедать со мной? — спросил Леонид.

— Почему же нет? С удовольствием! А где вы собираетесь обедать?

— Где вам угодно — в любом ресторане! — Леонид чувствовал себя на десятом небе: они снова рядом, все хорошо, а Никонов... Стоит ли сейчас вспоминать о нем?

— Тут, недалеко от моста, гостиница «Бухарест», там и ресторан. Это ведь не центр — может, и народу будет поменьше.

— «Бухарест» так «Бухарест»!

Они пошли переулками, чтобы сократить путь.

Разговаривая о пустяках, каждый из них невольно оттягивал время, когда придется говорить о серьезном, — они дошли до гостиницы, поднялись на шестой этаж, в ресторан. Посетителей было мало, они сели у окна.

— Кутнем? — спросил Леонид, просматривая меню.

— Просто пообедаем!

— А вина выпьем?

— Выпьем по бокалу, если вам так уж хочется.

Леонид заказал закуску, обед, бутылку вина и проделал это так неловко, что Муза сразу поняла — ресторанный опыт у него небольшой. И это было приятно ей.

Молча выпили по бокалу вина.

Муза оказалась смелее и начала первая:

— Вы хотели о чем-то поговорить со мной.

— Хотел и хочу поговорить о многом. А вот с чего начать — не знаю... Прежде всего... мне было очень грустно без вас! — набравшись духа, сказал Леонид. — Потом хотел спросить, почему вы рассердились, когда я спросил вас о Никонове.

— Он нехороший человек, и о нем не стоит говорить...

— Что он нехороший человек, я знаю лучше вас и узнал это значительно раньше...

— Разве вы знакомы с ним?

— К сожалению, знаком...

— Тогда расскажите все, что знаете! — Она слегка покраснела, тонкие пальцы ее нервно теребили край скатерти.

— Когда-то Никонов работал у моего отчима, начальника Главшерсти, главным механиком. Бывал у нас дома... Мы знали его как подхалима, подлизу, только отчим этого не замечал, а может быть, ему нравились именно такие помощники... Никонов занимался всякими темными махинациями, и за это его посадили в тюрьму. Совсем недавно он опять выплыл на поверхность...

— Разве он не за отца сидел?

— Значит, он сочинил для вас сказку о своих страданиях за грехи родителей? Действительно, отец его был городским головой, кажется в Воронежже. Его расстреляли в годы гражданской войны за активную контрреволюционную деятельность. Но Юлий Борисович сидел за уголовщину — это я знаю совершенно точно. Он — проходимец, аморальный человек. Вот почему его знакомство с вами огорчило меня...

Муза внимательно слушала Леонида, катая по скатерти хлебные шарики.

— И вы, конечно, подумали: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не так ли?

— Нет, не так! Мне просто хотелось предостеречь вас! Вот и все...

— Я сама раскусила Никонова, но, к сожалению, с небольшим опозданием. А теперь, после вашего рассказа, нахожу объяснение некоторым странностям в его поведении. Впрочем, лучше не будем говорить об этом...

— Почему?

— Мне неприятно...

За окном сгустились сумерки. В небе появились первые, еще бледные звезды.

Леонид снова наполнил бокалы вином и, подняв свой, тихо сказал:

— Выпьем за доверие друг к другу!..

Муза только пригубила вино.

— Пора и честь знать! Пойдемте, уже поздно, — не дожидаясь ответа, она поднялась.

Провожая Музу от метро до дома, Леонид впервые отважился взять ее под руку, и она не стала возражать. Около своего дома она быстро оглянулась по сторонам, поцеловала Леонида в губы и, не сказав ни единого слова, скрылась в подъезде.

Счастливым, ошеломленным, стоял Леонид под ее окнами, и когда в них зажегся свет, повернулся, медленно направился домой...

Спустя полчаса, когда Муза в легком халатике лежала на диване с

книжкой в руке и больше думала, чем читала, за дверью послышался веселый голос Юлия Борисовича.

— Так поздно!..— Муза стояла в нерешительности, не зная, открыть ему дверь или нет.

— Поздно? Время детское — всего девять часов. Откройте, пожалуйста, у меня к вам дело!

Она попросила Никонова подождать, надела платье, поправила волосы, подкрасила губы. Потом молча открыла дверь.

— Долго, однако, вы заставляете ждать! — с шутливой укоризной сказал Юлий Борисович.

Она промолчала, подошла к окну.

— Вижу, вы не в настроении, а жаль! — сказал Юлий Борисович.

— Нам не о чем разговаривать...

— Не о чем? Я пришел к вам с самыми серьезными намерениями: будьте моей женой! Хотите, пойдем в загс, хотите — в церковь, для вас я готов на все... Не бойтесь, я создам вам райскую жизнь, вы будете иметь все, что захотите, больше, чем жена любого министра или академика... Уйдете с работы, станете жить в свое удовольствие. Не будете больше корпеть над переводами никому не нужных технических опусов!

Она продолжала молчать.

— Мне хотелось бы получить прямой и ясный ответ на мое предложение!

— Я уже ответила вам.

— Это было сделано необдуманно... Поймите, я вас люблю! Вы для меня самая желанная из всех женщин, населяющих Земной шар.— Он подошел к Музе, попытался взять ее за руку.

Она резко отшатнулась от него.

— Мне противно слышать от вас все это.

— Что? Нового любовника завели? — Лицо Юлия Борисовича было искажено от злости.

— Вы мерзкий, мерзкий человек, — задыхаясь, проговорила Муза Васильевна.— Уходите! Уходите сейчас же и забудьте навсегда дорогу в мой дом, — сказала она.

— Ах так? Ну погодите, вы еще пожалеете... Я узнаю, кто ваш любовник, и ничего не пожалею, чтобы свернуть ему шею. Вам... вам тоже не сдобровать!..

— Уходите немедленно или я закричу, позову милицию!.. Думаю, вам не очень приятно встречаться с представителями власти!

— Я так и знал — оклеветали!.. Кто это? Скажите, очень прошу, что он рассказал вам про меня?

— Уходите!

— Хотите, на колени стану, только скажите! Это для меня очень важно...

— Я знала, что вы дурной человек. Оказывается, вы еще и трус!

Юлий Борисович медленно вышел из комнаты, тихо притворив за собою дверь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Осложнения возникли неожиданно.

Казалось, все идет гладко. Сбытовики заключили прямые договора на поставку товара. Банк открыл кредит на финансирование капитального строительства, и на площадке появились рабочие районного стройтреста. В помощь строителям цехи ежедневно выделяли по пять-семь человек. Кирпичная кладка надстройки подымалась на глазах. Варочка и Шустрицкий разработали положение о хозрасчете — цехи заключили между собой договора и рьяно следили за их выполнением. На фабриках, в це-

хах и бригадах развернулась такая кипучая работа по сбору предложений, что удивились сами организаторы ее — Власов и Сергей.

— Вот что значит развязать инициативу масс! — сказал Власов Сергею. — На прядильной фабрике поступило более трехсот предложений, а на ткацкой еще больше — почти семьсот. Меньше всего предложений поступает от красильщиков и отделочников.

— Это понятно — на красильно-отделочной фабрике недавно проводили реконструкцию, наладили поток, там недоделок осталось меньше. К тому же там, с помощью Анны Дмитриевны и Никитина, научились красить синтетику.

— Нужно следить, чтобы рабочим давали ответ при любых обстоятельствах, — посоветовал Власов. — Предложение принимают — сообщи об этом автору, укажи примерные сроки внедрения. Отклоняют — тоже сообщи, объясни почему. Иначе человек потеряет веру в свои силы, станет рассуждать по старой поговорке — куда, мол, нам с суконным рылом да в калачный ряд!..

Короче, все шло нормально. И вдруг возникли осложнения — неожиданно, как гром среди ясного дня.

Для того чтобы обеспечить выработку и поставку товара по новым образцам, нужна была пряжа высоких номеров — шерстяная и с примесью искусственного волокна. Фабрики-поставщики отказались переадресовываться и упорно продолжали отпускать пряжу в старом ассортименте. Это грозило комбинату большими неприятностями. Выпуск старого, всем надоевшего товара свел бы на нет все усилия комбината. А руководители комбината попросту выглядели бы болтунами. Пошли бы разговоры — вот похвастались, пошумели, а в итоге пшик, товар-то выпускают старый. Этого не простили бы и торгующие организации, они могли разорить комбинат санкциями, штрафами за невыполнение договорных обязательств по поставке товара в соответствующем ассортименте.

Власов попробовал было переговорить с руководителями фабрик-поставщиков, но из этой затеи ничего путного не получилось. На его просьбу хоть частично изменить номера поставляемой комбинату пряжи один директор ответил ему так резко, что Власов даже растерялся:

— Знаешь что, Власов, мы понимаем: ты хочешь блеснуть, утереть всем нос и выйти в знатные люди. Пожалуйста! Это, конечно, дело твое. Только не старайся сделать себе карьеру за счет чужого горба. Вокруг тоже не лопухие. Есть утвержденный государственный план, и мы его выполняем. Чего тебе еще?

Формально не возражишь. План есть план, и люди честно его выполняют. Действительно, чего еще? Однако разговор этот не на шутку встревожил Власова. Кое-кто, по-видимому, ничего не понял из того, что предпринимается для улучшения работы всей промышленности. Им кажется, что новшества — личное дело Власова. От таких ждать помощи нечего — наоборот, ослепленные завистью, такие постараются всячески помешать любому большому начинанию. А может быть, нагрубивший ему директор понимает, что при новых условиях не руководить ему большим предприятием, и потому бесится?

Делать было нечего — опять приходилось идти на поклон к Бокову.

Начальник текстильного управления встретил Власова, как всегда, дружелюбно.

— Вас можно поздравить, Алексей Федорович! Добились своего, теперь вы сами себе хозяин, — сказал он полушутя-полусерьезно.

Такое начало беседы насторожило Власова, и он сразу начал внушать себе: «Возьми себя в руки, не горячись! Ты пришел сюда не спорить, а дело делать. Учти, ты всего-навсего проситель». И все же не выдержал — вежливо отстранил удар:

— В своем деле я всегда чувствовал себя хозяином, — ответил он.

— Знаю, знаю, чего другого, а самостоятельности у вас всегда хватало с избытком! Теперь, как говорится, сам пан, сам хозяин. Работайте, творите, а мы посмотрим, что из этого получится.

— Лучше помогли бы нам, чем шутки шутить!..

— По мере сил и скромных возможностей я всегда помогал. Вы этого отрицать не можете.

— И не собираюсь. Благодарен вам, и опять пришел к вам челом бить. Дайте, пожалуйста, указание фабрикам-поставщикам отпускать нам пряжу высоких номеров в соответствии с нашим ассортиментом и процентов на пятнадцать больше, чем предусмотрено планом.

— Прядильные фабрики сами не потребляют пряжу, и если у них будет перевыполнение, отгрузят пропорционально всем потребителям, вам тоже. Что касается изменения номеров, то тут я вам не помощник. Переделать утвержденный Госпланом план и тем самым обречь фабрики на невыполнение плана не могу и не буду. Вы не хуже меня знаете, что значит для фабрики переизправляться. Что же касается ассортимента, то, как говорится, выше пуга не прыгнешь. Разнообразьте его в пределах реальных возможностей. Другого совета дать вам не могу.

— Николай Иванович, я многого не прошу: всего сорок тонн пряжи в месяц высоких номеров. Для управления это сущие пустяки, капля в море. Пожалуйста, помогите. Иначе придется нам всем вместе краснеть.

— Зачем же краснеть всем? Пусть краснеют руководители, берущие на себя нереальные обязательства. Потом, давно ли вы стали считать сорок тонн пряжи пустяком, каплей в море? Не взыщите, Алексей Федорович, к сожалению, пряжу высоких номеров, да еще сверх плана, отпустить вам не могу.

— Что ж, нет так нет!.. Постучим в другие двери. Авось поймут нас и помогут...

— Вы можете стучать в какие угодно двери, но они вряд ли распахнутся перед вами. И пряжа по щучьему велению не появится! — В голосе начальника текстильного управления слышалось раздражение.

— Допустим,— ответил Власов.— У меня к вам еще два вопроса. В Главснабе нам выделили машиносчетную станцию. Мы получили наряд и оплатили счет, но получить не можем. Говорят, вы распорядились задержать станцию.

— Скажите по совести, зачем вашему комбинату дорогостоящая машиносчетная станция?

— Чтобы работать рентабельно, дать доход государству, а себе накопить фонд. Перевод бухгалтерии и планового отдела комбината на машинный учет даст возможность сократить около ста человек счетоводов, бухгалтеров, табельщиков и плановиков. Разве этого мало?

— Ну, дело ваше! Если не жаль денег, то пожалуйста, берите...

— Спасибо.

— Что еще?

— В связи с некоторым сокращением инженерно-технических работников и предстоящим усовершенствованием технологии возникла необходимость в главном инженере. Да и мне одному стало трудно... Работник вашего аппарата Терентьев дал мне согласие. Назначьте, пожалуйста, его к нам.

— А я с кем буду работать, позвольте вас спросить?

— Николай Иванович, уверяю вас — Терентьев вам не так уж нужен. Он производственник и для аппаратной работы не годится... Потом, человек сам хочет.

— Мало ли кто чего хочет! — Боков начал терять терпение.— Вы, Алексей Федорович, становитесь на скользкий путь. Не советую вам переманивать к себе работников, пользуясь тем, что можете больше платить. Это хорошим не кончится...

— Переманивать или приглашать — вещи разные... Мне не хотелось действовать через вашу голову, но уверен, что, учитывая желание самого Терентьева, городской комитет партии направит его к нам.— Власов встал, но не попрощался и не ушел, он ждал ответа.

— Ладно! — Боков с досадой махнул рукой.— Если Терентьев действительно дал согласие, пусть уходит. Не в моих правилах удерживать работников...

Большую комнату, где помещалась центральная бухгалтерия комбината, освободили от столов, сломали перегородки и начали монтировать счетные машины под руководством молодого инженера из научно-исследовательского института. Он же взялся обучать кадры для машиносчетной станции.

Все это время, пока шел монтаж машин, Варочка — главный бухгалтер — ходил мрачнее тучи. А когда станция начала работать, не выдержал, пошел к директору и долго мялся, не зная с чего начать. Власов, привыкший к некоторым причудам старика, не торопил его.

— Алексей Федорович, я к вам по делу,— сказал наконец Варочка. Голос его срывался, он без конца откашливался.

— Слушаю вас, Сидор Яковлевич! Садитесь вот сюда, в кресло, здесь вам будет удобнее. Итак, вы пришли ко мне по делу...

— Да,— главный бухгалтер протянул лист бумаги.— Вот мое заявление, там все написано.

Быстро пробежав заявление, Власов поднял глаза.

— От кого угодно, но от вас, Сидор Яковлевич, я этого не ожидал. Уходить с комбината, бросить столько начатых и не законченных дел!.. И потом, вы подумали обо мне — что я стану делать без вас? Вы всегда были моей опорой, правой рукой, и вдруг...

— Я тоже искренне уважал и уважаю вас. Но... но на старости лет переучиваться не могу! Пригласите к себе молодого, знакомого со счетными машинами бухгалтера, а меня отпустите на пенсию. Работаю более сорока лет, пора и честь знать...

— Вот оно что! Испугались счетной техники. Напрасно — лично в вашей работе ничего не изменится. Считать будут машины, причем значительно точнее всех счетоводов в мире и без всяких ошибок. Они представят вам итоговые цифры, а вы по-прежнему сведете баланс. О финансах и говорить нечего — как командовали ими, так и будете командовать единолично.

— Не знаю...

Заметив колебания старика, Власов встал, положил руку ему на плечо.

— Сидор Яковлевич, вы только подумайте, какие замечательные перспективы ожидают нас. При вашей помощи мы начали большие дела, давайте и завершать их вместе! Создадим образцовое социалистическое предприятие. Пусть нам будет труднее, чем другим, зато — мы первые. И, конечно, у нас будет множество последователей.

— Я так и знал! — старый бухгалтер вздохнул.

— Что именно знали?

— Что уговорите!.. Но учтите, Алексей Федорович, трудностей у вас будет гораздо больше, чем вы думаете. Мне пришлось разговаривать со многими главными бухгалтерами текстильных фабрик. Не все, но многие из них ничему не верят. Думают, что все, что делается у нас, пустая затея. Шумиха ради личной корысти. Понятно, что они говорят с чужого голоса, но говорят вслух...

— Ничего не поделаешь! Так уж устроен мир, что новое всегда рождается в муках...

Варочка вернулся к себе, что-то растерянно бормоча. Власов и угово-

рил и убедил его. Старый, выдавший виды бухгалтер всегда восхищался Власовым — решительным его характером, спокойствием, доброжелательностью. Работать с таким директором, как Власов, Варочка считал для себя честью. «Будет что вспомнить на старости», — говорил он своим домашним.

И решив не уходить с комбината, он взялся за дело со свойственной ему педантичностью: составлял и пересоставлял списки освобождающихся работников бухгалтерии, придумывал, как лучше и целесообразнее их использовать. Каждого вызывал к себе, подолгу беседовал, терпеливо объяснял, что веку деревянных счетов и примитивных арифмометров приходит конец. Молодым советовал пойти в цеха и переквалифицироваться, пожилым обещал дать рекомендации на другие предприятия. Из семидесяти шести сокращенных счетных работников пятьдесят два остались на комбинате, чтобы стать ткачами, прядильщиками и отделочниками. По договоренности с директором им сохранили среднюю зарплату в течение трех месяцев. В бухгалтерии остались самые квалифицированные счетные работники.

На комбинат приехал Матвей Васильевич Терентьев.

Текстильщики хорошо знали его как крупнейшего специалиста-отделочника. Он был авторитетом для всех, хотя и слыл человеком неуживчивым, с крутым характером.

Терентьев работал главным инженером на одной из крупных фабрик Московской области, когда образовались совнархозы. Его пригласили в текстильное управление города возглавить технический отдел, предложили персональный оклад, обещали квартиру из трех комнат в Измайлове. Матвей Васильевич терпеть не мог аппаратную работу, но будучи обременен большой семьей, тремя подрастающими сыновьями, последнее время жил скудно да и квартиру занимал неважную — две комнатухи с прихожей в деревянном фабричном доме, без удобств. Конечно, он мог бы занять квартиру попросторнее, но при том тяжелом положении с жильем на фабрике, когда некоторые специалисты и квалифицированные рабочие ютились с семьями в одной комнате, считал для себя неудобным даже поднимать такой вопрос.

Семья сыграла немаловажную роль в его решении переехать в Москву. Сыновья росли, старший, Иван, кончал школу и собирался в вуз, у Александра обнаружились большие музыкальные способности, и отец мечтал видеть его музыкантом.

В семье инженера Терентьева музыку любили все. Сам Матвей Васильевич играл на скрипке, Варвара Ивановна на фортепиано, старший сын Иван на аккордеоне, а об Александре и говорить нечего: его привязанностью, кроме скрипки, была виолончель. Только средний сын Николай увлекался спортом и не признавал музыку. Часто по вечерам в доме Терентьевых устраивались семейные концерты, и жители поселка, собравшись под окнами, слушали хорошую музыку.

Войдя в кабинет к Власову, Терентьев, не дожидаясь приглашения, сел в кресло и сразу приступил к делу.

— Я немного в курсе ваших начинаний, вполне одобряю их, уверен в успехе, — начал он. — На производство вернусь с удовольствием — не мое дело сидеть за столом, протирать штаны. Но прежде чем решить окончательно, хотелось бы уточнить материальную сторону вопроса. Вы, Алексей Федорович, не сердитесь на меня, не считайте циником: у меня большая семья, я обязан думать об ее благополучии. Не так ли?

— Разумеется. О чем идет речь?

— В текстильном управлении я получаю персональный оклад — триста рублей в месяц, и семья привыкла к определенному достатку. Мне не хотелось бы ухудшать...

— У нас вы будете получать больше, — перебил его Власов.

— Как?

— Очень просто. Мне предоставлено право устанавливать оклады специалистам по своему усмотрению, разумеется, в пределах фонда заработной платы. Учитывая ваш многолетний опыт и большие знания, я предлагаю вам пятьсот рублей в месяц. Кроме прогрессивки и премии. А они будут в скором времени непременно!..

— Позвольте спросить вас, а сколько получаете вы сами?

— Триста рублей в месяц.

— Значит, директор, глава, получает триста рублей. А главный инженер пятьсот? Нескладно как-то!..

— Нормально. Вы не ломайте себе голову над этим. Главное, чтобы вы ни в чем не нуждались и всецело отдавались работе. Все остальное ерунда.

— Нет, в этом вы не правы, — решительно сказал Терентьев.

— Ну, знаете, — не могу же я устанавливать сам себе зарплату!.. Признаться, для меня это не имеет большого значения. Жена зарабатывает прилично, мать получает пенсию. Живем скромно, и наших заработков вполне хватает...

— Понятно... — Терентьев помолчал, потом спросил: — Вам известно, что характер у меня неважный? По крайней мере так говорят... И я люблю работать самостоятельно. Насколько я знаю, вы тоже не отличаетесь ангельским характером. Сумеем ли мы сработаться?

— У нас на комбинате столько дел, что хватит на всех. Потом, насколько я понимаю, нам с вами делить абсолютно нечего!

— Понятно... Когда прикажете приступить к работе?

— Хоть завтра, если Боков не задержит.

Не успел Власов закончить последнюю фразу, как в кабинет влетел заведующий ткацкой фабрикой инженер Макаров.

— Что же это делается, Алексей Федорович? — взволнованно начал он. — Берем на себя большие обязательства, а у меня стоят станки из-за того, что нет пряжи! Шустрицкий, вместо того чтобы принять срочные меры, собирается после проверки наложить санкции на прядильную фабрику. Зачем мне санкция — я не купец, не капиталист! Мне нужна пряжа, а не какие-то санкции да штрафы!..

— Здравствуйте, Евгений Александрович, — мягко сказал ему Власов. — Вы пришли очень кстати. Познакомьтесь, пожалуйста, — Матвей Васильевич Терентьев, наш новый главный инженер. Прошу любить и жаловать!..

Макаров притих и, протягивая руку Терентьеву, внимательно посмотрел на него. Новый главный инженер показался ему не очень симпатичным. Худой, высокий, жилистый, со смуглым лицом, глубоко посаженными глазами. Взгляд жесткий...

— А теперь садитесь и расскажите, что у вас стряслось? — спросил Власов.

— Из-за нехватки пряжи высоких номеров стоят с самого утра двадцать станков!

— Но ведь прядильщики выполняют план.

— План-то они выполняют, даже перевыполняют, но нам от этого не легче — все равно высоких номеров не хватает. И вот результат: или перезаправлять станки на старый ассортимент, или стоять. Что лучше — не знаю.

— Плохо и то и другое, — сказал Власов. — Впрочем, стоять все же хуже. Перезаправляйте станки.

Когда Макаров, понурив голову, вышел, Терентьев сказал Власову:

— С высокими номерами и впредь будет тяжело. Нужно искать иной выход. Может быть, есть возможность увеличить выпуск на вашей прядильной фабрике?

— Можно, с натяжкой. Но для этого потребуются две чесальные машины и два новых быстходных вастера. Снимем три вастера, вместо них поставим два.

— А чесальные машины есть где ставить?

— Место найдем.

— В таком случае, я завтра же поговорю с Боковым и выпишем вам наряд на эти машины.

— Думаете, Боков даст согласие? — с недоверием спросил Власов. — Позавчера мы расстались с ним не очень-то дружелюбно...

— Не думайте о нем плохо. Боков человек порядочный, хоть и мелковат для руководства такой громадиной, как московский текстиль. Вы прикажите подготовить место, а машины будут, поверьте мне. Иначе вы не избавитесь от вечной лихорадки. — Терентьев поднялся. — Алексей Федорович, честно признаюсь, я рад, что буду работать с вами. Вы всегда можете положиться на меня, я подведу!

Власов поднялся и горячо пожал руку новому главному инженеру. Кажется, он не ошибся в выборе.

...Слова Аркадия Семеновича Шагова, сказанные им когда-то в далеком северном лагере, что наступит такое время, когда Юлий Борисович не будет считать деньгами тысячу или две тысячи рублей, оправдались полностью. Теперь он ворочал сотнями тысяч, мог позволить себе все, что душе угодно, и если бы не боязнь обратить на себя внимание, жил бы роскошно, как мечтал об этом с ранней юности.

Деньги уже не радовали его, как раньше, их стало слишком много. К тому же приходилось всегда жить с оглядкой, постоянно притворяться, чтобы у окружающих создалось впечатление, что перебивается он на скромную зарплату главного механика маленького предприятия. И только бывая в Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Харькове, Киеве, Баку, особенно во Львове, он отводил душу, полагая, что там его никто не знает.

Нужна ли была ему жена? На этот вопрос он не мог ясно ответить себе. Но чем решительнее сопротивлялась Муза, тем энергичнее он ее добивался. Поведение этой красивой и, без сомнения, умной женщины ставило Юлия Борисовича в тупик. Она не принимала от него подарков, даже самых дорогих, отказывалась бывать с ним где бы то ни было, словно боясь скомпрометировать себя. Но больше всего озадачивал Юлия Борисовича ее отказ стать его женой. Он был убежден, что самая красивая женщина Москвы сочла бы это за честь для себя. Такое самомнение подкреплялось тем, что женщины отвечали ему взаимностью.

Возвращаясь домой, Юлий Борисович с тревогой думал не о том, что потерял желанную женщину. Ему не давали покоя ее слова, что ему не очень-то приятна встреча с представителями власти. Что это, пустая фраза, сказанная в минуту гнева, раздражения, или намек на что-то более серьезное? Кто мог ей рассказать о нем? И что рассказать? В последнее время он малость распустился. Хватит гоняться за юбками. Как говорил мудрейший Борода — женщины никогда и никого не приводили к добру. Случай с Музой Васильевной лишнее подтверждение этому изречению. Ждись же ему тоже ни к чему — зачем лишние хлопоты и постоянный свидетель рядом? Лучше уж, как говорится, как-нибудь...

С такими невеселыми мыслями Юлий Борисович дошел до дома. Он давно жил один — старуха умерла, избавив его от лишних забот. Он кинулся на кровать, но о сне не могло быть и речи. Какие-то смутные чувства тревожили его. Казалось, ничего особенного не случилось. Для тревоги нет причин, а между тем щемило сердце, стучало в висках. Что? Что?.. Пусть красивая, может быть, не совсем обыкновенная женщина отказалась стать его женой. Ну подумаешь — беда какая. Еще что? Она на что-то намекнула, на что именно — сказать трудно. Допустим на

минутку, что эта женщина узнала кое-что о нем. Тоже не беда — такая женщина, как Муза, сочтет ниже своего достоинства доносить. Потом, с какой стати? Чтобы рекламировать свое знакомство с человеком, подозреваемым в... Юлий Борисович не решился дать точное определение своим занятиям в последние годы. Собственно, с чего началось его падение?

Началом всех начал можно считать его знакомство с Шаговым. В этом, разумеется, ничего плохого не было: в условиях тяжелой лагерной жизни человек помог ему всем, чем только мог. Что еще? Ну, дал адрес Казарновского... Справедливости ради следует отметить, что пойти к Казарновскому он очень долго не решался после выхода из лагеря. За эти годы он обнищал, дошел, что называется, до ручки. Сбережения быстро растаяли, все, что можно было продать, продал: картины, ковры, даже пианино. И все же денег не хватало не только на то, чтобы прилично обедать в ресторане с бокалом доброго вина, но даже на хорошие сигареты, не говоря уж о том, что нечем было угостить женщин, разделявших его одиночество...

Что же было дальше?

Ну да, он долго бился над тем, чтобы найти себе хорошо оплачиваемую работу, но напрасно. Вконец отчаявшись, он поехал в Красково к Бороде. Первые операции под руководством такого опытного и всемогущего дельца, каким, без сомнения, был Борода, прошли удачно. Жизнь стала веселее, приятнее. А после возвращения из Львова он стал состоятельным человеком: владельцем десяти золотых монет и ста новеньких хрустящих американских долларов.

Юлий Борисович сам удивлялся той легкости, с которой ему удалось провести операцию по закупке во Львове золота и валюты. Он не подозревал, что в Москве в тот же поезд сел хорошо одетый молодой человек по фамилии Матвеев, что в самом Львове этот молодой человек следил за каждым его шагом и записывал в своей записной книжке фамилии людей, с которыми он встречался. По возвращении в Москву Матвеев позвонил из кабинета оперуполномоченного дороги, доложил кому-то о своем благополучном прибытии и спросил: «Взять его, пока он не успел перепрятать ценности?» На что последовал строгий ответ: «Ни в коем случае. Ценности никуда не денутся, только умножиться могут. Вы поезжайте домой и хорошенько отдохните с дороги, а завтра поговорим обо всем более подробно»...

Когда Юлий Борисович разложил перед Бородой кучу золотых десятирублевых монет и три пачки американских долларов, старик поблагодарил его и выделил его долю — десять золотых, сто долларов.

— Берите, — сказал он и, заметив его смущение, добавил: — Берите, не стесняйтесь, вы их заработали законно. Только спрячьте получше!..

Львовская операция оказалась лишь началом интересных комбинаций. Борода был неисчерпаемо изобретателен. Он каждый раз находил все новые и новые источники дохода.

Как-то вечером они сидели в саду под яблоней и пили чай из самовара. Борода, вздохнув, завел с Юлием Борисовичем странный разговор.

— Люди совсем измельчали, не та эрудиция, не тот вкус...

— О чем это вы, Соломон Моисеевич?

— О том, что не с кем стало работать.

— Непонятно.

— Что тут непонятного? Вот вы человек православной веры, сын истинно русских родителей. Скажите, — спросил Борода, — вы понимаете что-нибудь в иконах?

— Нет, — честно признался Юлий Борисович.

— Жаль, очень жаль. На иконах сейчас можно было бы сделать хорошие деньги. Старинные русские иконы — ходкий товар, дороже золота.

Иностранцы, высунув язык, гоняются за ними днем и ночью, дают за них настоящую цену...

— Где же взять иконы, тем более старинные? — спросил Юлий Борисович. — Не грабить же церкви.

— Зачем грабить? Грабеж и воровство не занятие для делового человека. Не руками, а головой надо работать. Взять есть где, было бы желание.

— А все-таки?

— Видимо, вы, друг мой, невнимательно читаете газеты. Сколько шуму в прессе из-за того, что на Севере разрушаются, исчезают с лица земли старинные церкви с их неповторимой архитектурой. Где церковь — там и иконы. В глуши невежда поп продаст вам любую за бутылку водки. Иконы есть, а вот где найти надежного человека, понимающего в них толк?

— Неужели так уж трудно найти такого человека? — Юлий Борисович был почти убежден, что у старика есть на примете такой человек, иначе он не затеял бы этого разговора.

— Назовите хоть одного, я послушаю вас, — усмехнулся Соломон Моисеевич.

— К сожалению, я не знаком с церковниками и искусствоведами, — ответил Юлий Борисович.

— Есть тут один на примете...

— Кто же он?

— Некто Мотовилов. Бывший богомаз. Сейчас совсем опустившийся человек, пьяница.

— С пьяницами опасно иметь дело.

Борода бросил на него презрительный взгляд: не тебе, мол, меня учить, сам знаю что к чему.

— На белом свете все опасно. Весь вопрос, как взяться за дело. Не скажешь же этому богомазу, что мы ищем иконы для продажи иностранцам. Даже по литературе известно, что интеллигенты, особенно спившиеся, страдают повышенной чувствительностью. Он может на стенку полезть, узнав, что кто-то собирается увезти иконы за границу. Спаси бог, пусть лучше иконы покроются плесенью и погибнут, чем попадут в руки иноземцам!.. Здесь нужен иной подход...

Юлий Борисович отлично понимал, что весь этот разговор и задумчивый взгляд старика — только игра: план операции составлен во всех деталях. И он подыграл с наивным видом:

— Какой же, по-вашему, нужен подход, Соломон Моисеевич?

— Мне представляется возможным следующий вариант...

— Я весь внимание!

— Вы явитесь к богомазу в качестве представителя несуществующего музея старинного русского искусства и скажете ему, мол, так и так, мы слышали о ваших выдающихся способностях и таланте и очень сожалеем, что они не используются для пользы русского искусства. На комплименты в его адрес не скупитесь, учтите, бывшие люди обожают, когда им напоминают об их несуществующих заслугах, и приходят в телачий восторг от похвал. Когда вы убедитесь, что ваши слова произвели впечатление и богомаз размяк и расположен к вам, переходите к делу. Предложите ему за счет музея поехать в командировку на Север для ознакомления с условиями хранения старинных икон, представляющих художественную ценность. При этом вставьте невзначай словечко, что абсолютно не сомневаетесь в его обширных знаниях, и добавьте: если попадутся иконы кисти больших мастеров, находящиеся в скверных условиях, то пусть старается спасти их любой ценой: купить, забрать под расписку и привезти в Москву. Ну как, нравится вам мой план?..

— Очень нравится. Однако я предвижу некоторые трудности. Ну,

скажем, потребуется удостоверение или справка о том, что ваш богомаз является сотрудником какого-то музея, потом командировочные по всей форме, бланки для расписок...

— В чем же трудности?

— Где взять все это?

— Большое дело — какие-то удостоверения и бланки... Люди паспорта делают, фальшивые деньги печатают, а тут мелочь... Все это будет в лучшем виде. Эту часть дела я возьму на себя.

— Вы до сих пор не сказали, как зовут вашего богомаза и где его можно найти?

— Зовут его Иннокентий Николаевич Мотовилов, живет он в нашем же поселке, несколько улиц от меня. К нему лучше зайти утречком, к вечеру он обычно бывает под хмельком.

— Хорошо, я навещу его завтра утром.

— Не забудьте передать Мотовилову, что кроме оплаты расходов по командировке, он получит еще зарплату старшего научного работника.

— Понял. Да, вот еще: куда должен сдавать богомаз иконы, если он их добудет?

— Привезти их к себе домой. Потом уж, если все пройдет гладко, к нему подкатит пикап и увезет иконы куда следует. Все это вопросы будущего, и не кажется ли вам, уважаемый Юлий Борисович, что мы с вами начали делить шкуру неубитого медведя?..

Вспоминая все это, Юлий Борисович зевнул, повернулся на другой бок. Заснуть не удавалось: мешала луна, заглянувшая в окно.

Бывший богомаз Мотовилов!.. Сколько было с ним возни, и все же он, Юлий Борисович, сумел обвести его вокруг пальца.

Облик этого человека постепенно ожил перед его взором. Маленький, шупленький, худой, с длинными волосами и бесцветными глазами, богомаз являл собой редкий экземпляр — давно вымершую породу юродивых. Однако дело свое знал.

В то утро Мотовилов был трезв, хотя от него разило спиртным.

— Какой из меня знаток старинной живописи? — сказал богомаз в ответ на комплименты Юлия Борисовича. — Я давным-давно позабыл все и пришел к заключению, что истина в вине. Хотите выпить? — спросил он. — У меня отличный самогон-первач, а вот насчет закуски бог миловал. Если хотите выпить чего-нибудь получше, скажем, столичную или коньяк, сбегайте в магазин, у меня денег нет ни гроша.

— Спасибо, Иннокентий Николаевич, я по утрам не пью.

— Чем же тогда занимаетесь по утрам?

— Работаю.

— Ну да, правильно, работа дураков любит!.. Вот возьмите к примеру меня. Сколько я проработал за свою жизнь, сколько икон, каких только святых и богородиц не писал, а толк какой? Чего я достиг?

Узнав, что на Севере гибнут ценные иконы, Мотовилов опечалился, и разговор пошел по нужному Юлию Борисовичу руслу. После долгих уговоров он наконец согласился поехать на Север и спасти ценные иконы.

Борода достал нужные документы. Мотовилов написал расписку в получении аванса в счет будущей зарплаты. Прежде чем пуститься в дальний путь, он купил себе костюм, ботинки, летнее пальто, черную фетровую шляпу. Глядя на себя в зеркало, он расчувствовался, даже прослезился:

— О господи, неужели я опять становлюсь человеком? — воскликнул он и дал Юлию Борисовичу клятвенное обещание, что поручение музея выполнит. И действительно — дней через двадцать он вернулся из командировки и привез с собой восемнадцать редчайших икон. Некоторые из них были частично испорчены. Возник вопрос о реставрации.

— Я сам займусь этим, вы только достаньте мне краски и набор кистей, остальное — моя забота!

Бывший богомаз был оживлен, много рассказывал о виденном на Севере и, как ни странно, стал меньше пить.

Закончив реставрацию нескольких икон, Мотовилов снова поехал на Север и на этот раз привез двадцать две иконы, одну из них, по его мнению, работы Рублева.

— Захожу в плохонькую церковь и не верю глазам, — рассказывал он, — гляжу, висит на алтаре вот эта, почерневшая от времени икона. Я сразу смекнул: Рублев, по манере письма узнал. Разумеется, никому ни слова. Вечером с попиком изрядно выпили, конечно, за мой счет, поговорили о духовном и подружились. На утро я попросил попа подарить мне на память о нашей встрече вот эту маленькую икону. Поп с готовностью выполнил мою просьбу. И еще много работ я у него купил. Вы поглядите, что за иконы, им цены нет!

Спустя примерно два месяца, когда реставрация второй партии икон подходила к концу, Борода сказал Юлию Борисовичу, что нашел надежное место, куда можно переправить иконы, и дал адрес какой-то Софьи Павловны. Юлий Борисович поехал к ней для предварительного знакомства.

Поседевшая, с трясущейся головой старуха, несмотря на свои преклонные годы, была еще сравнительно бодрой. Жила она в отдельной двухкомнатной квартире у Сретенских ворот. Софья Павловна сообщила, что до революции они занимали весь дом, потом этаж, а после смерти ее мужа, дворянина и директора коммерческого банка, оставили ей эти две комнаты. «Слава богу, что хоть так. Могли вовсе выбросить на улицу, как делали новые власти со многими хорошими семьями», — сказала она.

Иконы были спрятаны в надежном месте, а ничего не подозревавший Мотовилов уехал на Север в третий раз. Там он простудился, вернувшись в Москву, заболел и вскоре умер.

— Нам везет, — сказал Борода. — Со смертью богомаза исчезла всякая опасность разоблачения... Хороший был старик, царство ему небесное, — поработал на нас безропотно, достал семьдесят восемь ценнейших икон. Лично я не дал бы за них ломаного гроша, но мы заработаем на иконах сотни тысяч рублей. — И спросил, знает ли Юлий Борисович иностранные языки.

— Немного. В школе учили французскому, а в институте английскому.

— Купите учебник английского разговорного языка и занимайтесь. Пригодится!..

Это было последнее, о чем вспомнил Юлий Борисович, засыпая под утро...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В коридоре фабрикоуправления, на доске, висел приказ директора комбината о премировании инженера-конструктора Косарева Л. И. месячным окладом. Проходящие мимо читали приказ, улыбались, словно перед ними стоял сам живой Леонид. На комбинате его любили, добродушно подтрунивали над тем, что отныне он не просто конструктор, а инженер-конструктор, хотя всем это нравилось — звучало как-то весомо, солидно.

Телефон у Леонида трещал целый день — его поздравляли цеховые работники, инженеры, мастера, рабочие, желали ему всяческих успехов. Мастер Степанов пожелал ему хорошую жену и полдюжины ребятишек, чтоб было куда девать деньги.

«А ведь и на самом деле — пора честно и серьезно поговорить с ней,— подумал Леонид.— Где я найду лучше и красивее жену, чем она? Теперь-то я знаю, что небезразличен ей... Допустим на минутку, что Муза согласится стать моей женой. А куда я ее поведу? Разговоры о том, что с милым и в шалаше рай,— пустое. Не могу же я предложить ей половину комнаты и диван со скрипучими пружинами? Есть, правда, другой выход. Перебраться к ней... Нет, на такое я не соглашусь: мужчина должен привести жену к себе домой!..»

Только к пяти часам Леонид вспомнил, что нужно получить деньги, и побежал в контору. В коридоре он столкнулся с директором и счел необходимым поблагодарить его.

— Алексей Федорович, я очень признателен вам за премию,— сказал он и хотел было пройти мимо, но Власов взял его под руку и затащил к себе в кабинет.

— Садись, Леонид, рассказывай, как у тебя идут дела? — Сам Власов был в прекрасном настроении.

— Идут помаленьку,— ответил Леонид, садясь в кресло,— чертежи монорельса, за исключением второстепенных узлов, готовы. К концу месяца сдадим чертежи и на детали всех процессов малой механизации. Мои помощники, студенты, толковые ребята и работают на совесть.

— Очень хорошо,— сказал Власов и спросил: — А как дома?

— Алексей Федорович, я снова пользуюсь случаем, чтобы сказать вам: мне нужна квартира!

— Я же обещал тебе на будущий год...

— А если я не могу ждать целый год?

— Жениться, что ли, собрался?

— Хотя бы и так...

— Год — срок небольшой, если любит, подождет. Показал бы нам свою девушку.

— Давайте квартиру и приходите на свадьбу.

— Хитрый какой!..

По дороге домой Леонид зашел в гастроном, купил закусок, вина, торт, пирожных и конфет для детей. Дома разложил покупки на столе. Милочка ахнула.

— Ну, купец Иголкин явился! Зачем было тратить столько денег?

— Затем, чтобы доставить своей бесценной сестре и ее одаренным младенцам радость!

— Разбогател?

— Ты можешь гордиться своим братом: его гениальные мысли превращаются в жизнь и принимают форму материальных ценностей. Принимая во внимание его необыкновенную скромность и легко ранимую натуру, общество воздерживается от воздаяния ему особых почестей и вместо этого вознаграждает премией в размере месячного оклада, но учитывая его вклад в общее дело прогресса текстильной промышленности, в частности успехов камвольного комбината, дают ему еще пол-оклада. Надеюсь, я выразился предельно ясно?

— Вот и купил бы себе пальто. Скоро зима, а тебе надеть нечего — демисезонное пальто совсем истерлось...

— Милая, хорошая сестра, до чего же ты прозаична! К черту житейские заботы, когда у меня на сердце — музыка!

— Слушай, а может, ты влюбился?

— Почему бы и нет?

— Прекрасно!.. Надеюсь, это тебе не помешает пообедать. Иди умойся, я покормлю тебя. Ну, живет: у нас сегодня будет гостя — мать Власова, Матрена Дементьевна.

— Молодчина старуха — не забывает нас!

— Не столько нас, сколько Сергея. А он поздно вернется.

— Почему?.. Ах да, сегодня собрание районного партийного актива. Вот уж наговорятся вдоволь...

— Не понимаю, над кем ты издеваешься и зачем?

— Не издеваюсь. Пытаюсь говорить правду. Сергей ведь не только твой муж, но и мой закадычный друг. Был человек как человек, умел шутить, даже веселиться. И поговорить с ним можно было, а теперь стал ходячей моралью. Чуть что — читает нотацию, всех учит уму-разуму, как будто люди без него заблудятся и не найдут прямой дороги...

— Ты говоришь глупости, — слышался голос Ивана Васильевича из-за занавески. Он подкатил свою коляску, остановился против сына. — Ты, брат, становишься совсем аполитичным человеком!

— Разве политика заключается только в словах? А то, что я работаю по мере своих сил и способностей, ничего не стоит?

— Ты пойми: самая трудная работа — воспитание человека...

Пришла Матрена Дементьевна, и спор прекратился. Леонид помог ей раздеться.

— Вы, Матрена Дементьевна, совсем не стареете — видно, знаете секрет молодости!

— А вот и знаю!

— В чем же он заключается?

— В душевном покое, — ответила старуха, — без суеты и угрызений совести, вот и не стареешь, да и смерти не боишься!

За столом она была оживлена, рассказывала о своем житье-бытье.

— А как Анна Дмитриевна — невестка ваша? Уживаетесь вы с ней? — спросил Иван Васильевич.

— Чего ж не уживаться? Она женщина хорошая, и о муже заботится... Такие мне нравятся!

— Ну, плохих людей у вас не бывает, — сказал Иван Васильевич.

— Как сказать... Вообще-то совсем плохих людей не бывает. Для тебя плох, а для другого, глядишь, хорош. Взять того же Баранова, бывшего главного инженера комбината, или начальника главка Толстякова. Сколько они крови выпили у Алексея, даже из квартиры хотели нас выбросить!.. А говорят, тот же Баранов семьянин хороший, над своими детишками дрожит что насадка. А Толстяков? Не живет, а мучается... Алексей, неугомонная душа, покоя не знает — недаром в фабричной казарме родился...

— Вы можете гордиться своим сыном, — сказал Леонид.

— Я и горжусь, — спокойно ответила Матрена Дементьевна. — Радарадехонька, что вырастила такого. Выходит, недаром жила на свете.

Милочка подала на стол большой пирог.

— А это Матрена Дементьевна испекла, — сказала она.

— Алексею Федоровичу легко быть энергичным — он вон какие пироги ест! — сказал Леонид, выбирая кусок побольше.

После чая Матрена Дементьевна ушла, так и не дождавшись Сергея.

Иван Васильевич попросил Леонида сыграть с ним партию в шахматы. Леонид нехотя сел за доску. Он думал о Матрене Дементьевне и потому делал неверные ходы.

— Ты что, спишь или играть разучился? — рассердился Иван Васильевич.

— Просто из головы не выходит Матрена Дементьевна, — ответил Леонид, откидываясь на спинку стула. — Вот человек! Она ведь пожертвовала всем — материальным благополучием, личным счастьем, чтобы вырастить чужого ей мальчика. Все знают, что Алексей Федорович не родной ей сын. Но лучшей матери трудно себе представить. Вот настоящий подвиг, не оцененный никем...

— Верно, нет подвига на свете, равного материнскому... Бывают, конечно, исключения, — Иван Васильевич помрачнел...

Леонид заметил это и сразу понял: отец вспомнил Ларису Михайловну. Чтобы отвлечь отца от невеселых мыслей, торопливо сказал:

— Твой ход, папа!

Сергей пришел поздно, в одиннадцатом часу. С жадностью набросился на пирог, был оживлен, взволнован.

— Ну и собрание сегодня было! А как Алексей Федорович выступил! Жаль, тебя не было, Леня!

— Почему именно меня?

— Потому что ты многого не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь!..

Он рассказал, что секретарь райкома Сизов, докладывая об итогах работы промышленности за полугодие, сказал много хороших слов в адрес комбината и пояснил, что от того, насколько успешно справится комбинат с опытом нового метода планирования и работы по-новому, будет зависеть будущность всей промышленности. А Власов, рассказав о задачах, стоящих перед комбинатом, перешел к конкретным делам и, не тая ничего, рассказал о трудностях, просил директоров заводов района помочь в первую очередь изготовить детали для малой механизации. «Обращаюсь к вам еще с одной трудно выполнимой просьбой — изготовьте для нас монорельс и тем самым избавьте грузчиков и таскальщики от необходимости таскать на себе по цехам огромные тяжести. Проект и чертежи у нас есть, их подготовил наш молодой талантливый инженер-конструктор Косарев...»

— Так и сказал? — спросил Леонид.

— Представь! Даже такого человека, как Власов, ты ввел в заблуждение — умеешь пыль в глаза пускать!

— Будет вам заниматься словесной баталией! — вмешался Иван Васильевич. — Слово дети!

Долго еще в тот вечер сидели все за столом. И Леонид, поглядывая то на отца, то на сестру, то на Сергея, думал о том, что вот это и есть его семья, его дом. И нелегко будет ему с ними расстаться...

Главный инженер Матвей Васильевич Терентьев оказался человеком аккуратным и дотошным. Он вплотную занялся цеховым хозрасчетом — самым трудным и запутанным участком, как говорили на комбинате. Составлял инструкции, проекты договоров, устанавливал размеры санкций за невыполнение цехами тех или иных обязательств и пунктов договора. Особенно ревностно следил он за качеством продукции. После долгой и кропотливой работы, сопровождаемой спорами до хрипоты не только с заведующими фабрик, начальниками цехов, но и с Шустрицким и Варочкой, наконец все было улажено и цеха впервые завоевали право получать прогрессивку по итогам только своей работы, независимо от показателей комбината в целом.

Часть инженерно-технических работников ушла с комбината, другие заменили мастеров-практиков. Здесь дело не обошлось без серьезных тренировок с фабкомом.

Председатель фабричного комитета Капралов, подстрекаемый любителями громких фраз, вдруг встал в позу правдолюбца и начал кричать на всех перекрестках, что на комбинате грубо попираются права профсоюза, что директор комбината Власов становится диктатором — делает все, что захочет, ни с кем не считаясь.

Капралов, почувствовав себя защитником обиженных, а по сути дела наименее квалифицированных специалистов, которые не нашли себе применения при перестройке работы комбината, составил внушительный список уволенных за последние три-четыре месяца инженеров, техников и служащих. Он перенес конфликт сперва в центральный комитет профсоюза текстильщиков, в МГСПС и, не найдя там поддержки, обратился

в ВЦСПС. Никакие уговоры Сергея Полетова и самого Власова не помогли. Капралов, что называется, закусил удила. Он возражал против любых мероприятий, связанных с перестройкой.

По итогам работы за третий квартал комбинату перечислили сто сорок семь тысяч рублей в фонд предприятия. Деньги эти можно было расходовать по согласованию с партийной и профсоюзной организациями. Власов пригласил к себе Полетова и Капралова и предложил израсходовать тридцать тысяч рублей на окончание строительства нового корпуса, десять тысяч рублей на оплату расходов по малой механизации, пятнадцать тысяч на монорельс, пятьдесят тысяч выделить на жилищное строительство, пятнадцать тысяч на премирование особо отличившихся работников и двадцать пять тысяч зарезервировать.

Капралов не согласился ни с одним из этих предложений Власова, а на вопрос директора, что же предлагает он сам, упорно молчал.

— Но вы поймите, Федор Федорович, что так работать невозможно. Допустим, в чем-то я не прав, в чем-то ошибаюсь — поправляйте! И выскажите, наконец, свои соображения!..

— Я с вами ничего обсуждать не буду — пусть решают вышестоящие профсоюзные организации, — ответил Капралов.

— Это по меньшей мере странно! Никто работать и решать за нас не станет! — Власов начал горячиться, и Капралов немедленно воспользовался этим.

— Товарищ директор, я вам не подчиняюсь, и вы не имеете права так разговаривать с представителем профсоюзной организации! — сказал он и встал.

— Постойте минутку, — удержал его Власов, — сделайте одолжение, подскажите, как следует разговаривать с вами лично, товарищ Капралов. Как разговаривают с представителем профсоюзной организации, я знаю неплохо.

— Мне здесь больше нечего делать! — Капралов направился к двери. Сергей преградил ему дорогу.

— Ну, знаешь, Федор Федорович, ты ведешь себя не как председатель фабкома, а как капризная барыня!.. Если ты не опомнишься и не будешь помогать в работе, мы созовем собрание членов профсоюза и с треском снимем тебя с поста председателя фабкома.

— Руки коротки! — бросил Капралов и вышел из кабинета.

— Старик просто взбесился, — сказал Сергей. — Нет, это не дело! Я пойду в МГСПС и буду жаловаться на Капралова — пусть приведут христианские чувства своего деятеля! Но, должен сказать, Алексей Федорович, что я не во всем согласен и с вами!..

Власов внимательно посмотрел на Сергея.

— Интересно знать, в чем секретарь парткома не согласен со мной?

— Давайте будем с вами откровенны. Конечно, Капралов ведет себя неправильно, не по-деловому, но кое в чем он прав. Нельзя сокращать людей, не позаботившись об их трудоустройстве. Вы представляете себе, что получится в масштабе всего государства, если перестройка промышленности будет сопровождаться массовыми сокращениями специалистов и служащих?

— Действительно, проблема!.. Сократят в одном месте — найдут работу в другом.

— Это — сейчас. А если так будет повсюду? Потом, разве правильны рассуждения — на тебе, боже, что нам не гоже?

— Не знаю, Сергей... Ты у нас известный гуманист, а я всего-навсего директор комбината и думать в масштабе всего государства не умею...

— А по-моему, обязаны, — перебил Сергей Власова. Это было впервые, что они в чем-то разошлись, и оба чувствовали себя неловко.

— Вот, даже обязан! — Власов возражал секретарю парткома, хотя

и понимал шаткость своих позиций. Вместе с тем он любовался им. Молодой коммунист Сергей Полетов, убежденный в своей правоте, не боялся возражать директору комбината, который по существу воспитал и вырастил его.

— Ну да, обязаны! Разве это правильный взгляд — только со своей колокольни? Впрочем, я убежден, что вы все это понимаете не хуже меня!..

— Понимать-то понимаю, но знаешь, Сергей, хочется сделать все побыстрее. Потом, правду тебе сказать, зло берет на бездельников, стремящихся вырвать как можно побольше для себя и дать поменьше... А мы подобных типов здорово избаловали, у них везде находятся защитники!

Сергею не пришлось идти в МГСПС жаловаться на Капралова. В тот же день на комбинате появилось сразу две комиссии: одна из ВЦСПС, другая из МГСПС. Члены комиссии первым делом заперлись с Капраловым в фабкоме и о чем-то долго беседовали. Потом стали вызывать к себе людей — в первую очередь недавно уволенных с комбината. Сергей решил пока не вмешиваться в работу комиссий, а Власов просто не придавал им значения, полагая, что представители авторитетных профсоюзных организаций сами, без чужой подсказки, разберутся во всем. Правда, порою Власова раздражало то обстоятельство, что комиссии, работая параллельно, беспрестанно вызывают людей из цехов и отрывают их от работы. Но до поры до времени он терпел.

Как-то днем ему срочно потребовалась справка о загрузке ткацких станков. Он позвонил главному диспетчеру комбината. Того на месте не оказалось — его вызвали на комиссию минут сорок тому назад. Власов подождал минут двадцать и снова позвонил, диспетчера все еще не было. Тогда он пригласил руководителей обеих комиссий к себе.

Явились они одновременно. Власов, усадив их в кресла, обратился к ним с вопросом:

— Насколько мне известно, руководимые вами комиссии занимаются одним и тем же вопросом. Не целесообразнее ли вам объединиться?

— Мы представляем разные организации и обязаны доложить результаты обследования своему руководству, — ответил руководитель комиссии ВЦСПС.

А руководитель второй комиссии в свою очередь спросил:

— Собственно, почему это вас тревожит?

— Тогда бы вы меньше отрываете людей от работы! — откровенно ответил Власов.

— Нам предоставлено право приглашать к себе любого работника для беседы, в том числе и вас, — сказал руководитель комиссии МГСПС.

— Возможно... Я вовсе не собираюсь оспаривать ваши права, но мне кажется, что правами тоже нужно пользоваться разумно. Вот сегодня вы вызвали к себе в разгар рабочего дня главного диспетчера и на целый час обезглавили диспетчерскую службу комбината. Мыслимое ли это дело?

— Что же прикажете — сидеть здесь сутками? Не забывайте, что члены комиссии тоже трудящиеся! — Руководитель комиссии МГСПС оказался человеком агрессивным. Представитель же ВЦСПС молчал.

— Вы вправе организовывать свою работу как вам угодно. Я прошу только об одном: не отрывать людей от работы. Иначе... — Власов не договорил.

— Что иначе? — спросил на этот раз представитель ВЦСПС.

— Запрещу всем являться к вам в рабочее время.

— Вы отдаете себе отчет в своих словах?

— Вполне. По-моему, всякое обследование направлено к тому, чтобы помочь предприятию улучшить работу, а не мешать ей.

— И исправлять ошибки! — вставил представитель МГСПС.

— Разумеется. Исправлять ошибки, если они имеются.

— Вы что же, уверены, что у вас нет ошибок?

— Ни в коем случае! Думаю, что есть, и в достаточном количестве. Но не там, где вы ищете.

— Откуда вы знаете, где и что мы ищем?

— Сужу по тому, кого вы вызываете и какими методами работаете.

— Товарищ директор, короткая беседа с вами убеждает нас в том, что Каприлов прав,— видимо, вы действительно зазнались и считаете себя единовластным хозяином комбината! — сказал представитель ВЦСПС.— Вдумайтесь в те слова, которые вы только что произнесли: «Запрещу! Не мешайте работать!..»

— Я свое мнение высказал. Вы можете делать какие угодно выводы. Убежден, что наверху найдутся разумные люди и во всем разберутся. Хочу еще раз предупредить вас, что пока я здесь директор, никому не позволю дезорганизовать нашу работу! До свидания.— Власов встал.

Руководители комиссии переглянулись и молча вышли. Власов, оставшись один, в который раз подивился тому, что ни одно крупное дело не обходится без ненужных осложнений. Были осложнения с представителями госконтроля, а вот теперь — с руководителями комиссий профсоюзов. Эти двое убеждены в своей безгрешности, их задача во что бы то ни стало защитить низовых работников профсоюзов и призвать к порядку хозяйственников.

Не успела утихнуть горечь от столкновения с профсоюзными деятелями, как разгорелся новый конфликт.

Все началось с пустяков. На комбинат поступила телефонограмма, извещающая, что директора комбината Власова А. Ф. и главного бухгалтера Варочку С. Я. вызывают к заведующему райфо ровно в одиннадцать часов утра следующего дня.

Власов позвонил по телефону и, сославшись на свою чрезмерную занятость (что соответствовало действительности), попросил заведующего прислать на комбинат своего работника и на месте решить все интересующие его вопросы. Но тот оказался неумолимым и настоял на своем.

Делать было нечего. На следующий день Власов и Варочка явились в райфинотдел ровно в одиннадцать часов, но в кабинет заведующего их не пустили, предложили подождать. Ждали они более двадцати пяти минут. Власов подошел к девушке, охраняющей двери кабинета.

— Прошу доложить, что мы больше ждать не можем. Вызвали нас к одиннадцати, а теперь половина двенадцатого.

— Нельзя,— невозмутимо ответила девушка,— похоже, вести подобные разговоры ей было не впервой.— Там заседание.

— Когда кончится?

Девушка не ответила, только пожала плечами.

Опустившись опять на стул рядом с Варочкой, Власов спросил:

— Скажите, Сидор Яковлевич, вы хоть догадываетесь, зачем вызвали нас сюда?

— Полагаю, что речь пойдет о налоге с оборота, по которому мы плана не выполнили...

Им пришлось ждать еще минут пятнадцать, прежде чем их вызвали в кабинет.

Из-за большого письменного стола, заваленного папками, виднелась только голова заведующего райфинотделом.

Подойдя к столу, Власов спросил как можно спокойнее:

— Почему вы заставили нас ждать более сорока пяти минут? Вы думаете, мы бездельники и можем тратить время попусту?

— Извините, не рассчитали — заседание неожиданно затянулось,— вежливо ответил заведующий, чем сразу обезоружил Власова.— Мы имеем к вам большие претензии,— продолжал он.— Уйдя из-под нашего контроля по штатам, вы, видимо, вообразили, что вообще никакие порядки и положения для вас не обязательны.

— Мне хотелось бы вести более предметный разговор,— сказал Власов.

— Пожалуйста!.. Давайте перейдем к конкретным делам. Вас освободили от регистрации штатов в финансовых органах, и вы самовольно повысили зарплату инженерно-техническим работникам. Неужели вам непонятно, что этим самым вы нарушаете единую систему зарплаты для отдельных отраслей промышленности? Более того, известно ли вам, что руководимый вами комбинат во второй и третий кварталы текущего года недодал государственному бюджету более двухсот пятидесяти тысяч рублей?

Варочка незаметно толкнул Власова локтем.

— Разумеется, известно.

— Что же вы думаете по этому поводу?

— Прежде чем говорить об этом, мне бы хотелось дать некоторые разъяснения. Действительно, некоторым категориям работников мы увеличили зарплату, но зато сократили большое количество специалистов и сэкономили более тридцати процентов по зарплате. Скажите, что выгоднее государству — держать большие штаты ненужных работников или, сократив их, увеличить зарплату тем, кто действительно нужен?

— Проблема зарплаты настолько сложна — она связана со множеством побочных факторов, — что не нам с вами ее решать! — сказал заведующий райфинотделом.

— Опять та же песня: за нас думают!.. Вот мы, вопреки таким утверждениям, стараемся помочь решить эту, как вы говорите, сложную проблему своим скромным опытом. Потом вам, видимо, известно, что, начиная с мая, на нашем комбинате введен новый порядок планирования и резко изменен ассортимент выпускаемой продукции — сейчас мы производим главным образом легкие и дешевые ткани. А чем дешевле товар, тем меньше начисляется налог с оборота. Правда, за последние месяцы нам удалось увеличить объем выпускаемой продукции на семнадцать — восемнадцать процентов, но сами понимаете, что это не может компенсировать наши потери.

— Я не вправе вникать ни в какие объективные причины, нам никто не уменьшает размер поступления в бюджет. Как по-вашему, — учителям, врачам, работникам детских садов и яслей, родильных домов зарплату платить надо? Надо. Учреждения содержать надо? Надо. Где же возьмем деньги, если промышленные предприятия не будут выполнять свои обязательства?

— Видимо, вам придется уменьшить на это время резервы и искать дополнительные источники дохода. Впрочем, вряд ли вы нуждаетесь в моих советах.

— Хочу вас предупредить, что мы не можем допустить такого положения, при котором на комбинате неудержимо увеличивается зарплата, выплачивается работникам прогрессивка, образуется фонд предприятий на колоссальную сумму, в то время как государственный бюджет недополучает почти четверть миллиона рублей. Если в самое короткое время вы не исправите положения, то мы вынуждены будем возбудить ходатайство перед вышестоящими финансовыми органами об обращении суммы фонда директора в доход государства, а в дальнейшем вообще приостановить образование такого фонда до тех пор, пока вы полностью не рассчитаетесь с государственным бюджетом.

— Посмотрим,— сказал Власов и встал.

— Посмотрим,— ответил заведующий районным финансовым отделом не без иронии.

На улице вовсю сияло августовское солнце, и после затхлого воздуха канцелярии дышалось особенно легко. Власов вздохнул полной грудью, и положение показалось ему не таким уж безвыходным. Он взглянул на мрачное лицо Варочки, улыбнулся.

— Не вешать носа, Сидор Яковлевич! И не из таких положений выходили — выкарабкаемся и на этот раз.

— Обидно, — односложно ответил старый бухгалтер.

— Конечно, обидно. Но из-за этого не стоит опускать руки. Скажите, что следует предпринять, чтобы опередить этого чинушу?

— Прежде всего спастись деньги фонда предприятия.

— Каким образом?

— Позвоним из автомата на комбинат, чтобы кассир приехал в банк с чековой книжкой и формой банковского поручения, и сами поедem туда же. Чтобы ускорить дело, машину пошлем за кассиром! — Варочка посмотрел на часы. — До закрытия банка еще целых сорок минут, успеем! — сказал он.

В приемной отделения Госбанка сели втроем за стол, заполнили чеки и формы поручения. Тридцать тысяч рублей поручили перечислить строителям для окончания нового корпуса, пятьдесят тысяч на текущий счет Мосстроя, хотя никаких договоров на строительство жилого дома еще не успели заключить. По этому поводу Варочка глубокомысленно заметил, что в крайнем случае деньги вернутся обратно, а за это время что-то решится. На премирование вместо пятнадцати выписали чек на тридцать тысяч рублей с тем, чтобы иметь возможность заплатить заводам за заказанные детали или, на худой конец, вернуть банку пятнадцать тысяч наличными.

Прежде чем покинуть здание банка, Власов счел необходимым зайти к управляющему и чистосердечно рассказать ему о случившемся.

Управляющий одобрительно кивнул головой.

— Правильно поступили! Иначе вы рисковали остаться без денег. Дело в том, что, получив указание райфинотдела, мы обязаны временно закрывать тот или иной счет наших клиентов, — пояснил он.

Из дневника Сергея Полетова

24 августа

Должно быть, у меня нет необходимых данных, чтобы быть руководителем партийной организации — тем более такой большой, как наша. Иногда возникают настолько сложные ситуации, что не знаю, как поступить.

Взять хотя бы инцидент с Капраловым. Некоторые коммунисты считают, что он во многом прав. И упрекают меня за то, что я будто бы по-такаю Власову и не возражаю ему даже тогда, когда в этом есть явная необходимость. Быть может, они и правы, не знаю... Не то что люди относятся к Власову плохо, вовсе нет, но они считают, что всякому человеку свойственно ошибаться. На то и партийная организация, чтобы вовремя уберечь его от ошибок...

Разумеется, есть на комбинате работники и коммунисты, тоже настроенные по отношению к Власову критически, а иногда даже враждебно. Всем ведь не угодишь!.. Мне кажется, что некоторые попросту завидуют ему. Власов не только талантлив — он еще везучий мужик, родился под счастливой звездой. За что ни возьмется — все спорится в его руках. И руки крепкие, умелые!..

Да и как мне выступать против Власова, когда я люблю его, часто восхищаюсь его умением заразить людей своей энергией. Не говоря уже о том, что Алексей Федорович — мой настоящий учитель.

Не понимаю — разве задачи партийных организаций заключаются только в том, чтобы вступать в конфликт с хозяйственными руководителями по тому или иному поводу? А разве не следует помогать им, когда они правы? По-моему, необходимо. Мы ведь делаем общее дело...

27 августа

Вот и пришлось поспорить с Алексеем Федоровичем!.. Порою мне кажется, что он, увлекшись перестройкой работы комбината, иногда перегибает палку. Если тебе предоставили большие права, то это вовсе не значит, что ты можешь делать все, что захочешь,— в частности, выбрасывать людей на улицу. Хорошенькое дело: перестройку промышленности затеяли во имя человека, а о человеке-то забыли!..

Признаться, после спора с Алексеем Федоровичем я ходил целый день как в воду опущенный, словно сделал что-то скверное, хотя и знал, что правда на моей стороне.

Был бы Сизов в райкоме, пошел бы к нему посоветоваться. Но он ушел от нас, а нового секретаря я вовсе не знаю...

29 августа

...Утром встретился с Власовым. Он улыбнулся мне как ни в чем не бывало и сказал: «Знаешь, Сергей, я вчера ночью долго думал о нашем разговоре. Скорее всего — ты прав. Я успел поговорить с текстильным управлением и работниками райкома партии — нужно позаботиться и устроить на работу сокращенных с нашего комбината».

И отлегло от сердца. Алексей Федорович еще раз доказал, что он большой руководитель, а не зазнайка, как думают о нем некоторые.

31 августа

Был в ночной смене и очень рад, хотя и устал сильно. Как и нужно было ожидать, к рассвету простой станков резко увеличились, всем хотелось спать. В курилке застал трех молодых поммастеров, спящих на узких скамейках. Мастер разворчался, что ночью с молодежью просто беда. Все утверждает, что молодежи в ночных сменах труднее, чем старикам. Может быть и так, не знаю. Когда я работал в красилке, мне тоже было тяжело по ночам, но я никогда не спал.

В половине пятого утра буфетчицы в белых халатах прикатили в цеха тележки с чаем, бутербродами и кофе. Люди оживились, было такое впечатление, что они проснулись от сна, и работа пошла в привычном темпе. Такой пустяк, казалось бы, а бодрит. На себе испытал.

Конечно, мое знание работы ночных смен поверхностно, но и его достаточно, чтобы понять — в них еще много неиспользованных резервов. Станки загружаются не полностью, то одного не хватает, то другого, а мастера смотрят на недостатки сквозь пальцы. Лучший был бы выход — ликвидация ночных смен. Как было бы хорошо перейти на восьмичасовой рабочий день с двумя выходными, вот тогда можно свести ночные смены почти на нет! Это особенно важно для женщин. А у нас на комбинате работает семьдесят процентов женщин. Чего греха таить — ночью работать тяжело и для здоровья вредно. Нужно уделять ночным сменам больше внимания.

Если уж зашла речь о ночных сменах, остановлюсь еще на одном курьезном факте. Казалось бы — какие могут быть столкновения в таком благородном деле, как бесплатные завтраки для работающих в ночных сменах. А между тем они имели место, да еще какое! Самое удивительное, что против завтраков восстали ответственные профсоюзные деятели. Про наш комбинат начали говорить, что мы не знаем, куда деньги девать, — стали бесплатной кормить рабочих, делаем вид, что живем при коммунизме: получай все по потребностям!..

Глупо, смешно, но Власова стали обвинять в том, что он своими действиями вносит раздор в дружную семью текстильщиков, подрывает

авторитет руководителей других фабрик, старается завоевать себе дешёвый авторитет за счет фонда предприятия, и требовали немедленно прекратить выдачу бесплатных завтраков.

Алексей Федорович спокойно попросил назначить авторитетную комиссию и разобраться во всем на месте. Комиссия, к счастью, поняла суть дела. Все кончилось хорошо, а на душе противно — осадок остался неприятный. Этак недолго отбить у людей всякую охоту делать что-то новое, непривычное для глаз и ушей начальства.

Вчера вернулись ребята, в доме стало весело. Трофим стал совсем большой. Завтра ему в школу.

По случаю начала учебного года Леонид притащил уйму подарков Трофиму — все солидные, деловые вещи: кожаный портфель, пластмассовый пенал с каким-то абстрактным рисунком, цветные карандаши, школьная авторучка, тетрадь для рисования. А Татке — шелковое платье, белые с красным туфельки. Наша маленькая кокетка любит повертеться перед зеркалом!..

Детские сады хотя и вернулись в город, но откроются дней через пять-шесть — идет не то ремонт, не то подготовка к приему детей. Так повторяется каждый год. Никому до этого нет дела, а работающим матерям — горе. Малышей-то в эти дни девать некуда. Вот и у нас: Милочка уходит в школу к восьми часам, я бегу на комбинат еще раньше...

5 сентября

...Наконец на комбинат поступил один экспериментальный экземпляр бесчелночного, бесшумного ткацкого станка, сконструированного Власовым. Правда, станок этот работает пока еще неважно, но главное — он перспективный. Я не ткач, мне судить трудно, однако специалисты утверждают в один голос, что это — станок будущего.

Уже одно то, что он избавляет ткачих от страшного грохота, от профессиональных болезней — глухоты и нервного расстройства, — великое дело. Главный плановик Шустрицкий подсчитал, что оснащение нашего комбината такими станками освободит целый зал ткацкого цеха и даст возможность установить дополнительно сто сорок станков.

10 сентября

С некоторых пор у нас на складе готового товара пусто. Каждое утро, по графику, к нам приезжают представители торгующих организаций и забирают выработанный за предыдущий день товар. Наши ткани не залеживаются на прилавках, покупают их охотно. Еще бы не покупать! Они красивы, недороги, отвечают разным вкусам.

На днях я стал свидетелем интересного явления. Наш юрисконсульт, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к производству, бегал по красивым-отделочной фабрике, шумел и бушевал, требуя выполнения плана строго по графику и согласно расписанному ассортименту. Наконец он поймал заведующего фабрикой и прочитал ему нотацию:

— Прошу вас не забывать, что сейчас у нас прямые договора с магазинами тканей и базой Текстильторга на поставку товара не только по количеству, но и по рисункам и расцветкам. По вашей вине торгующие организации буквально разденут нас штрафами, пустят по миру!

— Дайте нам суровые по рисункам и нужные красители, тогда и спрашивайте. А так... — заведующий фабрикой развел руками.

Конечно, хорошо, когда за план болеют даже юрисконсульты, но толку от этого мало. Над нашими поставщиками, как говорит мастер Степанов, не каплет — они исходят только из своих собственных интересов и часто ставят нас в безвыходное положение. Выработывают то, что

им выгодно. Химики, например, в течение целой декады поставляют нам одни темные красители, потом переходят на выработку светлых. То же самое с прядильщиками. Чтобы выпускать товар строго в ассортименте, нам приходится делать большие запасы сырья и материалов, а это невыгодно со всех точек зрения — в особенности копейка.

Нужно, чтобы поставщики отвечали перед нами так же, как мы отвечаем перед торгующими организациями.

25 сентября

Ну и дела! Власов предложил доктору химических наук Николаю Николаевичу Никитину вернуться на комбинат и возглавить лабораторию, пообещав создать ему все необходимые условия для научно-исследовательской работы. К великому удивлению всех, Николай Николаевич принял предложение Власова и вчера, в понедельник, приступил к исполнению своих обязанностей. Вместе с ним к нам пришли работать еще трое молодых химиков — один кандидат наук, два инженера. Ясно, что возвращение к нам такого знающего человека, как Николай Николаевич, очень важное событие. В современных условиях ни одно большое предприятие не может работать успешно без собственной лаборатории и экспериментальной базы.

Интересно, как будут ладить между собой Леонид и Никитин? Ведь деятельность Леонида тесно соприкасается с работой лаборатории.

Утром я спросил об этом Леонида.

— Думаешь, сработаешься с ним?

Он пожал плечами.

— Отчего нет? Нам с ним не детей крестить, а общее дело делать... Постой, ты думаешь о Наташе?

И я увидел, каким растерянным и смущенным стало его лицо.

Леонид получил разрешение в течение недели являться на работу к двенадцати часам: он должен был в Институте теплотехники консультировать по утрам специалистов, строящих экспериментальный образец парового котла его системы.

Перед этим он встретил, как всегда, Музу в метро и попросил ее прийти в половине седьмого к главному входу парка Сокольники.

— Пойдемте куда-нибудь, а то я вас не скоро увижу, — сказал он.

Противясь с нею, он, как всегда, встал за углом дома, чтобы проводить ее взглядом, пока она не исчезнет за массивными дверями своего института.

Что это? Он не верил своим глазам: откуда ни возьмись появился Никонов и торопливо стал догонять Музу.

Леонид тотчас же пошел следом за ним и услышал, как он, поравнявшись с Музой, сказал:

— Прошу вас, уделите мне несколько минут внимания!..

— Нам не о чем разговаривать, — ответила та не поворачивая головы и скрылась в дверях.

Юлий Борисович постоял некоторое время, глядя на захлопнувшуюся перед его носом дверь, повернулся — и лицом к лицу столкнулся с Леонидом.

— А... а, теперь я понимаю, — злобно проговорил он, — она стала твоей любовницей!

— Объясните мне, почему вы преследуете эту женщину? — сдерживая кипевшее в нем возмущение, спросил Леонид.

— Тебя это не касается!

— Касается. Больше, чем вы думаете...

— Я на нее имею больше прав, чем ты. Понял? — отрезал Юлий Борисович и быстро пошел к метро.

В Институте теплотехники Леонида встретили радушно. Руководитель работ, пожимая ему руку, сказал:

— Вы молодчина, Леонид Иванович! Нам остается только уточнить с вами кое-какие детали и приступить к сборке. Не бойтесь, это займет немного времени: дней пять-семь, не больше. Потом встретимся во время испытаний.

Леонида радовало такое отношение — он знал, что в институтах чужое изобретение далеко не всегда встречают благожелательно. Здесь же люди всячески старались помочь делу и поскорее изготовить котел. Он разяснял нѣясные места в чертежах, быстро находил новые, оригинальные решения, но из головы не выходило столкновение с Никоновым. Сомневаться не приходилось: Никонов имеет на Музу какие-то права, иначе он не стал бы так петушиться...

Сославшись на неотложные дела, Леонид уехал из института на комбинат, но и здесь, на своем обычном рабочем месте, не нашел успокоения. Он не мог думать ни о чем другом — только об отношениях между Музой и Никоновым. Он пытался внушить себе, что прошлое Музы его не касается, но это было слабым утешением. Он знал одно: нынешний день будет решающим — он узнает истину, потому что разговор будет откровенным, «без фокусов», как любит говорить Сергей.

Ах, если бы люди были такими же твердыми в действительности, как в своих мечтах!

Едва только Леонид увидел Музу, как он, забыв все свои твердые намерения, побежал ей навстречу.

— Господи, как я рада вас видеть! — сказала она, беря его за руку.

— Да?

— Я ведь видела из-за двери, что вы говорили с ним... И я боялась за вас... Он страшный человек...

— Скажите мне, что нужно этому Никонову от вас? — Леонид взял Музу под руку и повел по боковой аллее парка.

— Я отказалась видеться с ним, и, по-моему, в нем заговорило оскорбленное мужское самолюбие...

Молча прошли они всю аллею, свернули в другую. И Леонид решил. Повернувшись к ней, преграждая ей путь, он спросил:

— Вы не рассердитесь, если я скажу вам, что настало время выяснить наши отношения?

— Нет... Зачем же мне сердиться на вас?..

— Я вас люблю. И вы знаете это.

— Да, знаю...

— Будьте моей женой...

Она долго, ласково смотрела на Леонида. Потом взгляд ее стал жестче.

— Это не так просто, как вам кажется.

— Ведь я вам не безразличен?

— Нет.

— В чем же тогда дело?

— Сядем! — предложила она и, отыскав свободную скамейку в глубине парка, они сели.

— Как же вы делаете такое предложение женщине, почти незнакомой? Вы же ничего не знаете обо мне...

— У меня есть глаза и уши. Достаточно того, что я вижу и слышу вас.

— А моя прежняя жизнь?

— Я вас люблю!

— А потом, узнав некоторые подробности моей биографии, вы разочаруетесь, сделаете несчастным и себя и меня. Чтобы мое прошлое не встало когда-нибудь между нами, я хочу, чтобы вы знали обо мне все...

Тихо, почти шепотом, рассказала она о всех своих увлечениях, о замужестве. Рассказывала она сдержанно, внешне спокойно, но не щадила себя, не оправдывала. Это была исповедь женщины, немало повидавшей в жизни, но никогда не любившей.

— До встречи с вами я не верила, что есть на свете настоящая любовь и что я смогу полюбить. Знаете, это же чудо: в дни, когда я не вижу вас, я не нахожу себе места! Я все время о вас думаю, с вами разговариваю... Если бы вы только знали, какое счастье любить!..

— Я-то это хорошо знаю! — пробормотал Леонид, целуя ее руки.

Сентябрь давал себя чувствовать, налетали порывы холодного ветра, кружились желтые листья.

— Холодно! — Муза зябко поежилась, поднялась. — Пойдемте, Леня... — Она впервые назвала его так.

Леонид хотел было накинуть ей на плечи свой пиджак, но она отказалась.

— Может, подниметесь ко мне, выпьете стакан чаю? — спросила она, когда они подошли к ее дому.

— Я только схожу в магазин...

— Не надо, у меня все есть! — Она взяла его за руку и не отпускала до тех пор, пока они не поднялись на второй этаж.

Когда она зажгла свет, Леонид от неожиданности даже вздрогнул — он никак не мог предположить, что в неказистом деревянном доме может быть такая современная уютная комната. Ничего лишнего, и каждый предмет стоял именно там, где, казалось, и должен был стоять. Занавески и легкие шторы на окнах, на круглом столе скатерть итальянской работы, маленький старинный секретер, а рядом вместительный книжный шкаф. У противоположной стены — низкая тахта, возле нее полированный столик. На столике цветы. И во всем чувствовалась заботливая женская рука.

— Будем пить чай! — Муза достала из стенового шкафа торт, печенье, графин с вином, бокалы, чашки.

От ее близости, от ощущения огромного счастья Леонид словно опьянел. Он обнял ее, стал целовать глаза, щеки, губы...

...Был второй час ночи, когда он вспомнил, что нужно идти домой.

— Зачем? — спросила она. — Уже очень поздно. Оставайся, утром вместе поедем на работу.

— Не могу, дома будут волноваться! — и он нежно поцеловал ее на прощанье.

Дома не спала одна Милочка — ждала его. Услышав стук калитки, она быстро открыла входную дверь, а когда Леонид вошел в комнату, со слезами на глазах уткнулась ему в плечо.

— Наконец-то ты пришел! Я так волновалась... Еще немного и разбудила бы Сергея, позвонили бы в милицию! — Милочка отстранилась, в упор посмотрела на него. — Нет, слава богу, не пьяный. Где ты был?

— Женился, — односложно ответил Леонид.

— Что?

— Женился! Ну что ты удивляешься, бесценная моя сестричка? Что в этом необыкновенного? Твой брат такой же человек, как все, с той только разницей, что в отличие от большинства я счастлив. Так счастлив, что ты не можешь себе представить!

Из-за занавески показались колеса, потом сам Иван Васильевич в нижнем белье. Он, по-видимому, еще не спал.

— Что тут происходит? Почему ты так поздно, Леонид?

— Папа, он женился, — сказала Милочка.

— Ну что ж, в добрый час! Рано или поздно все люди совершают этот рискованный шаг. Но все-таки, сынок, тебе следовало бы показать свою невесту нам — мне, Милочке, Сергею. И получить наше благословение...

— Ты же знаешь, папа, что секретов от вас у меня нет. Покажу непременно. Уверен, что вы все одобрите мой вкус. Милочка, я завтра же приглашу ее к нам!

— Ой, только не завтра!.. Я хочу все подготовить как надо, а завтра я работаю. Лучше послезавтра, — сказала Милочка.

— Договорились, послезавтра так послезавтра. Я парень покладистый, на все согласен!

— Рассказал бы хоть — кто она, какая, красивая? — в Милочке заговорила женщина.

— Сказать красивая — мало. Она необыкновенная, во всем мире такой другой не найдешь. Ты, конечно, не в счет...

— Ты что, успел расписаться с нею?

— Какая банальность!.. Ключок бумаги со штампом и печатью будет непременно, а пока налицо взаимная и беззаветная любовь!

— Спустись с облаков на грешную землю и проделай все так, как полагается, — сказал Иван Васильевич. — Кстати, где вы думаете жить?

— Это да, это вопрос. Власов обещает квартиру на будущий год. Ждать целый год боюсь — уволкут ее из-под самого моего носа!

— Никуда она не денется! Если любит, подождет. Даже хорошо — пройдете испытание временем, — спокойно сказал Иван Васильевич.

— Ждать год это очень долго, — сказала Милочка, — приводи ее сюда. Пока живите здесь, в тесноте, да не в обиде, а когда получишь квартиру — переедете.

— Вот сестра у меня — чудо! Добрая, настоящая, — Леонид обнял Милочку. — Но она не согласится переехать сюда, к тому же у нее есть комната, здесь, в Сокольниках, недалеко от нас.

— Что ж, переходи к ней ты!

— Это вовсе исключается. По моим старомодным понятиям, мужчина должен построить дом для своей семьи. Ничего, подождем год, а через двенадцать месяцев станем жить-поживать в своей квартире. Заберем с собой туда и отца.

— За отца не беспокойся, мне и здесь хорошо. От Трофима и Татки я уходить не собираюсь! — Иван Васильевич развернул коляску.

— Ладно, папа, не будем сейчас спорить. Мы еще вернемся к этому разговору. А теперь спать, спать — завтра рано на работу! А Сергей так и не проснулся, несмотря на нашу бурную полемику!..

Утром, в вагоне метро, Леонид сказал Музе:

— Вчера я сообщил своим, что женился.

— С ума сошел!..

— Ничего подобного! Никогда не был в более трезвом уме и твердой памяти! — ответил он и передал приглашение сестры на завтра.

— Мне как-то неловко явиться к вам...

— Почему это?

Она промолчала.

— Глупости! — сказал Леонид. — Я сегодня же пойду в загс и, когда подойдет наша очередь, мы распишемся.

— К чему такая спешка?

— Пусть все будет всерьез, как у людей, — был ответ.

Во время обеденного перерыва Леонид зашел в партком к Сергею и без всяких предисловий спросил:

— Скажи, Сергей, меня примут в партию?

Усталое лицо Сергея озарилось улыбкой.

— Кого же принимать в партию, если не таких, как ты? Конечно, примут!

— Ты это... без шуток?
— Честное пионерское!
— Тогда дай мне анкету. И научи, что я должен сделать, чтобы все было поскорее.
— Почему поскорее?
— Так. Хочу шагать по стопам отца... Идти с тобой, с Власовым. Хочу, чтобы все было как у людей,— всерьез! — ответил Леонид.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Юлий Борисович Никонов потерял покой — всем существом своим ощущал он приближение беды. Толчком для тревоги послужили слова Музы в день разрыва — о нежелательности для него встречи с представителями власти. Он десятки раз мысленно задавал себе один и тот же вопрос: знает ли эта женщина о нем что-нибудь конкретно или просто догадывается? Он имел неосторожность иногда оставлять у нее свертки с иностранной валютой в надежде, что она, женщина воспитанная, щепетильная, не позволит себе копаться в чужих вещах. Он и до сих пор не знает — заглядывала она в сверток или нет. Мало было забот — тут еще мальчишка, сын Ларисы, Леонид, стал путаться под ногами. Разумеется, он успел выложить Музе все, что знал о его прошлом, настроил ее против него и стал причиной их разрыва. Мерзавец!

Юлий Борисович знал на своем веку достаточно женщин, но чтобы его бросали — такого еще не было. Наверное, он стареет. Раньше он легко сходилась с женщинами и с той же легкостью расставался с ними, не испытывая при этом никаких угрызений совести, никаких сердечных мук. Муза, пожалуй, была единственная, к кому он испытывал искреннюю привязанность, и, откровенно говоря, женился бы на ней не задумываясь, дай она согласие. Приятно ведь иметь красивую жену, появляться с нею на людях. А она не захотела стать его женой, предпочла этого молодого голодранца. Впрочем, ей еще доведется пожалеть о своем необдуманном поступке — одной любовью сыт не будешь.

Обо всем этом Юлий Борисович думал, лежа на кушетке, укрыв ноги шотландским пледом.

Тысячи и тысячи людей позавидовали бы ему. В самом деле, чего ему не хватает, разве птичьего молока? У него есть все: деньги, женщины, красивые вещи, возможность позволить себе все, чего захочет душа. А вот покоя, самого обыкновенного душевного покоя он не имеет. Днем и ночью его одолевают одни и те же мысли — провал и арест. Денег и ценностей, которые он успел накопить, хватит ему на всю жизнь, да еще детишкам останется, если, конечно, когда-нибудь будут у него детишки. Сейчас он с удовольствием отошел бы от всяких дел, жил бы себе тихо и незаметно, если бы не Борода. У Бороды цепкие когти, и он крепко держит в них Юлиа Борисовича. Малейшее подозрение — и готово: был человек — и нет его. Люди старика готовы выполнить любое его поручение и ни перед чем не остановятся, чтобы убрать с дороги неудобного. Был же случай с взбунтовавшимся снабженцем. Человек честно заявил, что с него хватит, — он боится и не хочет больше заниматься рискованными делами. Сподвижники Бороды расстались с ним дружелюбно, даже выпили на прощание, а через несколько дней по дороге на дачу он упал из тамбура и угодил прямо под колеса электрички. «Несчастный случай». Нет, с Бородой шутки плохи...

С некоторых пор Юлий Борисович даже потерял вкус к деньгам — надежно прятать их становится все труднее. Он и не подозревал, что добывать деньги легче, чем хранить их. И зачем так много денег — куда их девать? Тратить в открытую опасно. Даже на курортах, в Крыму или

на Кавказе, он старается вести скромный образ жизни, а в Москве и по-давно приходится жить с оглядкой. В рестораны теперь он заглядывает очень редко. В ящике его письменного стола хранится тридцать тысяч наличными, кольца, серьги, браслеты и прочая мелочь. Если когда-нибудь возникнет вопрос — откуда у него при скромном окладе такие большие деньги, вразумительного ответа он не найдет... Предположим, что камешки и золотые безделушки могли достаться ему от матери. Она, как никак, была женой крупного поверенного в делах и городского головы губернского города, и у нее могли сохраниться крохи былой роскоши. Такое объяснение выглядит более или менее правдоподобно. А деньги?

Он отбросил плед, вскочил и, подойдя к письменному столу, выдвинул ящики. В одном, под разными бумагами и ненужными папками, лежали аккуратно сложенные двадцать пачек по тысяче рублей, в другом — еще десять пачек по тысяче рублей. Он провел по пачкам рукой, снова прикрыл их бумагами и закрыл ящики на ключ. Тридцать тысяч и много и мало. Если он не будет принимать участия в делах Бороды, на скромную, но вполне приличную жизнь ему придется добавлять к своей зарплате рублей двести в месяц — следовательно, этих денег хватит лет на пятнадцать. Пятнадцать лет — срок немалый. За это время многое может измениться в мире... Потом можно тихонько реализовать валюту, камешки, золотые безделушки — на них покупатели всегда найдутся. Но уцелеть так долго невозможно: рано или поздно накроют. Чекисты ведь тоже не дремлют... С возвращением Аркадия Семеновича Шагова дела приняли еще более широкие масштабы и опасность провала увеличилась. Вот ненасытный человек!.. Борода, верный традициям дельцов, выложил Шагову его долю, накопленную за эти годы. Получилась кругленькая сумма — хотя доподлинно никто не знает какая. На вопрос Юлия Борисовича, зачем развивать такую лихорадочную энергию и рисковать головой, Шагов ответил, что соскучился по настоящей работе. Ничего не скажешь, человек он с размахом!..

Юлий Борисович снова лег на кушетку, его слегка знобило.

Хорошо бы случилось чудо и он очутился в какой-нибудь процветающей стране — скажем, в Швеции или Швейцарии! Лучше в Швейцарии — там можно реализовать камешки, деньги положить в надежный банк и жить себе потихоньку на проценты от основного капитала. Можно, конечно, открыть и небольшое дело, вроде мастерских по ремонту автомашин — он ведь инженер-механик. А еще лучше стать владельцем заправной станции на развилке больших дорог. И почему ему, с его способностями, не стать со временем крупным дельцом, не ворочать большими деньгами?.. Но как, как попасть за границу? В свое время, еще в лагере, Шагов назвал все возможные способы переезда за границу, и все они оказались неприемлемыми. Значит, нужно разрабатывать свой, никем еще не испробованный план и действовать.

Один из иностранцев, которым они сбывали старинные иконы, сообщил, уезжая из Москвы, что скоро приедет весьма интересный человек, турист из Канады, украинского происхождения, хорошо владеющий русским языком. Турист этот также интересуется иконами и постарается встретиться с ним, Юлием Борисовичем... Что если попытаться через него?.. Эта идея показалась Юлию Борисовичу такой заманчивой, что он не мог больше лежать спокойно, встал, достал из буфета бутылку сухого вина, налил полный бокал и выпил залпом... Эх, если бы этот канадец украинского происхождения оказался сговорчивым малым. Свой скорее поймет своего — и поможет. Славяне всегда отличались добротой, отзывчивостью...

С большим количеством золота и иностранной валюты границу не переехать — вместо золота и валюты нужно собрать побольше камеш-

ков, хороших, чистой воды. С бриллиантами легче — он, Юлий Борисович, сумеет их так спрятать, что ни одна собака не найдет!.. У него уже есть некоторое количество драгоценных камней — они надежно спрятаны у него в стене, за плитусами. Но это — капля в море, с малыми деньгами за границей делать нечего... Узнать бы, по какой цене идут нынче бриллианты за границей? По сравнению с теми камешками, что есть у Аркадия Семеновича, его драгоценности — мелочь. Однажды Шагов, желая похвастаться, показал ему целую коллекцию бриллиантов. У Юлия Борисовича от одного их вида руки затряслись. Но Шагов ни за что не расстанется со своим богатством, а кроме того, ни к чему пустыми разговорами навлекать на себя подозрение.

Юлий Борисович долго еще ломал голову над сложнейшими проблемами. Он так был возбужден, что заснул в четвертом часу, а утром проснулся опять с головной болью.

Не откладывая дело в долгий ящик, он в тот же день купил у московских «дельцов» штук двадцать драгоценных камней. Но этого показалось ему мало, и он поехал во Львов и там купил еще бриллиантов.

Турист из Канады не заставил долго себя ждать. Он появился в Москве в первых числах октября и тотчас дал о себе знать Юлию Борисовичу. Они условились встретиться на конспиративной квартире Бороды в Марьиной роще.

Украинец оказался крупным мужчиной с симпатичной и располагающей внешностью. Говорил он по-русски почти без акцента. Звали его Петр Марченко. Разговор у них сразу принял откровенный и доверительный характер. Юлий Борисович не таясь рассказал гостю о своем положении, признался, что чувствует себя здесь как в клетке и готов рискнуть многим, лишь бы вырваться на свободу.

Марченко внимательно слушал, а когда Юлий Борисович кончил, сказал:

— Мы вас очень ценим. И я думаю, что кое-что сделаем для вас.

Он говорил «мы», и это как-то и испугало и обрадовало Юлия Борисовича: «мы» звучало солидно, убедительно.

— Насколько я понял вас, вам хотелось бы перебраться в свободный мир, не так ли? — спросил Марченко, помолчав.

— Совершенно верно... Это то, о чем я мечтаю неустанно!

— При этом вы хотели бы захватить с собой кое-какие ценности?

— Разумеется! Без денег нигде не проживешь, тем более у вас. У меня за границей нет богатых родственников и вообще никого нет. Я могу надеяться только на себя...

— Думаю, что мы сумеем удовлетворить вашу просьбу и помочь вам перебраться к нам. А вот насчет перевозки валюты, золота или предметов искусства ничего посоветовать не можем. Ваши таможенники очень строги...

— Как же быть? Не могу же я явиться в чужую страну с пустым карманом...

— Могу предложить вам только следующее, и, если вы согласитесь, я к вашим услугам.

— Что именно? — оживился Юлий Борисович.

— Вы можете вручить мне удобную вам сумму в иностранной валюте, а также образец вашей подписи, придумать пароль и запечатать все это в конверт. Мы откроем на ваше имя текущий счет в любом банке, в любой стране, где вы пожелаете, и положим туда ваши деньги. Перебравшись к нам, выпишете чек, скажете пароль и получите свои деньги.

— А какая гарантия, что мои деньги не пропадут?

— Вы хотите сказать — какая гарантия, что мы вас не обманем?

— Ну...

— Ничего, не стесняйтесь. Лучше сейчас откровенно договориться обо

всем. Отвечаю на ваш вопрос: у нас с вами все должно быть основано на взаимном доверии.

— Хорошо, я согласен дать вам некоторую сумму в американских долларах и попрошу вас положить их на мое имя в одном из солидных швейцарских банков.

— Отлично. В следующий раз, когда приедет к вам наш человек, он сообщит вам все, и у вас отпадут всякие подозрения... Вы догадываетесь, как мы собираемся поступить в дальнейшем? — спросил Марченко.

— Нет, — признался Юлий Борисович.

— Месяца через три я или наш человек, тоже хорошо владеющий русским языком, привезет вам нужные документы. На чье имя — мы с вами условимся. Поскольку вы не знаете ни французского, ни испанского языка, будете выдавать себя за украинского или русского эмигранта. Не бойтесь, это не вызовет никаких подозрений — таких эмигрантов много за границей, — пояснил Марченко, заметив смущение на лице Юлия Борисовича. — Поедете в Брюссель — там вас встретят и окажут всяческое содействие. Свои же документы сдадите нам. Имейте в виду, что с ними в России останется наш человек, по специальности инженер или техник-механик. Вы расскажете ему подробно о себе, о ваших родителях, знакомых и друзьях...

Потом они перешли к коммерческим делам. Канадец изъявил желание купить несколько старинных икон и попросил Юлия Борисовича достать для него советских денег взамен иностранной валюты по курсу черной биржи.

В заключение он спросил:

— Юлий Борисович, нет ли у вас возможности достать для нас — за деньги, конечно, — советские паспорта, неважно на чье имя, воинские билеты, бланки трудовых книжек?

— Признаться, я этим никогда не занимался, — Юлий Борисович смутился.

— Попробуйте заняться. Этим вы окажете нам большую услугу, и она зачтется вам в будущем. Надеюсь, вы оцените, что наши просьбы весьма и весьма скромны по сравнению с тем, что мы собираемся сделать для вас!..

— Очень вам признателен, — проникновенно поблагодарил Юлий Борисович.

Он считал, что действительно легко отделался от Марченко. Юлий Борисович был наслышан, как шантажировали свои жертвы агенты иностранных разведок и заставляли их добывать шпионские материалы. А тут от него требуют только обменяться документами...

Перед отъездом Марченко они встретились еще раз. Юлий Борисович передал ему десять тысяч американских долларов, свою фотокарточку, пароль, запечатанный в конверте, и двенадцать бланков трудовых книжек, взятых им у себя на работе. Марченко купил несколько икон, щедро уплатив за них.

После отъезда канадца украинского происхождения Юлий Борисович стал лихорадочно готовиться к отъезду в «свободный мир».

Было около десяти часов вечера, в управлении кроме дежурного никого не оказалось, и Матвееву пришлось позвонить непосредственно генералу и скороговоркой доложить:

— Только что небезызвестный вам Никонов пытался подкупить работника уголовного розыска...

Генерал перебил его:

— Где сейчас Никонов?

— Точно не могу сказать, за ним установлено наблюдение.

— А почему обратились за помощью к работнику уголовного розыска?

— Товарищ генерал, это получилось совершенно случайно...

Генерал не дал Матвееву закончить доклад, приказал немедленно явиться к нему. Через двадцать минут Матвеев явился к генералу.

— Садитесь и прежде всего докладывайте по порядку.

— Никонов поехал в район Нескучного сада, со стороны проспекта Ленина, в известную нам квартиру, чтобы получить деньги за проданные иконы от иностранного туриста Лехмана, недавно пожаловавшего в Москву. В это самое время капитан милиции, оперативный уполномоченный уголовного розыска Колпаков, преследовал в том же районе вора, унесшего чемодан какого-то ротозея-командировочного из вагона метро. Никонов, выйдя на улицу из конспиративной квартиры с чемоданчиком в руке, замечает разгуливающего капитана милиции и, заподозрив недоброе, ускоряет шаг. Колпаков принимает его за вора и приказывает остановиться. Никонов делает вид, что не слышит, заворачивает за угол. Капитан настигает его там и приказывает показать содержимое чемодана. Никонов протестует, произносит громкие слова, угрожает, что будет жаловаться куда следует и капитану придется отвечать за допущенный произвол. Ничего не помогает, Колпаков оказывается человеком твердым и настойчивым. Не найдя иного выхода, Никонов идет на риск и предлагает капитану взятку. Колпаков от такой наглости даже опешил, Никонов воспользовался его замешательством и юркнул в подъезд. Колпаков было за ним, но тут уж мы его придержали и разъяснили,— закончил доклад Матвеев.

— Так, так.— Генерал долго барабанил пальцами по полированному столу.

Потом он поднялся.

— На сегодня вы свободны, отдыхайте. Завтра утром на совещании решим, как быть дальше.

В небольшом кабинете генерала на пятом этаже собрались товарищи, занимающиеся делом валютчиков.

Первым докладывал Александр Сергеевич Голиков, средних лет мужчина с седеющими висками и бледным, чисто выбритым лицом. Докладывал четко, по-военному:

— С возвращением одного из главарей шайки — Шагова деятельность валютчиков заметно оживилась. Достаточно сказать, что один делец из города Баку увез из Москвы около двух килограммов золота, купленного у подставных лиц Шагова. Его пришлось задержать на станции Минеральные воды и отобрать золото, иначе оно могло утечь. Чтобы не всполошить наших валютчиков, владельца золота судили без привлечения к уголовной ответственности его сообщников. При обыске квартиры заместителя главврача психиатрической больницы обнаружили и изъяли шесть тысяч долларов, три тысячи английских фунтов стерлингов и золотые монеты на сумму около девятисот рублей. Вместо уехавшего связного, американского «туриста» мистера Гендерсона, от которого Никонов получил самолично двенадцать тысяч долларов за проданные ему иконы, явился новый турист, на этот раз с английским паспортом, по фамилии Лехман. На третий день своего пребывания в Москве он установил через Софью Павловну связь с Никоновым. Лехман явился к старухе в условленное время для встречи с Никоновым и привез с собой целый портфель религиозной литературы, напечатанной в США на русском языке. Он долго рассматривал иконы, отобрал небольшую партию и предложил Никонову приехать за деньгами по известному ему адресу в районе Нескучного сада. Весь разговор Лехмана с Никоновым записан на ленте магнитофона, там есть некоторые любо-

пытные детали. Вечером в двадцать один пятнадцать Никонов явился в дом, где раньше встречался с мистером Гендерсоном, получил деньги за иконы и еще купил у Лехмана тысячу двести долларов по курсу черной биржи. По выходе из дома Никонов чуть не попал в милицию, но этого удалось избежать. На этот раз нам их помощь могла бы только помешать. Предположение Мотовилова о том, что одна из икон, привезенных им с Севера, является работой знаменитого Рублева, не подтвердилось. Это просто старинная икона в манере Рублева. Одна из икон, висящая на стене у Софьи Павловны, является точной копией иконы Византийского собора святой Софии в Константинополе, собора Ая София, и представляет большую ценность.

— У вас все, Александр Сергеевич? — спросил генерал, когда тот умолк.

— Да, на сегодня все.

— Что вы можете добавить, майор? — Генерал обратился к Матвееву.

— Никонов после встречи с капитаном милиции потерял голову и часа два мотался по Москве, наконец оставил чемодан с валютой у старухи, а сам опять направился обратно на конспиративную квартиру, но на этот раз не застал там Лехмана. Не исключена возможность, что его не пустили туда из соображения предосторожности, точно сказать не могу, как не могу объяснить, с какой целью Никонов хотел видеть Лехмана поздно ночью. Нужно еще добавить, что Никонов последнее время заметно нервничает, а после разрыва с той красивой женщиной из научно-исследовательского института стал много пить. По имеющимся у нас проверенным данным значительная часть ценностей, принадлежащих Никонову, — двенадцать тысяч долларов и три слитка золота, — хранятся в доме старухи Софьи Павловны, остальную часть, по-видимому, он держит у себя на квартире. Никонов как одержимый гоняется за бриллиантами, покупает их с лихорадочной поспешностью.

— Какие же выводы вы делаете из этого факта, майор? — спросил генерал.

— Думаю, у Никонова накопилось слишком много ценностей, и надежно хранить их становится трудно, или он задумал перебраться за границу со своими камешками, полагая, что драгоценности легче перевозить, чем деньги.

— Скорее — второе, они народ хитрый, все понимают, — начал было генерал, но в разговор вмешался третий участник совещания.

— Вы абсолютно правы, Антон Иванович, — сказал он. — Они народ действительно хитрый и, без сомнения, догадываются о нависшей над ними опасности. По-моему, настало время одним ударом прикрыть лавочку, проведя операцию одновременно во всех городах, где они есть. Я не понимаю, почему мы медлим, ведь знаем уже все или почти все — наперечет всех валютчиков, живущих в разных городах, примерное количество ценностей, которыми они располагают, даже тайники, где хранятся ценности.

— Прикрыть и ликвидировать легче всего, а вот узнать досконально все о заграничном центре, руководящем этим делом и засылающем к нам все новых и новых агентов на связь с валютчиками, — куда труднее. Забрав валютчиков, мы обрываем нить, хоть и тоненькую, а все же нить, которую пока держим в руках. Не так ли?

— Может быть, и так. Но можно рассуждать по-другому тоже. Потеряв группу Никонова, иностранные агенты будут искать другие связи, и все равно куда от нас не денутся. Потом есть опасность, что эти туристы успеют переправить за границу ценные произведения искусства, не говоря уже о советских деньгах.

— Положим, до сих пор эти «туристы» не сумели перевезти за кордон ни одной сколько-нибудь ценной иконы или картины. Недавно на Внуковском аэродроме наши таможенники изъяли у одного такого «туриста» подлинное полотно Айвазовского и три ценные иконы. Что же касается заготовки советских денег, то тут ничего не поделаешь, они могут быть переправлены с дипломатической почтой... Нет, рано. Наберемся терпения и подождем еще немного,— сказал генерал после короткого раздумья.— Нужно усилить наблюдение, чтобы нам стал известен каждый шаг валютчиков, не только здесь, в Москве, но и в других городах, где они орудуют. Лучше соблюдать величайшую осторожность, но раньше времени не потревожить осиное гнездо. Пусть пока орудуют без опаски... Между прочим, что с тем молодым инженером, интересующимся Никоновым?

— С Косаревым,— подсказал Матвеев.

— Да, с ним. Успокоился он или по-прежнему бегают по следам Никонова?

— После беседы с секретарем партийной организации комбината, где работает Леонид Косарев, он вроде успокоился,— ответил Матвеев.

— К тому же секретарь партийной организации комбината Сергей Полетов — зять Косарева, они живут вместе в одном доме в Сокольниках и у них старые счеты с Никоновым,— добавил Голиков.

— Майор, прошу вас выяснить, что станет делать Никонов с той литературой, которую привез ему Лехман?

— То же самое, что и в прошлый раз. Они с Софьей Павловной сожгли всю литературу, полученную через Гендерсона. Полагаю, что и на этот раз он поступит так же.

— Так и сожгли? Вот бессовестные, даже греха не побоялись,— пошутил генерал.

— Так и сожгли. У них, товарищ генерал, и без того достаточно грехов и никаких надежд на спасение.

— Бедные американские дяди, сколько усилий, а божественная литература дальше печки старухи не идет.— Генерал встал.— Кажется, мы договорились обо всем. Желаю вам успеха.

...Приехал не турист, которого с нетерпением ожидал Юлий Борисович, а деловой человек — представитель солидной фирмы, имеющей коммерческие связи с внешторговскими организациями. Фамилия его была Николич. Не зная ни слова по-русски, он обратился в Интурист с просьбой выделить ему переводчика на все время пребывания в Москве, и если можно, мужчину. Просьбу представителя фирмы удовлетворили: к нему в гостиницу явился молодой человек, отлично знающий испанский и английский языки. Господин Николич остался доволен переводчиком и не делал без него ни шагу. Михайлов, так звали молодого человека, являлся к Николичу в десять часов утра. Они вместе завтракали в кафе при гостинице «Националь», потом посещали внешторговские организации, где вели деловые разговоры, ходили по Москве, посещали музеи, картинные галереи. После обеда господин Николич обычно поднимался к себе в номер и отдыхал. Они снова встречались в шесть часов, пили чай и проводили вечера в парках, театрах, ходили в цирк. Николич расставался с переводчиком поздно вечером.

Только на пятый день пребывания в Москве господин Николич, сославшись на необходимость посетить посольство и встретиться со своими соотечественниками, отпустил переводчика. Вечером он вышел из гостиницы и направился к посольству. В малолюдном переулке зашел в

телефонную будку и, убедившись, что поблизости никого нет, позвонил Никонову и на чистейшем русском языке сказал, что у него есть небольшая посылка от Марченко и что Юлий Борисович может получить ее сегодня, часов в восемь, по известному ему адресу.

Юлий Борисович как человек пунктуальный явился в дом, в котором он встречался и с Марченко, ровно в назначенное время. Дверь ему открыла какая-то сильно накрашенная женщина.

В большой комнате был накрыт круглый стол.

Навстречу Юлию Борисовичу поднялся хорошо одетый сухощавый человек лет сорока.

— Иован Николич! — отрекомендовался он, протягивая руку. Заметив на лице Юлия Борисовича удивление, Николич поспешил с объяснением: — Не удивляйтесь, по национальности я — русин из Югославии, но в раннем детстве родители увезли меня в Южную Америку. Теперь я гражданин Аргентинской республики.

Завязался разговор. Юлий Борисович старался меньше говорить и больше слушать, поэтому до поры до времени ни о чем не спрашивал нового знакомого, хотя и горел нетерпением узнать, с чем тот приехал.

— Прежде всего хочу вас поздравить, — как бы угадав мысли Юлия Борисовича, сказал Николич. — В швейцарском национальном банке, в Лозанне, открыт на ваше имя текущий счет! — Он достал из кармана узкую полосу бумаги и протянул собеседнику. — Здесь номер вашего текущего счета. Храните эту бумагу или лучше запомните цифры. В сейфах банка хранится образец вашей подписи и запечатанный в конверте условный пароль. Швейцарский национальный банк — солидное учреждение — начисляет своим клиентам три процента годовых.

— Очень вам благодарен! — Юлий Борисович внимательно изучал написанные на пишущей машинке шестизначные цифры.

Николич наполнил бокалы и, пригубив вино, спросил, где бы они могли встретиться еще раз, чтобы иметь возможность поговорить обо всем без помех?

— А разве здесь нельзя?

— Можно, но появляться в одном и том же месте дважды считаю неразумным. К тому же нам будет мало одной и даже двух встреч.

— Право, не знаю... Являться мне к вам нельзя, а вам... Постоите, а может быть вам небезынтересно заглянуть ко мне, чтобы иметь представление о моей квартире?

— Совершенно верно! — подтвердил Николич.

— В таком случае, приезжайте ко мне завтра вечером. Я живу отдельно, и никто не помешает нашей беседе.

— Отлично. Прошу учесть, что нам нужно спешить: времени у нас мало, всего пять-семь дней. За это время нужно успеть сделать многое. Я приду к вам завтра вечером, скажем, часов в пять.

— Вы сказали, что мы должны успеть за короткое время сделать многое. С чего мне начать? — Задавая этот вопрос, Юлий Борисович надеялся получить хотя бы косвенный ответ на то, что его больше всего интересовало, — как обстоит дело с его отъездом.

— Получите расчет по месту работы, известите домоуправление о своем отъезде, распространите слух среди своих друзей и знакомых, что вынуждены покинуть Москву надолго. Вам нужно мотивировать причину своего отъезда. По-моему, лучше всего сослаться на здоровье — так, мол, посоветовали врачи. Закажите железнодорожный билет в какой-нибудь южный город, скажем, в Ялту или Старый Крым и обязательно по телефону. Эти города вас устраивают?

— Да, но... — Юлий Борисович не договорил. Ему на помощь пришел догадливый Николич.

— Понимаю вас. Чтобы предпринять такие решительные шаги, вы должны быть уверены в своем отъезде, не так ли?

— Вы сами понимаете, иначе я рискую всем — работой, а может быть, и потерей квартиры...

В ответ Николич достал из бокового кармана пиджака паспорт и билет на самолет и протянул Юлию Борисовичу.

— Здесь соблюдены все формальности. Вы можете вылететь в Брюссель через Париж в любой день, не позже трех недель со дня прибытия в Москву, чтобы не просрочить визу.

Юлий Борисович приоткрыл обложку паспорта и краешком глаза посмотрел на первую страницу. Паспорт был на имя Иована Николича, и там красовалось то самое фото, которое он дал Марченко. Николич взял из его рук паспорт и положил себе в карман.

— Пусть пока будет у меня. За день до вашего отъезда мы поменяемся паспортами. Вы превратитесь в аргентинского подданного Иована Николича, русина из Югославии, а я стану Юлием Борисовичем Никоновым.

— Понимаю, вы оседаете здесь, а Иован Николич возвращается обратно.

— Приятно иметь дело с понятливым человеком. С языком у вас не может возникнуть недоразумения — вы хоть и аргентинский подданный, но не аргентинец и испанский язык знать не обязаны. К тому же испанский у вас не в ходу и вряд ли кто заговорит с вами по-испански, а по-английски, насколько мне известно, вы немного говорите, этого вполне достаточно, чтобы выкрутиться из любого положения. Как видите, все продумано до мельчайших подробностей. Вообще-то, мой вам совет, постарайтесь говорить как можно меньше; «да» или «нет», вот и все.

— Господин Марченко обещал помочь мне еще в одном деле...

— Что вы имеете в виду?

— Помочь переправить за границу еще немного денег в иностранной валюте, может быть, некоторое количество золотишка...

— В вашем паспорте имеется справка о том, что вы везете с собой в Советский Союз двенадцать тысяч американских долларов. За две недели пребывания в Москве вы могли истратить три, от силы четыре тысячи долларов. Следовательно, смело можете взять с собой тысяч восемь... Что касается золота, сейчас ничего не могу сказать, нужно хорошенько поразмыслить о возможных вариантах.

На этом они расстались.

Юлию Борисовичу не подалось ни одного свободного такси. Ехать же в переполненном троллейбусе не хотелось, и он шагал от остановки к остановке в надежде поймать машину.

Наконец-то!.. Еще несколько дней, и он очутится там, где есть широкий простор для деятельности делового человека! Правда, там все гонятся за деньгами и, возможно, ему будет трудно на первых порах. Нужно помнить об этом и по-возможности обеспечить себя деньгами и ценностями. Он перебирается в свободный мир не для того, чтобы и там тянуть лямку, — с него хватит, он достаточно натерпелся здесь!.. Собственно говоря, с кем и с чем он расстается, что оставляет здесь, о чем ему жалеть? Отчизна, народ, друзья, товарищи? Пустое! Все это придумано сильными мира сего для наивных и легковверных людей. Его, Никонова, отчизна там, где ему хорошо живется... И как хорошо, что он не связал свою судьбу с Музой!

Утром он явился на работу и объявил всем, что тяжело заболел. Рентген обнаружил в его легких каверны, врачи посоветовали немедленно ехать в Крым и серьезно заняться лечением. Достать путевку в

санаторий так скоро вряд ли удастся, поэтому он вынужден ехать дикарем, а там видно будет.

Служивцы отнеслись к его несчастью сочувственно, директор фабрики долго уговаривал его остаться, обещал достать ему бесплатную путевку в туберкулезный санаторий. Юлий Борисович повторил одно и то же: «Здоровье превыше всего». Он попросил директора оформить расчет, не дожидаясь положенных по закону двух недель, и выдать ему на руки трудовую книжку — кто знает, как долго затянется лечение? Может быть, ему придется поступить в Крым на работу...

Получив от главного бухгалтера заверение, что к утру ему приготовят полный расчет, Юлий Борисович не теряя времени отправился в Красково, чтобы сообщить о своем отъезде Бороде и Шагову.

Итак, на работе все обошлось благополучно. Никто не усомнился в искренности его рассказа, все сочувствовали бедному механику. Казарновского и Шагова так просто вокруг пальца не обведешь. Не дай бог вызвать у них тень подозрения — ради спасения собственной шкуры они пойдут на все, ни перед чем не остановятся. Но ведь Юлий Борисович тоже не лыком шит, он с блеском сыграет роль больного великомученика. Обмануть таких многоопытных дельцов, как Соломон Моисеевич Казарновский и Аркадий Семенович Шагов,— это тоже чего-то стоит. Интересно было бы увидеть их физиономии, когда они узнают правду.

Вот и Красково, хороший поселок, ничего не скажешь, сухо, пахнет хвоей и под ногами хрустит песок. Борода знает, где нужно жить, здесь чистый воздух и дышится легко...

Рассказ Юлия Борисовича о кавернах в легких Борода слушал с застывшим лицом, словно буддийское божество, ничем не проявляя своего отношения к его словам.

— И надолго вы собираетесь в благодатные края? — наконец безучастно спросил Борода.

— Трудно сказать!.. Буду делать все возможное, чтобы вылечиться поскорее...— Лицо Юлия Борисовича выражало безысходную печаль и покорность судьбе.

— Что же, бог вам в помощь. Мой вам совет: живите незаметно. И... и на время забудьте мой адрес. Письма писать не надо — я не люблю их читать.

— Соломон Моисеевич! Не тревожьтесь, я не подведу вас ни при каких обстоятельствах!..

— Иначе и быть не может: мы ведь с вами привязаны к одной колеснице...

На этом закончился разговор с Бородой, а Шагова он не застал.

Вечером, в назначенный час, пришел Николич. Он внимательно оглядел комнату, заглянул даже за ширму и, отказавшись от вина, попросил перейти к делу. Ему необходимо знать биографию Юлия Борисовича с мельчайшими подробностями. Он должен знать о детских годах и родителях Юлия Борисовича, название улицы, где они жили и где находилась школа, фамилию директора школы и нескольких преподавателей. Он попросил рассказать о годах учебы в текстильном институте, вспомнить профессоров, рассказать, где, на какой улице в Москве находилось общежитие студентов, кого из товарищей он хорошо помнит, описать их внешность. Куда он поступил на работу после окончания института? За что его судили и где находится лагерь, куда его сослали? Обстановка в лагере, чем там занимался Юлий Борисович? Кого встретил и почему его освободили досрочно?

Николич ничего не записывал, и это удивляло Юлия Борисовича: неужели он все это запомнит?

— На сегодня хватит,— сказал Николич, посмотрев на часы.— Мы с вами встретимся еще, чтобы послушать продолжение вашего рассказа. Потом — накануне вашего отъезда, чтобы поменяться паспортами, и в день отъезда — тогда мы уточним наши действия и поменяемся вещами. Теперь слушайте меня внимательно. Такси закажите по телефону часа за два до нужного времени, чтобы иметь возможность поехать сперва на Курский вокзал. Там вы отпустите машину, пересядете в другую и поедете в Шереметьевский аэропорт. В аэропорту вещи свои поставьте около киоска, где продают сувениры, а сами отойдите в сторону и наблюдайте. Я поставлю свои чемоданы около ваших. Спустя минут десять — пятнадцать вы пойдете к вещам, возьмете мои чемоданы и направитесь к весам, где принимают багаж на Брюссель. Все ясно?

— Один только вопрос. Я думаю взять с собой сумку с едой... Могу я эту сумку держать в руке, чтобы не пришлось обмениваться с вами?

Николич понимающе кивнул.

— Я дам вам небольшую бельгийскую сумку, туда вы можете положить вашу еду и взять с собой, когда будете сдавать багаж. Сделайте так, чтобы советских денег на оплату не хватило, добавьте валюты, это произведет убедительное впечатление... В ожидании посадки на самолет купите русские сувениры, потом сядьте за отдельный столик в ресторане, закажите водку. Фразы составьте заранее, путайте английские и русские слова. Учтите — на вас не должно быть ничего здешнего из одежды. Если собираетесь увезти с собой камешки, постарайтесь спрятать их так, чтобы таможенники не обнаружили,— иначе загубите все.

— Разве при обнаружении у пассажиров бриллиантов или золота их задерживают? — с тревогой спросил Юлий Борисович.

— Здесь все может быть, лучше не попадаться! — ответил Николич.

Неразрешимым оставался один вопрос, и он не давал покоя Юлию Борисовичу: как быть с золотом, накопленным с таким трудом на протяжении многих лет. Что, если попытаться обменять золото на бриллианты Шагова? Но как объяснить ему, зачем понадобились драгоценные камни больному туберкулезом, уезжающему в Крым на лечение?..

Получив на фабрике расчет, трудовую книжку и блестящую характеристику, в которой говорилось, что он — честный, преданный делу работник, политически выдержанный и высококвалифицированный специалист, Юлий Борисович снова поехал в Красково к Шагову.

Тот был в отличном настроении и весело встретил Никонова.

— Болящим и страждущим наш привет! Бедный мой друг, слышал, вы тяжело заболели. Ничего, не отчаивайтесь! Мы народ такой — в огне не горим, в воде не тонем. Выкрутитесь!

— Да я и не отчаиваюсь. Просто обидно, что именно ко мне прицепилась такая пакость. Приехал попрощаться с вами. В жизни все может случиться, как говорится: поедешь — не вернешься, вернешься — не застанешь.

— Спасибо, дорогой, что не забыли. Может, на прощание пропустим по маленькой, а?

— Что вы, ни в коем случае, мне нельзя!.. Аркадий Семенович, перед отъездом хочу довести до конца одно начатое дело. Я, кажется, рассказывал вам, что одному человеку хотелось поменять золото на камешки...

— Нет, я что-то не помню, чтобы вы говорили об этом.

— Ну? А я думал, что говорил... Знаете, голова занята совсем другим! Мне кажется, что на этой комбинации можно подработать. Человек получил разрешение поехать за границу, но не может же он увезти с собой золото! Поймают и еще посадят.

— Если человек надежный, устройте встречу. Может, мы и столкуемся.

— Вряд ли ему захочется встречаться с незнакомым человеком...

— Почему?

— Не захочет рисковать — тем более перед отъездом...

— Значит, ничего не получится!

— А если я возьму на себя роль посредника?

— Хотите подработать? — засмеялся Шагов.

— И это не помешает!.. Я ведь отхожу от дел. Разумеется, на время! — поправился Юлий Борисович.

— Пожалуйста! Моя цена — тысяча рублей за карат. Сорвете больше — ваше.

— Постараюсь наладить дело. Сколько каратов вы можете предложить?

— Не больше десяти.

— Стоит ли пачкаться из-за такой мелочи? — Юлий Борисович пожал плечами.

— Если десять каратов для вас мелочь, тогда вы Ротшильд или Морган.

— Не я же покупаю. На десяти камнях много не заработаешь...

— Вот видите, дорогой, я сразу догадался, что на этом деле вы хотите иметь солидный куш! Что ж, моя ведь школа! — расхохотался Шагов. — Ладно, так и быть, ради нашей дружбы готов продать пятнадцать отличных камней. Завтра принесу к вам домой, но чтобы тысяча пьестот красненьких тут же была выложена на бочку!

...События разворачивались с закономерной последовательностью. Паспорт на имя аргентинского подданного Иована Николича и билет на самолет Москва — Брюссель были у Юлия Борисовича в кармане. Такси заказано, вещи уложены. Николич явился к нему чуть свет, принес обещанную сумку. Еще раз проверили все, повторили, где и как поставят в аэропорту чемоданы, и пожали друг другу руки.

— Если все обойдется благополучно, то встретимся с вами года через два-три где-нибудь в Западной Германии или в Швейцарии. А сейчас желаю удачного перелета, — сказал Николич и ушел.

Юлий Борисович, оставшись один, подсчитал свои деньги, восемь тысяч долларов положил в бумажник и спрятал в карман пиджака, а триста долларов и семьдесят рублей оставил на мелкие расходы. Достал из тайника завернутые в папиросную бумагу бриллианты, высыпал на ладонь, полюбовался ими в последний раз и бросил в бутылку с кефиром. Посмотрел на свет, — ничего не заметно. Еду и бутылку с кефиром положил в хозяйственную сумку. Покончив со всем этим, он самодовольно улыбнулся — хитро придумано! Кому придет в голову искать камешки в бутылке с кефиром?

Зазвонил телефон — диспетчер таксомоторной станции уточнил заказ и сообщил номер машины.

У Юлия Борисовича сильно забило сердце. Он посмотрел на часы: через каких-нибудь три часа с минутами он будет в воздухе, по дороге в Брюссель. Лишь бы подняться в воздух, а там хоть трава не расти! Если даже Николича поймают — не беда, не пошлют же за их самолетом погоню!..

Послышался шум мотора. Юлий Борисович вышел на улицу и попросил водителя такси помочь вынести вещи. Тот с готовностью согласился и заботливо уложил два чемодана в багажник. С хозяйственной сумкой Юлий Борисович не расставался.

Когда он уже сидел рядом с водителем, боковая дверца открылась и на заднем сидении очутился второй пассажир.

— Кто это? — осевшим голосом спросил Юлий Борисович.

— Шофер из нашего гаража, живет за городом. Ему тоже на Курский вокзал. Подкинем его туда, думаю, он вам не помешает? — спокойно ответил водитель и, не дожидаясь ответа, нажал на педали. Машина тронулась.

Юлий Борисович верил ему и не верил. Неужели?.. Ну нет!.. Главное не нервничать... План детально разработан, и волноваться нечего. Однако когда машина свернула на Лубянку, он все понял и истерически закричал:

— Куда мы едем?

— Спокойно! — негромко сказал ему сидящий сзади человек. — Едем туда, куда надо.

Юлий Борисович, потеряв голову, взялся за ручку дверцы, хотел выскочить из машины на ходу, но человек, сидевший сзади, положил ему на плечо сильную руку.

— Давайте без глупостей! — сказал он.

Иован Николич, или Никонов Юлий Борисович, явился на Шереметьевский аэродром в условленное время с двумя чемоданами и, не найдя около киоска с сувенирами чемоданы Юлия Борисовича, пришел в смятение. Что могло случиться, неужели провал? Если Никонов попался, то и ему не миновать чека. Возможно, скоро придут за ним тоже. Надеяться на твердость Никонова не приходится: маленький нажим, и он расколется. Ах, вернуть бы аргентинский паспорт и билет на самолет, улетел бы он как ни в чем не бывало, и всему конец. А теперь?..

А теперь нужно, пока не поздно, убраться отсюда, уехать на любой вокзал, а оттуда куда угодно, только не на юг. Там или по дороге туда его зацапают. Нужно несколько дней покрутиться в разных городах, а там видно будет. Можно же в этой стране купить за деньги паспорт или, на худой конец, украсть. Замена фотокарточки дело привычное, больших трудов не представляет... Мысли Николича работали четко, хладнокровие не покидало его. Да, уехать куда угодно, только не торчать здесь. Может быть, на несколько дней спрятаться в доме той веселой вдовы в Марьиной роще? Нельзя — потом выбираться из Москвы будет труднее, да и вдова не особенно надежная, не исключена возможность, что ее дом засечен чекистами. Выход один — выбраться из Москвы не теряя времени. Он схватил чемоданы и вышел на площадь перед аэродромом.

К нему подскочил человек, по виду шофер, и спросил:

— Вам куда, гражданин?

— На Казанский вокзал, — ответил Николич.

— Пожалуйста, довезем. Разрешите помочь? — Не дожидаясь ответа, шофер схватил чемоданы и направился к голубой «Волге», стоящей в начале площади. По дороге, повернувшись к Николичу, шофер спросил: — Вы не будете возражать, если с нами поедет еще один пассажир? Ему как раз по пути.

— Пусть едет.

Машина была без счетчика, явно не такси, но и это обстоятельство не смутило русина из Югославии: он слышал, что владельцы автомашин часто подрабатывают таким способом.

— Это ваша машина?

— Ну да! — ответил водитель.

— Подрабатываете?

— Что же делать, нужно как-то содержать семью! — Ответ водителя показался Николичу вполне естественным.

Они ехали на большой скорости. До самой Москвы ни водитель, ни

второй пассажир не проронили ни слова и только у Каменного моста водитель повернул голову и спросил у пассажира на заднем сидении:

— Вам куда?

— Я же говорил, на улицу Кирова.

На Лубянке машина сделала левый поворот и, не доезжая до углового гастронома, повернула из переулка во двор КГБ.

Иован Николич понял все...

Когда Юлия Борисовича привезли на Лубянку, там уже, в камере предварительного заключения, сидели Соломон Моисеевич Казарновский и Аркадий Семенович Шагов. Разумеется, Никонов не знал этого. Не мог он знать и того, что в тот же день утром органами КГБ были арестованы валютчики во многих городах — Львове, Харькове, Вильнюсе, Баку.

Задержанных в Москве валютчиков допрашивал полковник Голиков. Он встретил Юлию Борисовича как старого знакомого и улыбнулся ему, когда тот вошел в кабинет.

— Никогда не думал, что в наши дни бывают чудеса,— сказал Голиков.— Насколько мне известно, еще вчера вы были Никоновым Юлием Борисовичем, главным механиком трикотажной фабрики, а сегодня превратились в Иована Николича, аргентинского подданного и известного агента одной иностранной державы. Чудеса да и только!

— Никакой я не агент,— пролепетал Юлий Борисович, глядя себе под ноги.

— В паспорте, лежавшем в вашем кармане, черным по белому написано: Иован Николич, по национальности русин из Югославии, по вероисповеданию православный, холост. Рост, цвет волос и прочее... Человек, носящий эту фамилию, в прошлом — известный югославский четник. Во время второй мировой войны он работал в фашистской разведке, после войны перешел в разведку одной крупной державы. Может быть, тут ошибка, это не вы? Впрочем, не может быть — вот ваша фотокарточка!

Никонов молчал.

Голиков предложил Никонову сесть. Он позвонил и приказал привести к нему задержанных Казарновского и Шагова. При упоминании этих фамилий Юлий Борисович вздрогнул, словно его ударил электрический ток.

— Гражданин Казарновский, вы знаете этого человека? — спросил полковник, показывая на Никонова, когда задержанные вошли в сопровождении часового и встали у стены.

Старик внимательно осмотрел Никонова с ног до головы и отрицательно покачал головой.

— Первый раз вижу.

— Не надо так, Соломон Моисеевич, зачем капать на мозги? — вмешался Шагов.— Наши карты биты, и теперь финтить ни к чему. Гражданин начальник, мы оба знаем этого человека, зовут его Юлий Борисович, фамилия Никонов! — Аркадий Семенович вел себя развязно, почти весело.

— Ничего не понимаю! По паспорту он аргентинский подданный Иован Николич, а вы утверждаете, что он Никонов.— Голиков с улыбкой смотрел то на Шагова, то на Никонова.

— Ай-ай-ай, все-таки захотелось ему уехать за границу!.. Пижон вы этакий, я же предупреждал, что из этой затеи ничего не выйдет. Не послушались,— лицо Шагова выражало презрение.

— Аркаша, я же говорил вам, что не верю в болезнь этого челове-

ка, что тут что-то не так. А вы что? Юлий, мол, порядочный малый, ему нет никакого резона обманывать нас. Получили? Сам попался и нас потащил за собой! — Соломон Моисеевич находился в страшном гневе, и когда он говорил, его седая борода тряслась.

— Не понимал тогда, не понимаю и сейчас, какой у него был резон обманывать нас — что он мог иметь от этого? Кошунство предать друзей, так много сделавших для тебя. Этого не позволяют себе даже отъявленные уголовники. Должна же быть у человека совесть? Можно сказать, мы подобрали его голого и босого, в люди вывели. После этого верь в людскую благодарность!

Между бывшими компаньонами началась тихая перебранка, и полковник не мешал им. Пусть наговорятся.

— Тысячу раз повторял вам, Аркаша, что вы наивный человек. Дожили до зрелого возраста и все же остались наивным мальчишкой, все ищите в людях благородство. Где оно? Показали бы хоть один раз.

Голиков не выдержал и перебил Казарновского:

— А себя вы считаете благородным человеком?

— Безусловно!

— Однако только что попытались обмануть меня, утверждая, что не знаете Никонова. Разве это благородно?

— Тут совсем другое дело. Даже в святом писании сказано: ложь во благо. Если бы не Аркаша, я и сейчас настаивал бы на своем, потому что, оказывается, на самом деле не знал этого человека.

— Понимаю, вы всегда руководствовались святым писанием. А ваше поведение при обыске? Насыпали на стол целую кучу золотых безделушек, колец, серег, браслетов и уверяли наших сотрудников, что больше ничего нет у вас. Разве такое поведение тоже предписано святым писанием? Спасибо старухе, живущей у вас не то экономкой, не то приживалкой: со словами, что ей наконец хочется спокойно спать, она показала все три места, где были зарыты кубышки с золотом, бриллиантами и иностранной валютой.

— Что поделаешь, каждому хочется спасти хоть что-нибудь из того, что он копил годами! — смиренно ответил Борода.

В дверь постучали.

Вошел Матвеев. Увидев в кабинете задержанных, он осекся и замолчал на полуслове.

— Ничего, можете докладывать при них. Это даже лучше — пусть они узнают всю правду.

— Мною задержан и доставлен сюда Иован Николич. При нем обнаружен паспорт на имя Никонова Юлия Борисовича, его трудовая книжка, характеристика с места работы и много советских денег. В чемоданах находились: портативный передатчик и приемник, микрофотоаппарат, беззвучный пистолет и отравляющие вещества. Николич потребовал вызвать к нему представителя посольства, но у него не было никаких документов, подтверждающих его иностранное подданство, поэтому просьба не была удовлетворена.

— Благодарю вас, вы отлично поработали! — сказал полковник и обратился к Никонову: — Теперь вы поняли, кому вы помогли обосноваться у нас?

— Я же ничего этого не знал... — ответил Никонов. Его окончательно покинуло мужество.

— Знали, вы многое знали! — Голиков позвонил и приказал принести хозяйственную сумку задержанного. — У меня к вам вопрос: зачем вы взяли с собой еду — боялись, что не накормят в самолете?

— Страдаю хроническим катаром желудка и соблюдаю строгую диету, — ответил Юлий Борисович.

— Вот как!.. Оказывается, кроме туберкулеза, вы еще болеете катаром желудка. Кефир — это диета?

Ответа не последовало.

Голиков встал, взял из сумки бутылку с кефиром и осторожно вылил ее содержимое в умывальник. Борода и Шагов смотрели на него во все глаза. Один Никонов сидел, безучастный ко всему.

— Да вы могли отдать богу душу! — воскликнул Голиков. — Посмотрите, тут, на дне бутылки целый булыжник.

Полковник осторожно прополоскал водой бутылку и, когда камни хорошо промылись, высыпал их на стекло стола. Под светом настольной лампы бриллианты заискрились.

— Какой же, оказывается, он подлец: меня, своего благодетеля, так обмануть! Говорил, есть покупатель на мои камешки, и я продал ему пятнадцать штук...

Голиков встал.

— Хватит, сеанс окончен! — сказал он. — Могу еще сообщить для вашего сведения, что все ваши сообщники-валютчики в других городах арестованы тоже. Отпираться вам не стоит: мы ведь были в курсе ваших дел, ждали только последнего гостя из-за границы. Товарищ часовой, уведите арестованных, — приказал он.

Полковник и майор молча наблюдали, как Казарновский, Шагов и Никонов, понурив головы, шли за часовым...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Комиссии профсоюзов исчезли с комбината так же неожиданно, как и появились. После их ухода начались всякие разговоры, пересуды.

Одни утверждали, что на этот раз Власову не выкрутиться — ведь обследователи были наделены большими правами. Такие утверждения подкреплялись таинственным молчанием героя дня — Капралова. Он отделивался улыбками, когда его спрашивали о результатах работы комиссий, и разводил руками, как бы говоря: «Знаю, но сказать ничего не могу». Другие говорили, что председатель фабкома оказался человеком недалеким, ничего не понял из того, что делается на комбинате, и вместо того, чтобы включиться в общую работу, поднял никому не нужную шумиху и зря замутил воду.

Слухи эти доходили и до Власова, но он не придавал им особого значения. Дела на комбинате шли отлично. Снабженцев, транспортников и даже кладовщиков словно подменили — они старались вовсю, всячески шли навстречу требованиям заведующих фабрик и начальников цехов, заказы выполняли без затяжек. Кладовщики, а иногда и сам начальник снабжения обходили вечером цехи и записывали требования с тем, чтобы утром, до начала смены, доставить на место нужные материалы и химикаты. Успешно шло и строительство нового корпуса. Строители закончили кладку, покрыли железом крышу и приступили к внутренним отделочным работам.

Власов старался не замечать мелочей, всячески отталкивал их от себя, но они, эти мелочи, порою наступали со всех сторон, принимали угрожающие формы, вроде конфликта с заведующим районным финансовым отделом или столкновения с Капраловым. Они портили настроение и даже угрожали свести на нет все его усилия.

Вскоре выяснилось, что заведующий райфинотделом выполнил свою угрозу и наложил арест на счет фонда предприятия, где оставалось сорок семь тысяч рублей и куда могли вернуться пятьдесят тысяч, переведенные «на авось» на текущий счет Мосстроя.

Не находя иного выхода, Власов отправился к секретарю горкома партии по промышленности. К счастью, секретарь понял его без лишних объяснений и сердито покачал головой.

— Черт те что делается! — сказал он. — Партия, правительство ищут пути, считают нужным экспериментировать, проверять на практике новые формы руководства промышленностью, а какой-то чинуша сводит на нет усилия целого коллектива!..

— Я всячески пытался разъяснить заведующему райфо причины, приведшие к уменьшению налога с оборота по нашему комбинату, но это ни к чему не привело. Он не хотел понять элементарных вещей и твердил одно: «Я не вправе вникать ни в какие объективные причины».

— Зачем ему утруждать себя и портить нервы?.. Хорошо, мы этого финансиста приведем в чувство, чтобы впредь не зарывался! — обещал секретарь горкома и после непродолжительного раздумья добавил: — Независимо ни от чего, вы напишите докладную записку. Расскажите обо всем, что мешает вашей нормальной работе, упомяните и о вашем председателе фабкома и о профсоюзных комиссиях, обследующих ваш комбинат. Мы доложим Центральному Комитету, чтобы заранее стало известно: повые мероприятия встретят серьезные сопротивления в отдельных звеньях советского аппарата и... — тут он замаялся, но все же договорил: — и не исключено, что даже в некоторых партийных организациях, где сидят люди, отвыкшие думать...

Спустя несколько дней на пленуме райкома партии, где должны были выбирать нового секретаря, к Власову как ни в чем не бывало подошел заведующий райфо.

— Арест с вашего счета мы сняли, так что можете выписывать деньги и расходовать по вашему усмотрению... Скажите, Власов, зачем вам понадобилось жаловаться на меня в вышестоящие организации — разве мы не могли договориться между собой?

— Нет, не могли, — резко ответил Власов и отошел от него.

До начала заседания пленума секретарь горкома партии сел рядом с Власовым и доверительно сказал:

— Алексей Федорович, быть бы вам первым секретарем, если бы не особые обстоятельства, сложившиеся на вашем комбинате!.. В городском комитете партии был серьезный разговор по этому поводу, но секретари пришли к заключению, что вас трогать нельзя.

— Хорошо, что так!.. Какой из меня секретарь райкома? Я — законченный хозяйственник, и дай бог справиться со своими делами. Зачем только вы взяли от нас Дмитрия Романовича Сизова? Поверьте, без него я совсем осиротел и работать мне стало тяжело. Не пойму, в чем дело, — есть люди, не скрывающие свою неприязнь ко мне. Ревнуют, что ли? Но дело не во мне — они мешают работать всем, чем могут, начиная от мелких уколов и до открытых скандалов. Я только и знаю, что без конца отбиваюсь от наскоков, вместо того чтобы спокойно работать. Знаете, что сказал мне на днях один директор группы текстильных фабрик? «Конечно, имея такие связи в верхах и пользуясь крепкой поддержкой, можно делать все, что угодно, — сказал он. — В середине года корректировать план и перейти на выработку выгодного ассортимента, платить работникам повышенную зарплату и заманивать к себе лучших специалистов. Но имей в виду, Власов, таких белых ворон мы видывали множество на своем веку, они порхали, порхали и сломали себе голову, и ты тоже последуешь их примеру! А мы, рядовые, как те клячи, тянем потихоньку лямку и будем тянуть дальше»...

— Что же вы ему ответили? — поинтересовался секретарь горкома.

— Ничего!.. У меня даже язык отнялся от неожиданности. Повернулся и ушел, а вот обида, словно заноза, в сердце осталась.

— Дураки и завистники были и, видимо, будут еще долго!..

Началась работа пленума, и секретарь горкома не успел закончить свою мысль.

Секретарем райкома избрали Новикова, молодого инженера, работавшего до этого руководителем партийной организации одного крупного машиностроительного завода.

По дороге на комбинат Власов впервые обратил внимание на тронутые желтизной листья на деревьях и подумал о том, что лето прошло, а он даже не заметил его. «Не мешало бы немного отдохнуть, поехать к морю, пополоскаться в соленой водичке, позагорать, ни о чем не думая. Вот было бы славно»,— думал он и дал себе слово весной будущего года, когда завершит перестройку комбината, обязательно поехать к морю...

На комбинате он по привычке обошел цехи, беседовал с рабочими, мастерами, подолгу стоял перед досками показателей. Везде одно и то же—выработка ночных смен составляла всего шестьдесят—шестьдесят пять процентов дневной. Чего только не предпринимали, чтобы хоть немного поднять выработку,—ничего не помогало. Особенно резко падала выработка между тремя и пятью часами.

Когда-то, когда на комбинате располагали большим директорским фондом, организовывали бесплатные ночные завтраки. Тогда было много разговоров по этому поводу. Нашлись и такие, что пытались высмеять «затею Власова». Однако опыт показал, что ночные завтраки полностью оправдывают себя: выработка в ночных сменах поднялась на двенадцать—пятнадцать процентов. В переводе на конкретный язык это означало дополнительно пятнадцать тысяч метров шерстяных тканей или пять тысяч костюмов. По утверждению врачей ночные завтраки содействовали и улучшению здоровья рабочих.

Чтобы возобновить эту практику, Власову пришлось прибегнуть к обходному маневру. Капралов из упрямства мог сказать «нет»—и все тут. Не будешь же по этому поводу затевать переписку с вышестоящими организациями... Власов вызвал к себе Сергея и напрямик спросил:

— Ты можешь дать Капралову партийное поручение вне комбината—хотя бы на два-три дня?

— Могу. Но для чего?—спросил Сергей.

— Все скажу. Хочу восстановить бесплатные ночные завтраки, но боюсь, что наш председатель заартачится и не даст согласия только потому, что это моя инициатива... А без профсоюза я не вправе это сделать. Если Капралов будет отсутствовать, то на законном основании мы можем договориться с его заместительницей: сам знаешь, она женщина толковая, хорошая коммунистка—она поймет и даст согласие.

— Что ж, готовьте решение, я договорюсь с райкомом и откомандирую Капралова на трехдневные курсы агитаторов. Ему надо подучиться—не помешает...

— Отлично!—Власов оживился.—А когда начинают работать эти курсы?

— На той неделе.

— Хорошо. За это время мы договоримся с заведующим столовой и все подготовим!..

А утром следующего дня на столе у Власова лежала бумага, извещающая, что директор комбината А. Ф. Власов, секретарь партийной организации С. Т. Полетов и председатель фабричного комитета Ф. Ф. Капралов вызываются на заседание в МГСПС, где будут обсуж-

даться итоги обследования «О нарушении трудового законодательства на Московском камвольном комбинате».

Прочитав эту бумагу, Власов развел руками. Он и понятия не имел, что его обвиняют в таких серьезных грехах, как нарушение трудового законодательства.

После диспетчерского часа он пригласил к себе Капралова.

— Федор Федорович, садись и хоть вкратце скажи, в чем конкретно меня обвиняют? — спросил он.

— Откуда мне знать?

— Обследования начались по твоим сигналам...

— Хотя бы и так!

— Значит, ты знаешь, о чем речь. Сделай милость, проинформируй меня, чтобы подготовиться к заседанию МГСПС, хотя бы знать, какие документы следует захватить с собой.

— Я к вам в помощники не нанимался! — отрезал Капралов. — Там на месте все скажут...

— Ну ладно, обойдемся как-нибудь без тебя!..

На заседании в МГСПС долго нельзя было разобраться, куда клонится дело. Власов сидел в углу, прислушивался к словам докладчика, к репликам председательствующего и думал, что если верить словам руководителя комиссии, то его, Власова, нужно исключить из профсоюза, поставить вопрос о возможности дальнейшего его пребывания на посту директора комбината и дело передать прокурору — для привлечения к уголовной ответственности. А он не чувствовал за собой никакой вины и бесился от нелепости ситуации.

Руководитель комиссии МГСПС говорил:

— На камвольном комбинате совсем забыли о существовании у нас закона о труде!.. Только за последние четыре месяца сокращения и выброшены на улицу двадцать инженеров и техников, почти столько же бухгалтеров, счетоводов, табельщиков. Часть служащих переведена на производство рядовыми рабочими, а четырнадцать дипломированных инженеров и техников назначены мастерами...

— Чем же это плохо? По крайней мере будут трудиться с пользой! — подал реплику кто-то из сидящих за столом.

— В данном случае я не берусь судить, что плохо, что хорошо, а объективно констатирую факты! — ответил докладчик и продолжал: — Директор комбината Власов самовольно, без всяких на то оснований, увеличил зарплату инженерно-техническим работникам и служащим почти на тридцать процентов — это кроме прогрессивки, которая выплачивается ежемесячно... Он, имея возможность платить значительно больше, стал переманивать к себе специалистов с других предприятий... В результате необдуманных и поспешных мероприятий, проводимых директором этого комбината, вносится разноречивая политика зарплат и создаются нежелательные инциденты... И вообще директор комбината Власов окончательно обюрократился, чувствует себя там полномочным хозяином, ни с кем не считается и делает все, что захочет...

— Нельзя ли без оскорблений и громких фраз? — остановил его председательствующий. — Вы не прокурор, мы не судьи... Продолжайте.

— Я просил бы меня не перебивать, — огрызнулся докладчик и продолжал как ни в чем не бывало: — Власов совсем не считается с профсоюзными организациями, нарушает условия коллективного договора. Дело дошло до того, что он стал самовольно расходовать фонд предприятия, без согласования с фабкомом... Власов привык на всех покрикивать, даже с нами, с представителями авторитетных профсоюзных организаций, обошелся не очень вежливо, грозился запретить работникам яв-

ляться на комиссию для собеседования...— Свое выступление он закончил так: — Мы считаем своим долгом поставить в известность МГСПС, а также ВЦСПС, что на комбинате сложилась нездоровая атмосфера и дальнейшее пребывание Власова на посту директора вряд ли целесообразно!..

Докладчик умолк, и в кабинете воцарилось молчание. Власов смотрел куда-то в угол, Сергей сидел, с трудом сдерживая возмущение.

— Как будем работать дальше? — спросил председательствующий. — Дадим слово товарищу Власову или послушаем доклад второй комиссии?

— Наши выводы согласованы, и мне нечего добавить к сделанному докладу, — сказал руководитель комиссии ВЦСПС и тут же добавил: — Может быть, я выступлю в ходе обсуждения вопроса, если, конечно, возникнет необходимость...

— В таком случае, послушаем вас, Алексей Федорович, — обратился председатель к Власову.

— Откровенно говоря, — сказал Власов, — я настолько озадачен, что не знаю — давать ли вам объяснения, или бежать домой и просить мать насушить сухарей!.. Слушая обвинительную речь докладчика, я думал, что мое место, видимо, не здесь!

После горькой шутки Власова в напряженной атмосфере как будто наступил перелом.

— Думаю, сухари вам не понадобятся! — сказал председатель. — Лучше говорите.

— Хорошо... У нас действительно проведено сокращение штатов инженерно-технических работников и служащих. Часть служащих обучаются рабочим профессиям, другие ушли с комбината. Мы приняли меры для их трудоустройства, правда — с опозданием, но приняли, и в данное время они все работают. Некоторые инженеры и техники заменили мастеров-практиков. Это укрепило среднее звено и безусловно улучшило руководство сменами. Хотел бы спросить уважаемого докладчика, представляет ли он себе большую перестройку, новую систему планирования, участие коллектива в той или иной форме в прибылях предприятия без резкого подъема производительности труда и резкого снижения себестоимости выпускаемой продукции? Установили на комбинате машиносчетную станцию, сократили служащих, ввели стройную систему руководства производством и освободили некоторых ненужных специалистов. Ввели малую механизацию и сократили подсобных рабочих. Как же иначе?

— Все равно, никто не позволит вам творить произвол! — крикнул с места докладчик.

— Это не ответ, — сказал Власов. — Впрочем, ждать от вас разумного ответа трудно. Вы даже не попытались вникнуть в суть дела и понять, что речь идет о большой и серьезной перестройке. Я понимаю — всякая новизна вызывает сопротивление, тут уж ничего не поделаешь. Возможно, что в процессе перестройки мы, и лично я, допустили промахи и ошибки. Оспаривать это я не собираюсь. Но думаю, что было бы лучше, если бы комиссии и бригады профсоюзов, вместо окриков и угроз, помогли бы нам разобраться в наших ошибках. Потом — нужно же быть элементарно честными и объективными, характеризовать то положительное, что достигнуто на комбинате за сравнительно короткое время!.. На мелочах я останавливаться не собираюсь. Но хочу сказать — если на комбинате параллельно работают две комиссии, занимающиеся одним и тем же вопросом, и без конца отрывают людей от работы, это вызовет возмущение у кого угодно. Дело дошло до того, что руководитель вашей комиссии на целый час обезглавил диспетчерскую службу. Такие вещи

делать нельзя — это знают все, кто имеет хоть малейшее отношение к производству. Но, видимо, докладчик не имеет никакого отношения к производству, поэтому я бы порекомендовал ему поменять профессию, пока не поздно: пойти работать в прокуратуру. Хотя теперь там тоже не держат таких...

— Это уже слишком! Я прошу призвать его к порядку! — снова крикнул с места докладчик.

Председательствующий постучал карандашом по графину и сказал:

— Когда вы выступали здесь как обвинитель, никто вас не призывал к порядку. Почему же нужно призывать к порядку товарища Власова? Продолжайте, Алексей Федорович!..

— Мне, собственно, и говорить-то больше нечего. Могу только добавить, что перестройка промышленности, намечаемая партией и правительством, весьма и весьма целесообразное мероприятие — об этом свидетельствует наш скромный опыт. И мы сделаем все зависящее от нас, чтобы доказать это на деле, добившись значительно лучших результатов!.. Во имя этого живем, во имя этого работаем...

— Мы в этом не сомневаемся! — сказала бывшая ткачиха, член президиума.

— Кто желает еще высказаться? — председатель обвел присутствующих взглядом.

— Я!..

Поднялся Сергей.

— Алексей Федорович Власов руководит нашим комбинатом не первый год. Руководит толково, со знанием дела и, если хотите знать, является образцом настоящего советского хозяина. Здесь же пытались, непонятно с какой целью, изобразить его зазнавшимся бюрократом! — Сергей посмотрел в сторону докладчика. — Сказали бы вы эти слова у нас на комбинате, рабочие освистали бы вас!..

— Ну да, у вас не особенно любят критику, вы так воспитываете свой коллектив, — подал реплику докладчик.

— Я бы не советовал вам брать на себя слишком много и говорить с таким апломбом о вещах, которых вы не знаете, — спокойно ответил Сергей. — Партия и правительство дали нашему коллективу ответственное задание. Ясно, что долг партийной, профсоюзной и других общественных организаций состоит в том, чтобы всячески помочь директору. Разумеется, и поправить его, если он в чем-то ошибется. Если вы думаете, что у нас все обходится без горячих споров с директором, то глубоко ошибаетесь. Спорим и критикуем, когда нужно, но спор ради спора или критика ради одной критики не дело — я так думаю. Как же поступает Капралов? Ничего не поняв в наших новых начинаниях, он не только мешает в работе, но еще пишет клеветы, отнимает у занятых людей дорогое время. Вы думаете, я не уговаривал его? Еще как! Федор Федорович старый текстильщик и много поработал на своем веку, но никто не позволит ему мешать людям заниматься делом. Дошло до того, что нам все время приходится думать, как бы обойти Капралова, чтобы он не мешал и не срывал важные мероприятия. Еще вчера сидели и гадали, куда бы сплавить его хотя бы на два-три дня, чтоб не путался под ногами и не помешал нам организовать бесплатные завтраки для ночных смен. Скажу вам откровенно: дальше так работать невозможно! Прошу у вас разрешения собрать профсоюзную конференцию и поставить на обсуждение вопрос о новом председателе фабкома!..

Сергей сел на свое место, и председатель предоставил слово Капралову. Тот бормотал что-то невнятное о присвоении Власовым диктаторских прав. Когда он умолк и растерянно посмотрел по сторонам, председатель поднялся и сказал, что, по его мнению, вопрос предельно ясен и

вряд ли есть надобность продолжать прения. Лично ему хотелось бы сказать всего лишь несколько слов.

— Вы извините меня и не обижайтесь,— обратился он к докладчику,— если скажу, что вы не разобрались в вопросе и, к сожалению, продолжаете работать старыми—порочными методами. Инспектор МГСПС — не прокурор и тем более не судья, чтобы выносить такие категорические решения, как сделали вы. Здесь называли Алексея Федоровича Власова хозяином, вкладывая в это понятие нечто нехорошее. А я скажу вам, что в наше время директор советского предприятия обязательно должен быть хозяином, должен не только беречь народное достояние, но и смело двигать свое дело вперед! Тот, кто этого не понимает, не понимает также и того, что перестройка работы промышленности прежде всего преследует цели улучшения материального положения рабочих!..

В заключение он сказал, что согласен с товарищем Полетовым: Капралов не обеспечит руководство такой большой профсоюзной организацией, как фабком камвольного комбината. Его придется освободить от работы и назначить новые выборы.

— Наказали того, кто протестовал против произвола! — патетически крикнул с места Капралов.

Никто не обратил внимания на его слова...

Власов и Сергей вышли на улицу. Пока они заседали, над Москвой прошел небольшой дождик, и асфальт на тротуарах блестел, как темное стекло.

— Есть все-таки справедливость на свете! — весело сказал Сергей.

— А ты сомневался в этом? — ответил Власов и спросил: — Пошли пешком?

— Всегда готов!

Они отпустили водителя домой, а сами зашагали по направлению к Манежной площади. Пересекли под землей улицу Горького и вышли к старому зданию Московского университета.

— Все равно сегодня день потерян! Поедем в парк культуры, вспомним молодость, побродим без дела по аллеям! — предложил Власов.

— Принимается единогласно! Тем более, что молодость свою вспоминают чаще всего молодые,— пошутил Сергей.

Народу в парке было мало — всех разогнал дождик. С деревьев падали капли дождя, пахло влажной землей, цветами. Шагая к пруду, Власов с удовольствием смотрел вокруг. Он, человек, любящий природу, впервые в этом году видел так близко деревья, траву и жадно дышал полной грудью.

— Пошли в ресторан,— сказал Сергей,— шашлыком пахнет!..

Они сели за свободный столик, накрытый скатертью сомнительной чистоты. Власов по-хозяйски перевернул скатерть и, когда появился официант, заказал шашлыки, закуску, бутылку вина. Как заправский тамада, он наполнил бокалы красным вином, поднял свой и сказал:

— За наши успехи!

— За наши успехи! — повторил Сергей и опорожнил бокал до дна.— А все-таки мне почему-то жалко Капралова! — сказал он.

— Самодуров жалеть не стоит — это к добру не приведет! — ответил Власов и задумался.

Погрузился в свои мысли и Сергей...

Давно был съеден шашлык, выпита бутылка вина, а они все сидели молча, наблюдая через открытое окно ресторана за редкими прохожими.

Наступили сумерки, в парке зажглись фонари. Народу стало больше. В ресторане заиграл оркестр. Им не хотелось вставать, двигаться. Оба они очень устали.

2 октября

Лед растаял. Неприязнь Милочки к Музе Васильевне, кажется, исчезла. Теперь они часто встречаются, о чем-то часами болтают. Как любит говорить Иван Васильевич: чужая душа, а тем более женская, потемки, и от ненависти до любви, как известно, один шаг.

Избранница Леонида старику явно не нравится — стоит Музе появиться у нас, как Иван Васильевич, сославшись на какие-нибудь дела, направляет свою коляску за занавеску и уже не показывается.

20 октября

После двухнедельного останова комбинат опять начал работать. Честь и хвала ремонтникам — за короткое время они отремонтировали и промыли прядильные машины, ватера, ткацкие станки и другое оборудование. Строители заново покрасили цехи, починили полы. Электрики провели всюду дневной свет. Теперь все блестит — кругом чистота и порядок!

Правда, мы все устали основательно: шутка сказать, две недели командиров производств работали, что называется, не покладая рук, но зато намеченный план работ выполнен полностью.

Всякий раз после останова комбината люди забывают элементарные правила техники безопасности. Учитывая это обстоятельство, мы решили собрать по цехам собрание рабочих перед началом работы каждой смены, поздравить с началом работ и напомнить о необходимости соблюдения осторожности. Это помогло: все обошлось благополучно и никаких происшествий не было.

2 декабря

Вчера строители сдали государственной комиссии наш двухсекционный девятиэтажный дом. Хотели к Октябрьским праздникам, но не успели. Не дом — красавец, облицованный керамикой, с лоджиями, балконами, выходящими на Москву-реку. В первом корпусе на каждом этаже — двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры, во втором тоже семь квартир на каждом этаже, но там по две однокомнатных квартиры. Это значит, что скоро более ста двадцати семейств будут справлять новоселье. Квартиры просторные, светлые. Кухни и ванные комнаты отделаны кафелем, горячая вода, газ, полы паркетные, в коридорах удобные стенные шкафы.

Мы думали — были бы квартиры, а распределить их проще простого, для этого большого ума не требуется. Рассмотрели заявления с представителями цехов, утвердили список, через райсовет выдали ордера и делу конец. А вот Алексей Федорович решил совсем по-другому. Прежде всего он добился через Моссовет, чтобы после митинга по случаю окончания строительства жилого дома строители заложили хотя бы символический фундамент нового, на этот раз уже четырнадцатизэтажного дома, неподалеку от первого. Потом посоветовал нам распределять квартиры по цехам, приказал начальникам вывесить списки нуждающихся в жилье на видном месте и обязательно за три дня до заседания цеховой жилищной комиссии. Больше того, потребовал обсудить решение комиссии на рабочих собраниях и там же утвердить списки на получение квартир. Словом, мы как бы сказали: «Товарищи рабочие, деньги на строительство дома заработали вы, вы и распределяйте квартиры».

Алексей Федорович и мне предложил квартиру — целых три комнаты. Но я отказался. Ясно, что в новом доме жить куда удобнее, чем в нашей развалюшке. Хлопот тоже никаких, не нужно каждую весну ремонтировать крышу, конопатить стены, заменять целые звенья сруба. Однако с нашим домом для меня связано столько дорогого. В палисаднике я каждый год чищу скамейку, где последний раз сидел отец перед отъездом на фронт и дал мне наказ беречь маму и ухаживать за цветами. В комнатах все напоминает маму, иногда мне кажется, что она вот-вот выйдет мне навстречу, как бывало в первые дни моей работы на комбинате и ласково скажет: «Устал небось, сынок, сейчас покушаешь, я сварила картошку, масла постного получила по талону, поспишь, и все пройдет». Даже ее голос звучит у меня в ушах. Потом палисадник перед домом — цветы, сирень, все привычное, как бросишь и уедешь? Ясно, что рано или поздно дом наш снесут, но я решил жить в нем до последнего...

12 декабря

Казалось, все идет прекрасно, Леонид получил ордер на двухкомнатную квартиру в первом этаже — вторая комната предназначалась для Ивана Васильевича. А потом началось...

По тому, как относились друг к другу Леонид и Муза, мы были уверены, что вопрос о женитьбе у них решен и остановка только за квартирой.

Получив ордер, Леонид ходил гоголем, объездил все мебельные магазины, интересовался нарядными занавесками и другими мелочами.

Когда Милочка говорила, что у Музы есть все и она возьмет с собой свои вещи, Леонид неизменно отвечал: это ее дело, а он — мужчина и хочет привести жену в приличную квартиру.

Иван Васильевич наотрез отказался переехать к Леониду. «Никуда я отсюда не поеду, — упрямо повторял он. — Здесь у меня дочь, Сережа, внук и внучка, а там что?» — «Значит, я для тебя чужой?» — спрашивал Леонид. «Нет, конечно! Но к тебе я не поеду...» — «Как хочешь!» — Леонид обиделся, выбежал в палисадник. Я вышел за ним. «Ты не сердись на старика», — сказал я. Он ничего мне не ответил.

А дня через два он пришел домой и, не сказав никому ни слова, лег на диван лицом к стене. Милочки не было дома. Подождав немного, я подсел к нему.

«Случилось что?» — спросил я. Он даже не шевельнулся. «Говори, что случилось?» — «Она отказалась выходить за меня замуж». — «Как это?» Я был до крайности удивлен. «Очень просто! Если родной отец отказывается переехать ко мне, то почему бы не сделать того же чужой женщине?» — «Расскажи толком, в чем дело?» — «Все последнее время она уверяла меня, что до знакомства со мной не верила в существование истинной любви. А час тому назад объявила, что не может стать моей женой». — «А причина?» — «Не хочет сделать меня несчастным... Говорит, что она на целых три года старше меня, что она видела жизнь, а я — пай-мальчик, чистенький такой... По ее мнению — мне нужно жениться на молоденькой девчонке и...» — «Леня, может быть она права», — вырвалось у меня. «Пошел ты к черту! — Леонид вскочил. — По-твоему, все в жизни нужно делать по таблице умножения: дважды два — четыре. А сердце? Я спрашиваю тебя, сердцу отводится какая-нибудь роль в жизни человека или нет?»

А потом мы узнали, что он вернул ордер на квартиру. Ходит мрачный, замкнулся в себе. Мы не докучаем ему вопросами. «Ничего. — успокаивает нас Иван Васильевич: — переболеет и успокоится! А Муза-то эта оказалась лучше, чем я о ней думал».

10 января 1965 года

Третьего дня был у меня в парткоме майор КГБ товарищ Матвеев и просил подробно рассказать все, что мне известно о Никонове Юлии Борисовиче, бывшем работнике нашего комбината, работавшем потом начальником отдела капитального строительства Главшерсти.

Разумеется, я сделал это с большим удовольствием, но прежде спросил — правда, что Никонова опять посадили, на этот раз органы Комитета государственной безопасности.

Матвеев ответил, что следствие еще не закончено, поэтому он затрудняется говорить о подробностях. Майор вообще человек малоразговорчивый, но кое-что я у него выудил. Оказывается, Никонов обвиняется не только в спекуляции валютой — ему предъявлено еще обвинение в подрыве экономической мощи страны и в государственной измене. «Никонов собирался уехать за границу и содействовал крупному иностранному разведчику обосноваться у нас в стране».

Беседуя с Матвеевым, я невольно думал о том, что сотрудники органов, ведущие следствие по делу Никонова, рано или поздно доберутся и до связи Музы Васильевны с ним. Теперь я был убежден, что такая женщина, как она, не могла быть участницей грязных махинаций этого подонка, но как доказать ее невиновность?

Я рассказал Матвееву обо всем, что тревожило меня, что Леонид и Муза любили друг друга.

По ответу Матвеева я понял, что ему известно все, в том числе и дружба Леонида с Музой. «Не беспокойтесь, — ответил он, — мы стараемся не только обезвредить врагов, но и уберечь покой наших людей. Непричастность Музы Васильевны Горностаевой к преступной деятельности Никонова установлена. Более того — нам известно, что Никонов неоднократно пытался подкупить ее дорогими подарками. Но она ничего не приняла от него. Зная все это, руководство дало указание не тревожить Горностаеву и не допрашивать ее. Кстати, ваш Леонид Косарев, преследуя своего соперника Никонова, одно время здорово мешал нам...»

Матвеев попрощался и ушел. Я был рад, что имена Музы и Леонида не будут упомянуты в этом грязном деле. А досада не проходила. Откуда, думал я, берется у нас столько мрази? Одни работают не покладая рук, мучаются, стараются для общего блага, а тут же рядом другие обманывают, крадут, комбинируют ради наживы. Неужели этому не скоро придет конец?

Видимо, эгоизм и стяжательство очень живучи. Пусть ими заражены немногие, но жить другим эти немногие мешают...

20 февраля

Давно не раскрывал дневник, просто некогда было. События же движутся с такой головокружительной быстротой, что ничего не стоит все пере забыть.

Прошло немногим меньше двух лет с того времени, когда мы перешли на новые формы планирования, а как все изменилось у нас! За это время нашему комбинату начислили миллион четыреста шестьдесят тысяч рублей в фонд предприятия. В умелых руках это большие деньги, на них многое можно сделать, и мы сделали уже. Я писал, что построили большой жилой дом, рядом с ним заложили фундамент нового, закончили строительство производственного помещения между корпусами, открыли новую поликлинику.

Народ на комбинате доволен — не нужно высидывать очереди в районной поликлинике.

Главврач уверяет, что все расходы на оборудование окупятся за три-четыре года. Он убежден, что при постоянной профилактике и хороших жилищных условиях заболеваемость среди рабочих сократится больше чем наполовину. Что же, пусть его слова сбудутся хоть частично, речь ведь идет о здоровье людей!..

26 февраля

Судили валютчиков. Многие, знавшие Никонова, ходили в суд. Мне пойти не удалось. Да и, честно говоря, я не очень-то большой любитель подобных зрелищ.

Никонову дали десять лет. Рабочие говорят, что ему мало дали. По моему, они правы — изменникам Родины пощады не должно быть. Нельзя допускать, чтобы кучка проходимцев оскверняла наш чистый воздух и мешала нам жить.

6 марта

Отношения между Милочкой и Леонидом какие-то натянутые. В чем дело, не пойму. Милочка ничего не рассказывает, а я не хочу спрашивать — почему-то неловко. Куда делась веселость и жизнерадостность Леонида? Он все еще ходит хмурый, почти ни с кем не разговаривает. Надо же, чтобы так получилось!..

18 марта

С некоторых пор наш комбинат превратился в место паломничества. К нам приезжают с других фабрик, знакомятся с нашим опытом. Бывают дни, когда у нас появляется одновременно по две-три экскурсии — словно на выставку или в музей. Приезжают целые бригады прядильщиц, ткачей и отделочников, а то и смешанные группы человек по тридцать — сорок. Бывают у нас и одиночки, но это главным образом специалисты — инженеры, плановики, бухгалтера. Слов нет, приятно сознавать, что нашей работой интересуются на других фабриках, внедряют у себя наш опыт. Но эти посещения отвлекают людей от работы. Дело дошло до того, что Власов вынужден был выделить специального человека для приема гостей. Выбор пал на инженера бриза Чеснокова, проработавшего на нашем комбинате больше двадцати пяти лет...

Недавно один из наших очередных гостей, экономист по специальности, спросил меня: «Скажите, а как у вас обстоит дело с текучестью?»

Я ответил ему, что за последние четыре месяца не было случая ухода из комбината без уважительных причин. Мой собеседник вытаращил на меня глаза, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Пришлось посоветовать ему пойти в отдел кадров.

22 марта

Провели отчетно-выборное собрание. Пришлось порядком попотеть. Критических замечаний было много. Были даже резкие, но в большинстве своем справедливые, доброжелательные. И все, даже самые острые критики, подняли руку за признание работы парткома удовлетворительной.

Когда стали намечать кандидатов в новый состав партийного комитета комбината, назвали и мою фамилию. Я сделал себе самоотвод. Че-

стно сказал, что вовсе не собираюсь стать профессиональным партийным работником. Работал в парткоме сколько мог, а теперь мне хочется вернуться в красилку — иначе скоро превращусь в человека без профессии.

Все проявили сочувствие, но самоотвод не приняли.

Голосовали за меня двести девяносто девять человек, один против. Это я голосовал против. И сегодня на заседании парткома меня снова избрали секретарем.

Мне очень не хотелось этого, но — что поделаешь!..

26 марта

Случилось то, чего я никак не ожидал. Вчера на пленуме меня избрали третьим секретарем и членом бюро райкома партии. Это для меня — как снег на голову!

Помню, я бормотал что-то невнятное и, наверное, совсем неубедительное. Какой, мол, из меня секретарь райкома? Я, мол, не справлюсь с такой большой работой и тому подобное...

После меня выступил Алексей Федорович и расхвалил с такой страшной силой, что я сидел весь красный как рак.

В заключение он сказал:

«Признаюсь, нам очень жаль расставаться с товарищем Сергеем Трофимовичем Полетовым, но мы понимаем, что за эти годы он вырос, стал серьезным партийным работником. Пожелаем ему больших успехов на новом поприще!»

А мне разве не жаль расставаться с комбинатом? Как вспомню, что завтра утром не надо бежать на комбинат, чтобы успеть к началу работы утренней смены, сердце кровью обливается. Такое ощущение, будто у меня отняли самое дорогое! Решил про себя: порывать с комбинатом не буду. Он меня вырастил, воспитал, вывел на широкую дорогу, по которой мне идти и идти вперед!..



ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

• • •

Когда весна течет на Север
С какой-то радостной тоской,
Я ночью думаю о себе,
Хоть человек я городской.

Когда луна в оконной раме
На крыши льет свой мертвый свет,
Я вспоминаю о Вьетнаме,
Хоть у меня там близких нет.

И спутник тот, чей лучик узкий
Во мраке движется, маня,
Чудовищные перегрузки
Обрушивает на меня.

Порой накатит вдруг такое
Среди глухой бессонной тьмы,
К чему в недавний час покоя
Казались непричастны мы.

Вера

Было у него два ромба,
Перезвоны шпор.
Стало у него два тромба
Да с врачами спор.

Было у него два друга
Незабвенных лет.
Колымы ночная вьюга
Замела их след.

Было у него два сына,
От него вдали.
У Москвы и у Берлина
Мальчики легли.

И была у него вера
Страстного бойца.
Вера революционера,
Вера — до конца.

• • •

Мимо домиков, по вечерам,
Приспособившись к пыли и тряске,
Разъезжает солдат-ветеран
На своей инвалидной коляске.
И сидящая рядом жена,
Как иная владелица «Волги»,
Смотрит вдаль на березы и елки,
Отрешенности гордой полна.

• • •

Оглушенные долгим морозом,
Как больной под глубоким наркозом,
Или как в летаргическом сне,
Стынут рожи в дневной тишине.

Выполняются зимние планы:
И леса, и поля, и поляны
Белым снегом давно замело —
Все вокруг одноцветно-бело.

Но природа без видимых выгод
Удивительный делает выпад,
И на белое то полотно
Цветовое бросает пятно.

Неожиданно ум задевая,
Как бы вспышка встает зоревая,
Споря с зимней густой белизной,
Поражает хрусталик глазной.

Изумляют отвагой расцветки
Снегири на качнувшейся ветке,
От окна твоего в двух шагах,
Или тигр в уссурийских снегах.

Воитель

«Служивые из наших мест
В любимых не теряли веры,
А в это время их невест
Уничтожали браконьеры!»

Так объявил какой-то друг
На мелкой станции, в буфете,
Но люди, бывшие вокруг,
Смеялись, слыша речи эти.

Он предлагал издать закон,
И вообще по всем приметам
Он основательно знаком
Был с обсуждаемым предметом.

Девчонка прыскала в платок,
И ухмылялись три солдата,
Один утешил: — Брось, браток! —
Зевнул и встал молодцевато.

Дежурный с видом рысака,
Как бы подозревая выпад,
Косяще глянул свысока
И вышел в дверь с табличкой
«ВЫХОД».

И там, за дверью, лишь на миг,
Пока она была открыта,
Шум поезда вдали возник
Отчетливо и деловито.

И вслед за этим — дрожь стекла...
Все повскакали торопливо.

А он остался у стола
Перед бутылкой из-под пива.

...Вновь на платформе — никого.
Вилась вдоль шпалы повилика...
И не вникали в речь его
Буфетчица и повариха.

• • •

«Уйдем, а птицы так же будут петь,
Березы так же шелестеть листвою
И так же полыхать заката медь»...
Не убивайся, полно, бог с тобою.

Когда лежать мы будем в темноте,
Пересеченной белыми корнями,
То птицы будут петь уже не те,
Что заходились некогда над нами.

Закаты, что сопровождали нас,
Сгорели вмиг, едва лишь мы
заснули,

Да и березы тихие не раз
Сменились, как солдаты в карауле.

И снег другой и воздух той зимы,
Текущий у кого-нибудь по коже,
Как люди, там живущие, — не мы,
Совсем не мы, а лишь на нас похожи.





Рисунок Г. Басырова

ЗМЕЕЙ УЖАЛЕННЫЙ

РАССКАЗ

I

Стоя в линиялом, потрепанном, чистом комбинезоне, неделю только назад стиранном еще Мэнни, он услышал, как первый ком стукнулся о основую крышку. Затем и он взялся за лопату, что в его руках (рост — почти два метра, вес — девяносто с лишним) была словно игрушка малышей на пляже, а летящие с нее глыбы — как горстки песка с игрушечной лопатки. Товарищ тронул его за плечо, сказал: «Дай сюда, Райдер». Но он и с ритма не сбился. На ходу снял с лопаты руку, отмахнул назад, ударом в грудь на шаг отбросив говорящего, и рука вернулась к не прервавшей движенья лопате, мечущей землю так яростно и легко, что могила будто росла сама собой — не сверху насыпалась, а на глазах выдвигалась снизу из земли — пока наконец не стала, как прочие (только свежее), как остальные, там и сям размеченные черепками, битым стеклом и кирпичом — метами с виду невзрачными, но гибельными для осквернителя, исполненными глубокого, скрытого от белых смысла. Он распрямился, швырком вонзил в холмик лопату — древко затрепе-

тало, точно копьё,— повернулся и пошел прочь и не остановился, даже когда от кучки родичей, товарищей по лесопилке и двух-трех пожилых людей, знавших и его и мертвую его жену еще с пеленок, отделилась старуха и схватила его за руку. Это была его тетка. В доме у нее он вырос. Родителей своих он не помнил совсем.

— Ты куда идешь? — спросила она.

— Домой иду,— сказал он.

— Что тебе там одному делать? — сказала она.— Тебе поесть надо.

Идем — поужинаешь.

— Домой иду,— повторил он, шагая прочь, словно и не почувствовав ее пальцев на железном своем предплечье, как не чувствуют мушиного прикосновения, и товарищи, у которых он был на работе за старшего, молча расступились перед ним. Но у изгороди его догнали, и он понял — тетка послала.

— Постой, Райдер,— сказал догнавший.— У нас тут бутыль в кустах...— и неожиданно-негаданно для себя самого выговорил то, обычно не упоминаемое, хоть и каждому известное: про умерших, что не хотят, либо не в силах сразу расстаться с землей, пусть облекавшая их плоть уже возвращена в нее,— сколько бы ни утверждали, подтверждали, твердили проповедники, будто не в печали, но в радости покидают юдоль и возносятся они к горней славе.— Не ходи туда. Она там еще.

Не останавливаясь, он взглянул на того сверху вниз.

— Отстань, Эйси,— сказал он (голова слегка откинута назад, внутренние уголки глаз покраснели).— Не тронь меня теперь.

И с ходу шагнув через проволочную изгородь в три нитки, пересек дорогу и вошел в лес. Сумерки уже сгустились, когда, оставив лес позади, он прошел полем, опять с ходу перешагнул изгородь и вышел на дорогу. Она была пуста в этот вечерний воскресный час — ни фургонов с негритянскими семьями, ни конных, ни идущего в церковь пешехода, что перекинулся бы с ним словом и потом уж ни за что на него бы не оглянулся,— легкая и сухая, как порошок, светлая августовская пыль, с которой праздно и неспешно ступающие воскресные башмаки стерли следы колес и копыт, следы долгой недели будней; а где-то подо всем этим — сглаженные, но не изглаженные, запечатленные, вожженные в пыль узкие, носками наружу, отпечатки босых ног жены: здесь она проходила по субботам в лавку за припасами на всю неделю, пока он мылся, придя с работы; а теперь вот он шагает размашисто (человечку помельче пришлось бы семенить рысью, чтоб не отстать), и его следы печатаются, его тело движется сквозь воздух, которого уж ей не колебать, в его глазах мелькают предметы — столбы, деревья, поля, дома, холмы — от ее глаз уже сокрытые.

Дом его был последний в ряду — не собственный, а снятый у Карозерса Эдмондса, местного белого землевладельца. Но арендная плата вносилась им вперед и без задержки, и всего за полгода, работая вдвоем с женой по субботам и воскресеньям, он перестелил пол на веранде, перестроил и накрыл кухню и купил железо для плиты. Он хорошо зарабатывал: с пятнадцати — шестнадцати лет, как только стал вытягиваться и крепнуть, он пошел на лесопилку и теперь, в двадцать четыре, был старшим на подаче леса, потому что под его началом бревен разгружалось от восхода до заката на треть больше обычного, а сам он подчас, играя силой, управлялся с колодой, которую без него двое бы крючьями волокли; уж он не сидел без работы, даже в прежние дни, когда ему, собственно, денег не требовалось, когда желания свои, вернее — нужды, удовлетворял он и так — женщины светлые и темные, по сути безымянные, ему денег не стоили, в чем ходить, было ему все равно, в любое время дня и ночи его ждала еда в доме у тетки, она даже тех двух долларов не хотела брать, что он давал ей каждую получку,—

так что платить приходилось только по субботам и воскресеньям — за спиртное да за проигрыш в кости, пока в тот день полгода назад он не взгляделся впервые в Мэнни, которую знал всю жизнь, и не сказал себе: «Хватит дурака валять», и они поженились. Он снял у Эдмондса домик и в свой свадебный вечер разжег огонь в очаге, чтоб горело, как, по рассказам, уже сорок пять лет горит и не гаснет в очаге у дяди Лукаса Бичема, старейшего из эдмондсовых арендаторов; затемно вставал, одевался, завтракал при лампе, чтобы к восходу поспеть на лесопилку за четыре мили, и возвращался домой в точности через час после захода солнца, и так пять дней в неделю. А по субботам, в первом часу дня, он поднимался на крыльцо и стучал, не в дверь и не в притолоку, а в крышу над дверью, и входил и ярким, звонким каскадом сыпал серебряные доллары на выскобленный стол в кухне, где обед дымился на плите и ждала оцинкованная лохань с горячей водой, вязкое мыло в жестянке из-под соды, простыня из отстиранной мешковины и чистые комбинезон с рубашкой, и Мэнни, собрав монеты, уходила в лавку за полмили, чтобы сделать закупки на неделю и положить остаток денег к Эдмондсу в сейф, и возвращалась, и они обедали, не наспех, как минувшие пять дней, а снова по-праздничному — ели свинину, овощи, кукурузные лепешки, пили пахтанье с пряниками — теперь, когда было где, она по субботам пекла пряники.

Но когда он положил руку на калитку, ему внезапно показалось, что там, за калиткой, пустота. Дом и раньше был не его, но теперь даже новые тесины, балки и дрань, очаг и плита, и кровать — все было лишь памятью о ком-то, и, приоткрыв калитку, он остановился и, прежде чем войти во двор, вслух проговорил: «Зачем я здесь?» — точно вдруг проснулся в незнакомом месте. Тут он увидел собаку. Он и забыл про нее. Вчера под утро она завывала, и потом ее не видно стало и не слышно — крупный пес, гончак, да еще с примесью откуда-то мастифьей крови (спустя месяц после свадьбы он сказал Мэнни: «Собака нужна мне большая. Иначе в день выдохнется. Это только ты одна такая — в уровень со мной умеешь держаться») показался из-под веранды, подбежал, верней — скользнул, сквозь сумерки и, слегка прижимаясь к хозяйской ноге, касаясь пальцев задранной кверху мордой, беззвучно встал рядом, обратясь к дому; и мгновенно, словно хранимая, от чужих хоронимая до сей поры стражем-собакой, оболочка из дранок и тесин сгустилась, сплотилась перед ним, и на минуту ему показалось, что он не сможет туда войти.

— Но мне ж поесть надо, — сказал он. — Обоим нам поесть надо.

И двинулся вперед, а пес остался на месте, и он обругал его, обернувшись.

— Ко мне! — сказал он. — Ты чего боишься? Она ж и тебя любила, не только меня.

И они поднялись на крыльцо, подошли к двери, вошли в дом — в наполненную сумраком комнату, где шесть прожитых месяцев сгрудились, до удушья стиснулись теперь в один миг времени, стиснулись, сгрудились у очага, перед которым, когда еще плиты не было, он, пройдя свои четыре мили с лесопилки, неизменно заставлял ее на короточках — видел очертанье бедер и узкой спины, узкую ладонь, заслонившую лицо от жара, и в другой руке, над огнем, сковородку — над огнем, что зажжен был на всю жизнь и вчера к восходу солнца обратился уже в сухую, легкую горсть мертвого пепла, — а он стоит вот в последнем отсвете дня, гулко и неукротимо стучит его сердце, вздымается и опадает грудь в неустанном, глубоком дыханье, не участвовавшем от быстрой ходьбы по кочкам леса и рытвинам поля и не замедлившемся от недвижимого стоянья в безмолвной и меркнувшей комнате.

Слегка налегавшая на ногу тяжесть исчезла. Пес побежал, стуча,

шурша когтями по доскам пола,— вон из дома, со двора. Нет, остановился на крыльце, вскинул морду, завыл, и тут он увидел ее. Стоя на пороге кухни, она глядела на него, Он замер. Затаил дыханье, переждал, чтобы не дрогнуть ни лицом, ни голосом, не напугать.

— Мэнни,— сказал он.— Не думай, мне не боязно.

Он шагнул к ней не спеша, не протянув еще даже руки, приостановился. Опять шагнул было. И тотчас она начала меркнуть. Он мгновенно застыл, снова перестал дышать, приказывая глазам удержать ее. Но глаза не слушались. Она меркла, таяла.

— Подожди,— сказал он, и никогда, ни для кого еще не звучал его голос так мягко.— Тогда и я с тобой, голубка.

Но она уходила. Она быстро дотаивала, он же явственно ощутил, что уперся в неодолимый барьер: в эту силу свою, которой нипочем бревно, что впору ворочать двоим, в эти слишком крепкие и живучие мышцы, кости, жилы,— а ему хоть раз, да пришлось уже видеть, сколь туга, неподатлива смерти (даже внезапной и насильственной) молодая плоть — не сама собой, а заложенной в ней волей к жизни.

Ушла. Он шагнул через пустой порог, подошел к плите. Лампу зажигать не стал. Ему не нужна была лампа. Эту плиту он сам сложил, сбил и приладил полки для посуды; нашарив там две тарелки, из холодной кастрюли на холодной плите набрал в них чего-то — тетка вчера принесла, и он ел тогда же, но сейчас не помнил, что и когда это было; поставив тарелки на голый выскобленный стол под тускнеющим одиноким окошком, он пододвинул два стула, сел, снова переждал, чтобы не дрогнул голос.

— Иди к столу,— позвал грубовато.— Садись, поужинаем. Без никаких...— и не договорил, опустил глаза, бурно, всею грудью задышал, однако совладал с собой, с полминуты просидел не шевелясь, потом поднес ко рту ложку с холодным, слипшимся горохом. Губы оттолкнули загустелую, мертвую массу. Не успев и согреться во рту, она упала, рассыпаясь, на тарелку, брякнула ложка, грохнул опрокинувшийся стул,— он вскочил, чувствуя, как судорога раздирает челюсти, тянет голову вверх. Но и с этим совладал, подавил назревающий звук, скрепился, поскорей соскреб со своей тарелки на ту, другую, пронес через комнату на крыльцо, поставил на нижнюю ступеньку и пошел к калитке.

Собака нагнала его, когда он не прошел и полмили. Взшла луна, обе тени то ломано мелькали среди деревьев, то ложились длинно и целиком на склоны пастбищ, на давно не паханные косогоры. Человек шел быстро (не намного быстрее прошла бы здесь лошадь), всякий раз сворачивая прочь при виде освещенного окна, а следом трусил пес, и под свершавшей свою дугу луной тени их становились короче и вот уже убрались под ноги, и последняя лампа потухла вдалеке, и тени начали расти в другую сторону; пес бежал у ноги, не соблазнясь даже зайцем, метнувшимся из-под самых подошв хозяина, затем лежал в сером расвете, а человек простерт был рядом, грудь его трудно вздымалась и опадала, громкий, тяжкий храп звучал не стоном боли, а хрипом рукопашной, когда оружия нет и схватка затянулась.

На лесопилке не было еще никого, кроме кочегара — пожилого человека, молча наблюдавшего от поленицы, как он крупно шагает поляной, точно намерен с ходу пройти котельную, по пути перемахнув через котел; комбинезон на нем, вчера чистый, теперь грязен, измызган, промок до колен от росы, кепка насажена, как всегда, криво, козырьком на ухо, белки глаз окаймлены красным, и что-то в этих глазах напряженно-неотступное, безотлагательное.

— Обед твой где? — спросил он. Шагнул мимо не успевшего ответить кочегара, снял с гвоздя на столбе светло вычищенное жестяное ведро.— Я одну лепешку.

— Да ешь все,— сказал кочегар.— Со мной ребята поделаются. А потом иди домой, приляг. Вид у тебя неважный.

— Меня тут не для вида держат,— ответил он, сидя на земле спиной к столбу, зажав ведро между колен, обеими руками пихая в рот горох, холодный и липкий, как вчера, остатки воскресной курицы, куски поджаренной чем свет свинины, круглую, с детский картузик, лепешку — свирепую, без разбору, не чувствуя вкуса. Уже подходили рабочие, у котельной слышались голоса и шаги, вскоре подъехал на лошади десятник-белый. Не поднимая головы, он отставил порожнее ведро, встал, ни на кого не глядя, подошел к ручью, лег на живот и опустил лицо к воде, втягивая, гоня ее в себя теми же глубокими, мощными, трудными вдохами, какими дышал во сне и раньше, в сумерки, когда стоял и задыхался в опустелом доме.

Задвигались платформы. Воздух мерно задрожал от частых выхлопов, от визга и звона пилы, платформы одна за другой стали подкатываться к бревноспуску, он вспрыгивал на них и, балансируя на сгружаемых бревнах, вышибал клинья, откидывал крепежные цепи, крюком направлял поочередно на спуск кипарисовые, камедные, дубовые колоды, придерживая, чтобы успели принять и пропустить двое рабочих, стоящих в устье спуска,— покуда разгрузка каждой платформы не обратилась в один протяжный, раскатистый грохот, перемежаемый хриповатыми возгласами и (время шло, народ разгорячался) обрывками песни, подхватываемыми тут и там. Он не пел с ними. Это и прежде не было в его обычае, и утро ничем словно бы не отличалось от прочих утр: на человеческий рост возвышаясь над старательно избегавшими на него смотреть напарниками, скинув рубашку, спустив комбинезон с плеч и заузлив помочи на поясе, он работал до половины обнаженный — лишь платок повязан на шее да кепчонка приплюснута и чудом держится над правым ухом,— и полуночного цвета мышцы перекатывались потными буграми, отливали синей сталью на солнце, поднимавшемся в небе; раздался гудок на обед, и бросив тем двоим: «Поберегись. Дорогу», стоя на катящемся бревне, переступая-отступая быстрыми шажками, он стремительно прогрохотал по спуску вниз.

Его уже дожидался теткин муж — старик ростом не ниже его, но тощий, почти тщедушный — с ведром в руке и с тарелкой в другой; они тоже присели в тени у ручья, чуть в стороне от остальных. В ведре была банка с пахтаньем, обернутая в чистую холстинку, в тарелке под тряпочкой — персиковый пирог, еще теплый.

— Это она для тебя утром спекла,— сказал дядя.— Просит, чтоб пришел.

Он молчал,— подавшись вперед, уперев локти в колени, обеими руками держал, кусал пирог, пачкаясь сахаристой, текущей по подбородку начинкой, жевал, подмаргивал,— на белки все гуще напознала краснота.

— Я к тебе ходил ночью. Тебя дома не было. Она посылала. Хочет, чтоб перешел оттуда. Всю ночь лампу для тебя жгла.

— Со мной все в порядке.

— Где там в порядке. Но бог дал, бог и взял. На него уповай и надейся. Тетя тебе поможет.

— Да что «уповай и надейся»? — произнес он.— Что ему Мэнни сделала? Чего он ко мне при...

— Молчи,— сказал старик.— Молчи.

Опять задвигались платформы. Теперь можно было не думать, за чем дышишь, не искать зацепок, и немного погодя, перестав слышать свое дыхание за ровным громом скатывающихся бревен, он вроде даже забыл, что дышит, но тут же понял, что нет, не забыл, и тогда он распрямился, точно израсходованную спичку, отшвырнул от себя крюк и

в гложущем раскате догромыхающего по спуску бревна спрыгнул и встал меж наклонными брусками спуска, лицом к последнему бревну, оставшемуся на платформе. Он проделывал это и раньше — примет на руки бревно, уравнивает и, повернувшись, кинет на спуск — но не с такою колодищей, и все замерло, кроме биения выхлопа и негромкого воя вертящейся вхолостую пилы, потому что взгляды всех, и даже белого десятника, приковались к нему. Он подтянул колоду к краю платформы, присел, подвел ладони снизу. И на какое-то время застыл. Было так, как если бы неживое и косное дерево наделило своей первобытной недвижимостью, оцепенило человека. Затем кто-то тихо сказал: «Пошло. Подымает», и они увидели щель, воздушный просвет, увидели, как бесконечно долго разгибаются в коленях напряженные ноги — выпрямились — волна движения бесконечно медленно прошла вверх по втянутой груди, по выпуклости груди, по шейным связкам, приподняла губу над белым оскалом стиснутых зубов, оттянула затылок, не коснувшись только стоячих, налитых кровью глаз, — перешла на плечи, на распрямляющиеся локти, бревно поднялось над головою и повисло. «Только с таким ему не повернуться, — произнес тот же голос. — И обратно на платформу не опустить — задавит». Но никто и не шевельнулся. И тут — без видимого усилия, внезапно — колода будто сама метнулась, полетела за спину, с громом и грохотом покатила по спуску; он повернулся, смаху перешагнул брус, прошел среди расступившихся людей и направился через поляну к лесу, невзирая на оклики десятника: «Райдер!» и снова: «Эй, Райдер!»

На закате они — он и пес — вышли на прогалину в четырех милях от лесопилки, в приречном болоте, — полянка площадью немногим больше комнаты, хижина-хибарка, частью из досок, частью из брезента, на пороге ее, у прислоненного дробовика, небритый белый смотрит, как он подходит, протягивая на ладони четыре серебряных доллара.

— Мне бутыл.

— Бутыл? — переспросил тот. — То есть бутылку. Сегодня понедельник. Разве у вас не работают нынче?

— У меня отгул, — ответил он. — Где моя бутыл? — Встал, высоко откинув голову, помаргивая уставленными в пустоту воспаленными глазами, затем, дождавшись, повернулся уходить, на согнутом среднем пальце неся у бедра бутыл, но тут белый внезапно и остро взглянул ему в глаза, словно только сейчас увидев эти полностью уже кровавые белки, это напряженное с утра, а теперь и незрячее выражение, и сказал:

— Стой. Дай-ка сюда бутыл. Зачем тебе целый галлон? Я тебе дам бутылку. Дам. Только убирайся и не приходи, пока не... — Он дотянулся, схватил бутыл, но негр тотчас вырвал, убрал ее за спину, взмахом свободной руки отодвинув белого.

— Осторожней, белый человек, — произнес он. — Она моя. Я заплатил. Тот выругался.

— Нет. Вот твои деньги. Поставь бутыл, черномазый.

— Она моя, — повторил он со спокойствием, даже мягкостью в голосе, со спокойствием в лице, только все помаргивая красными глазами. — За нее заплачено, — и поворотился спиной к белому и к ружью его, снова пересек прогалину, и пес, ждавший у тропинки, побежал за ним по пятам.

Они быстро двигались меж тесными стенами глухого тростника, сообщавшими сумраку какую-то белесость, и дышать здесь было почти так же тяжело и нечем, как вчера в четырех стенах дома. Но из дома он поспешил тогда прочь, теперь же остановился, поднял бутыл, вытащил кочерыжку-пробку (оттуда шибануло лютым самогонным темным духом) и принялся глотать плотную и холодную, как вода со льдом,

жидкость, лишенную вкуса и жгучести на то время, покуда пил и не дышал.

— Ха,— сказал он, опуская бутылку.— Порядок. Теперь налетай. Померяемся. Теперь у меня есть тут чем сбить с тебя форт.

Когда вырвались из спертых потемок низины, опять светила луна, косо и длинно стлала тень от него и от поднятой к его губам бутылки; он пил, переводил дух, хватал горлом серебряный воздух, говорил бутылки у губ: «Ну же, налетай! Ты все форсишь, что ты сильнее. Давай. Докажи». Вновь прикинул к студеной влаге, не смеяшей обжигать и пахнуть, покуда глотал,— чувствуя, как она, плотная, огненно-ледяная, течет и снизу обволакивает легкие, работающие трудно, сильно, неустанно,— и вот внезапно дышать стало так же легко, как шагать и телом раздвигать сплошную серебристую стену воздуха. И теперь было хорошо, его шагающая и собачья бегущая тени неслись по косогорам, словно тени облаков; затем тень человека застыла, очертилась длинная, припавшая к бутылке,— он завидел тощую дядину фигуру, взбирающуюся по склону.

— На лесопилке мне сказали, ты ушел,— проговорил старик.— Я знал, где тебя искать. Идем, сынок, домой. Это вот тебе не поможет.

— Уже помогло,— ответил он.— Я уже дома. Я теперь змеей ужаленный, и мне отравы ни почем.

— Тогда найди хотя бы. Пусть она хоть взглянет на тебя. Ей бы только взглянуть...

Но он шагнул уже прочь.

— Подожди! — кричал старик.— Подожди!

— Где тебе со мною в уровень,— сказал он в серебряный воздух, двигаясь сквозь этот раздающийся на обе стороны серебряный и сплошной воздух с той же почти быстротой, с какой двигалась бы лошадь. Где-то позади, оставив в ночной беспредельности хрупкий и тщедушный голос, тени человека и пса скользили по вольным просторам, и мощно, неустанно работающей груди дышалось легко и раздольно, потому что теперь все было хорошо.

Затем он обнаружил вдруг, что жидкость перестала питься. Глощаемая, она не пошла вниз, а плотным комом закупорив горло и рот, без позова и усилия изверглась обратно всем этим хранящим форму рта комом, блестя под луной, дробясь, уходя в бесчетные шорохи росных трав. Он опять приложился. Опять горло закупорило, из углов губ поползли два ледяные ручейка, опять ком извергся целиком, серебрясь, блестя, раскалываясь вдребезги, а он, отдышавшись, остудив зев прохладой воздуха, держал пред собой бутылку и говорил ей:

— Ничего. Опять повторим. Покоришься, дашься попить — тогда перестану.

В третий раз наполнил рот и едва успел опустить бутылку, как снова хлынуло, сверкая, и опять он хватал прохладный воздух, пока не отдышался. Старательно заткнул бутылку кочерыжкой и стоял, отдуваясь, моргая, кидая длинную одинокую тень на склон и дальше — на путанность и беспредельность всей охваченной мраком земли.

— Ладно,— промолвил он.— Просто я недопонял. Это знак, что уже помогло до конца. Теперь порядок. Больше мне не надо ни капли.

В окне горела лампа; он прошел выгоном, миновал серебристо и черно зияющий песчаный ров, где мальчишкой играл жестянками из-под табака, ржавыми железками и цепками от упряжи, а случалось, и настоящим колесом, миновал огород, который мотыжил веснами — под теткинским надзором из кухонного окна,— пересек голый, без травинки, двор, где барахтался и ползал, когда не умел еще ходить. Вошел в дом, в комнату, вступил в свет и стал у порога, незряче откинув голову и на согнутом пальце неся бутылку.

— Дядя Алек сказал — вы хотели, чтоб я зашел.

— Не просто чтоб зашел,— ответила тетья,— а чтобы остался и мы могли тебе помочь.

— Мне хорошо. Мне не надо помощи.

— Надо,— сказала она. Встала со стула, подошла, ухватилась за руку, как вчера у могилы. И как вчера, рука под пальцами была как из железа.— Ох, надо! Когда Алек вернулся и рассказал, как ты среди дня ушел с работы, я поняла почему, поняла куда. Но оно ж тебе помочь не может.

— Уже помогло. Теперь мне хорошо.

— Не лги. Ты всегда говорил мне правду. И сейчас говори.

И он сказал. Голос, собственный его голос, неизумленный, непечальный, спокойно прозвучал из груди, что огромно и тяжело вздымалась и, еще минута, начала бы задыхаться и в этих стенах. Но минуты он здесь не пробудет.

— Нет,— сказал он.— Не помогло мне.

— И не поможет! Ничего не поможет, только он один! Его проси! Ему расскажи! Он хочет услышать и помочь тебе!

— Если он бог, зачем ему рассказывать. Он и так знает, если он бог. Ладно. Вот я — стою здесь. Пусть же сойдет и поможет.

— На колени! — воскликнула она.— На колени и проси его!

Но не колени его раздались стук, а шагов. Послышались и ее шаги за спиной в коридоре, и голос ее донесся с крыльца: «Спут! Спут!» — через пестрый от луны двор бросая вдогонку имя, которым звали его в детстве и юности, прежде чем он стал Райдером — балансером на бревнах — для товарищей по работе и для безымянных и безликих негрятенок и мулаток, которых походя брал до дня, когда взглянул на Мэнни и сказал себе: «Хватит валять дурака».

В часу первом ночи он подходил к лесопилке. Собака исчезла. Куда и когда, он не помнил. Ему мерещилось, будто он запустил в нее порожней бутылью. Но бутыль и сейчас была в руке, и не порожняя, хотя всякий раз, когда прикладывался, две ледяные струйки лились на рубаху и комбинезон, он так и шел, окутанный яростным холодом влаги, что и после того, как переставал глотать, не обретала уже вкуса, крепости и запаха. «И потом,— подумал он вслух,— швыряться в него я не стану. Пинка дать могу, если заработал и не отскочил вовремя. Но швыряться, калечить пса — нет».

По-прежнему с бутылью в руке, он вышел на поляну, постоял среди немо высящихся лунно-белесых штабелей. Прямо под ногами лежала, ровно стлалась тень, как прошлой ночью; покачиваясь, помаргивая, он обозрел штабеля, бревноспуск, груды приготовленных на завтра бревен, котельную — тихую, выбеленную луной. Порядок. Он опять шагает. Впрочем, нет, не шагает, а пьет холодную, быструю, безвкусную жидкость, которую не требуется глотать, и неясно, куда она льется. Но это неважно. А теперь он шагает, и бутыль исчезла из рук, а куда и когда — опять не помнит. Он пересек поляну и прошел под навесом котельной,— не остановившись, перешагнув возвращающую во вчера незримую петлю теней времени,— к дверям кладовой, где в щелях огонек фонаря, взлетают и падают живые тени, где бормоток голосов, глухой щелк и россыпь игральных костей; гремит его кулак о запертую дверь, гремит и голос: «Откройте. Это я. Я змеей ужаленный — насмерть».

Отворили, вошел. Кружком на корточках все те же — трое с подачи бревен, трое-четверо пильщиков, ночной сторож-белый, на полу перед сторожем кучка монет и замусоленных бумажек, в заднем кармане у сторожа тяжелый пистолет, а тот, кого зовут Райдером, кто Райдер и есть, встал над ними, покачиваясь, помаргивая, в неживую улыбку сведя лицевые мышцы под упорным взглядом белого.

— Потеснись, игроки, потеснись. Я змеей ужаленный, и мне отраванипочем.

— Ты пьян,— сказал белый.— Убирайся вон. Ну-ка, ниггеры, открой кто-нибудь дверь и покажи ему дорогу.

— Порядок, босс,— голос звучит ровно, моргают красные глаза над застывшей улыбочкой.— Я не пьяный. Это меня доллары качают, к земле гнут — вон их сколько.

Подсел, помаргивая, продолжая улыбаться в лицо сидящему напротив сторожу, положил на пол перед собой остальные шесть долларов от субботней получки и, продолжая улыбаться, смотрел, как кости переходят по кругу из рук в руки, как сторож кроет ставки и кучка грязных, захватанных денег перед ним растет медленно и верно, как сторож мечет, как всегда беря подряд две удвоенных ставки, а третью, пустяковую, отдав; а вот и до него дошел черед, и кости укромно постукивают, гнездясь у него в кулаке. Он выбросил монету на середину.

— Ставлю доллар! — метнул и глядел, как сторож подбирает оба кубика и шлет ему обратно.— Пускай двойная. Я змеей ужаленный. Мне все нипочем.— Метнул, и в этот раз один из негров возвратил ему кости щелчком.— Пускай двойная.— Метнул, нагнулся вперед одновременно со сторожем и схватил за руку прежде, чем тот дотянулся до костей, и оба застыли на корточках, лицом к лицу, над кубиками и монетами, лицо негра окаменело в мертвой улыбке, левая рука сдавила сторожево запястье, голос ровный, чуть ли не почтительный: «Мне и мошенство нипочем. Но другим ребятам...» — пальцы сторожа судорожно разжались, вторая пара кубиков стукнулась о пол, легла рядом с первой, сторож вырвался, вскочил, завел руку назад — за пистолетом.

Бритва висела между лопаток на шнурке, идущем под рубашкой вокруг шеи. Рука вынесла ее из-за плеча, раскрывая, освобождая от шнурка, переламывая, пока клинок не уперся тыльной стороной в костяшки сжавшихся на рукояти пальцев, и — всё в ту же секунду перед тем, как грохнул наполовину вытасненный пистолет,— не лезвием только, а всем кулаком наотмашь ударила сторожа по горлу и прошла мимо, не замаравшись и первым брызгом крови.

II

Дело уже прекратили — времени оно отняло немного, на другой день арестованного нашли в негритянской школе в двух милях от лесопилки, он висел под колоколом, следователю понадобилось пять минут, чтобы дать заключение о смерти от руки неизвестного лица или группы лиц и распорядиться о выдаче тела ближайшим родственникам,— и помощник шерифа, в чьем ведении находилось дело, сидел теперь на кухне у себя и рассказывал жене. Жена готовила ужин. Помощник шерифа был поднят с постели вчера в двенадцатом часу ночи, когда негра увезли из тюрьмы, и с той поры помощнику пришлось покрыть порядочное расстояние, не смыкая глаз и наспех в пути перехватывая когда и что придется, и он вымотался и, сидя на стуле у плиты, говорил с истерической ноткой в голосе:

— Проклятые ниггеры. Это еще чудо, ей-богу, что с ними хлопот не в сто раз больше. Потому что они же не люди. С виду вроде человек, и на двух ногах, и разговаривает, и понимаешь его, и он тебя вроде понимает — иногда, по крайней мере. Но как дойдет до нормальных чувств и проявлений человеческих, так перед тобой проклятое стадо диких буйволов. Возьмем хоть этого сегодня...

— Как же, взяли вы его сегодня! — оборвала жена жестко. Это дородная, в прошлом недурная собой, а теперь седеющая женщина, ни-

мало не издерганная, даже самодовольно-спокойная, но только холерического темперамента и с явно коротковатой шеей. Притом, днем в клубе ей достался было главный приз, полдоллара, но другая дама настояла на пересчете очков, а затем и на переигрыше партии.— Не желаю о нем и слушать. Знаю я вас, шерифов. По целым дням сидите в холодильнике у суда и языки чешете. Что ж удивляться, если двое-трое человек увозят у вас арестантов из-под носа. Они б и столы у вас увезли, и стулья, и подоконники, да поди оторви от ваших задниц.

— Положим, их не двое было и не трое. Бердсонги — это не более не менее как сорок два голоса. Мы с Мэйдью взяли как-то список избирателей и подсчитали. Но ты слушай...— Жена повернулась от плиты, понесла тарелку в столовую, надвигаясь прямо на него, и помощник спешно убрал ноги с прохода. Заговорил громче, сообразуясь с возросшим расстоянием.— У него умирает жена. Ладно. Думаешь, он горюет? На кладбище он самый активный и рьяный. Не успели, рассказывают, опустить гроб в могилу, он хватъ лопату и ну орудовать — бульдозера не надо. Да это ладно...— Жена двинулась обратно. Он опять отдернул ноги и продолжал потише, опять-таки сообразуясь с расстоянием.— Видно, так он ее любил. Никому не запрещается засыпать гроб с женой в ускоренном порядке, запрещается только вгонять жену в этот гроб в ускоренном порядке. Однако назавтра он на лесопилку является раньше всех, еще кочегар паров не развел, огня не разжег даже; приходи он еще на пять минут раньше, и вдвоем с кочегаром будил бы Бердсонга, чтоб тот шел домой додряхивать, или даже кончил бы Бердсонга тут же, и меньше возни было б всем.

— Так вот, значит, является на работу первым, хотя Мак-Эндрюс и все прочие думали, что он не выйдет, потому что — даже нигеру — какого еще предлога нужно, если он жену похоронил? Белый бы не вышел на работу из простого приличия, если уж не с горя, ребенку малому достало бы ума прогулять денек, раз все равно оплатят. Ребенку, только не ему. Работягой заделался: гудок не успел догудеть, он давай скакать по платформам, десятифутовые бревна кипарисовые в одиночку хватает, кидает, как спички. А когда все уже успокоились на том, что ладно, желаешь вкалывать — вкалывай, он вдруг, не спросясь у Мак-Эндрюса, вообще не говоря ни слова никому, уходит с работы среди дня, выхлестывает галлон смертоубийственной сивухи, возвращается и садится играть с Бердсонгом, пятнадцать лет обжуливающим в кости черномазым на лесопилке. С Бердсонгом, которому он тихо и мирно проигрывал в среднем девяносто девять процентов получки с того самого времени, как начал петрить, сколько будет шесть и шесть на этих безвыигрышных костях,— и через пять минут Бердсонг лежит уже с перехваченным до позвонка горлом.

Жена опять, едва не задев, прошла в столовую. Опять он подобрал ноги и возвысил голос:

— Ну, поехали мы с Мэйдью туда. Не то чтоб ожидая толку, потому что к рассвету он мог уже быть в соседнем штате, где-нибудь за Джексоном; и притом, простейший способ его разыскать — это держись поблизости от родичей Бердсонга, и точка. Конечно, они б нам оставили рожки да ножки, но на том и дело можно бы прекратить. Так что мы лишь по чистой случайности завернули к нему домой, уж не помню, мимо проезжали, что ли; а он — вот он, голубчик. Забаррикадировался, думаешь, на колене бритва раскрытая, на другом ружье заряженное? Ничуть не бывало. Спит себе. На плите кастрюлища вареного гороха, выжранная дочиста, а сам во дворе за домом разлегся, на виду, на солнышке, голову только в тень пристроил к заднему крыльцу, а с крыльца лаает-разрывается псина, помесь медведя с комолым бугаем. Разбудили, садится. «Что ж, белые люди. Было дело. Только оставьте меня на

воздухе». Мэйдью ему: «Родственники Бердсонга как раз и хотят тебя на воздух. Попадешь им в руки, они тебя обеспечат свежим воздухом». А он свое — дело было, только не сажайте его под замок — советует, указывает, как шерифу поступить; примите его сожаления, но в данный момент ему всего дороже свежий воздух. Препроводили в машину, глядим — по дороге пыхтит, поспешает собачьей рысью старуха, матушка или там тетушка ему, тоже хочет ехать. Мэйдью ей разъяснить, какая вещь с ней может приключиться, если бердсонгова родня нас перехватит по дороге в тюрьму, но она ни в какую, — ну, Мэйдью подумал, может при ней Бердсонги постесняются, в конце концов закон и для них писан, даром что это их голосами Мэйдью прошел там на участке прошлым летом.

— Взяли, значит, и ее с собой, доставили его благополучно в город, в тюрьму, сдали Кетчаму, и Кетчам повел его наверх, а старуха тоже идет, прямо в камеру, и на ходу объясняет Кетчаму: «Я его в правилах старалась воспитать. Он был хороший мальчик. Никогда в жизни не имел дела с полицией. Он примет кару за то, что совершил. Но не давайте его тем людям». А Кетчам в ответ: «Раньше надо было думать и тебе и ему — раньше, чем он начал белых брить без мыла». Запер их обоих в одиночку за общей камерой — тоже, как Мэйдью, собралил, что в случае чего при ней Бердсонги, возможно, поведут себя приличнее, а ему ж тоже их голоса пригодятся, когда срок шерифства Мэйдью истечет. Сошел он вниз, вскоре и черномазая кандальная команда вернулась с работ, протопала в общую камеру; теперь, думает Кетчам, передышка. Когда вдруг слышит крик наверху — не вой, не плач, а крик без слов; он схватил пистолет, взбежал туда и видит через решетчатые двери: старуха забилась в угол, а тот ниггер вырвал приболченную к полу железную койку, встал посерединке и вопит, держа койку над головой, как колыбелечку; потом старухе: «Я вас не трону» — грохнул койку об стену и к двери, схватился за стальные прутья, вырвал дверь из кирпичной стены со всеми потрохами, поднял над собой, несет в общую камеру, как сеточку от комаров, кричит: «Не бойтесь. Не бойтесь. Я не убегу».

— Конечно, Кетчам мог бы застрелить его на месте, но, как он выразился, — если уж не по закону, тогда Бердсонги имеют слово первые. И не стал стрелять. Вскочил вместо того в общую к заключенным, они пятаются от этой стальной двери, Кетчам орет им: «Хватай его! Вали его на пол!», а они все жмутся, тогда Кетчам кого пинком, кого рукояткой пистолета — послал вперед. Они кидаются, а этот ниггер хватает их и, как тряпичные куклы, швыряет от себя через всю камеру: «Я ж не убегаю. Я ж не убегаю» — и так целую минуту. Наконец свалили его, кипит на полу мала-куча из черных голов, рук и ног, а из нее, рассказывает Кетчам, по-прежнему вылетает то один, то другой черномазый и планирует через камеру, растопырившись, как белка-летяга, и фарами выпуча глаза. Все-таки прижали, Кетчам подошел, стал счищать черномазых по одному и видит: он лежит подо всеми и смеется, по лицу мимо ушей катятся слезищи с виноградину каждая, шлепаются на пол, точно кто птичьи яйца роняет, а он смеется и смеется и говорит: «Видно, не перестану я думать. Видно, не перестану». Ну, что ты на это скажешь?

— А то скажу, что если хочешь сегодня ужинать, то поторапливайся, — отозвалась жена из столовой. — Через пять минут я убираю со стола и уйду в кино.

*Перевел с английского
О. СОРОКА*

Три закона главного инженера

(Из записок строителя)

Вот уже два месяца ежедневно я веду с собой такой разговор:

— Обещал управляющему отработать систему до мелочей? — резко спрашиваю я.

— Обещал, — покорно отвечаю я.

— Сказал, черт тебя бери, что за счет этого будешь строить больше?

— Сказал. Только не ругайся, пожалуйста.

— Ага, не ругайся, а чего же ты ждешь? Ведь совершенно точно установлено, что чудес не бывает, само все не делается.

На этом мои два «Я» — и грозно вопрошающее, и дающее смиренные ответы — сливались в одно. Я вдруг вспоминал, что нет бетона, и хватался за телефонную трубку — звонить на завод.

Не качайте укоризненно головой. Я не ленился, просто я не знал, с чего начинать. Ведь сколько выпущено книг по организации строительства, во всех них подробно описывается, что нужно сделать, но никто из авторов не брался ответить на вопрос: «как сделать?»

И хотя я точно знал, что мой управляющий Николай Николаевич вот-вот вызовет меня, я ничего не предпринимал. На худой конец я мысленно готовил целую оправдательную речь.

— Николай Николаевич, — я постараюсь говорить твердо, а главное — быстро, чтобы не сбиться. — Я понял, чтобы стать настоящим главным инженером, мало приказа о назначении. Нужно выполнить по крайней мере три условия: думать, заботиться о своем коллективе и ставить его интересы даже выше своих личных. Полтора года тому назад вы сказали, что я это сделал. Вы сказали, что я выполнил и второе условие, когда взялся за отстающий коллектив, навел в нем порядок, внедрил систему в его работу. А потом... Потом я имел неосторожность пообещать вам «до-

жать систему», то есть отработать до мелочей систему в зарплате, технологии и за счет этого добиться больших результатов. Я этого не сумел сделать, Николай Николаевич (это тоже твердо, ни в коем случае не жалобно). Я ведь обыкновенный человек, а не герой романа, — ну, не получается. Как их ввести в систему, все мелочи? Каким законам они подчиняются?..

И все же я еще надеялся, что этот разговор не состоится, что какой-нибудь случай поможет мне.

И случилось чудо. Вдруг на оперативке прораб Соков — столп и оплот неорганизованности нашего управления — заявил, что вот, получая новый объект, он будет строить его по науке.

— Да, по науке, — не совсем уверенно повторил он, как всегда роясь в каких-то чертежах, которые держал на коленях.

Все рассмеялись.

— Да не может этого быть, — громче всех хохотал начальник производственного отдела Чернов. — Не может быть — наверное, землетрясение случится или затмение солнца.

Соков на миг перестал перебирать чертежи, недоуменно обвел всех выцветшими голубыми глазами, что-то хотел сказать, но не нашелся и с надеждой посмотрел в угол, где сидел Петр Федорович Луганкин.

И по тому, как заговорщически подмигнул ему Луганкин, я понял, что к чуду приложил свою руку наш партийный секретарь.

В комнате было полно людей. На стульях у стены сидели прорабы, еще не остывшие от трудного прорабского дня. Они пришли с площадок, где собираются дома, где, собственно говоря, и видна работа всех: и главка, и треста, и моя — главного инженера строительного управления.

У маленького столика расположился снабженец Митрошин, по мнению прорабов — основной виновник всех неприятно-

См. очерки, напечатанные в № 6 за 1964 год и в № 8 за 1965 год.

стей на стройке. Он сердито забаррикадировался конторскими книгами, где отмечался завод материалов на объекты. В любую минуту он был готов доказать, что прорабы не дали заявок, что их заявки неправильны и что он, Митрошин, все по заявке завез.

На клеенчатом черном диване сидел наш механик, пожилой, страшно медлительный человек: все в мире движется с давно установленной скоростью — казалось, говорили его узкие благодущные глаза. Как ни бейся, скорее механизмы не получишь и работать они скорее не будут.

У окна, досадливо отмахиваясь от облаков папиросного дыма, стояла тоненькая нормировщица Лида.

На совещание пришли два бригадира — вроде так, для интереса, но как потом выяснилось, по просьбе прорабов, — чтобы помочь вытрясти нужные детали.

— А что значит по науке? — вдруг, устало усмехнувшись, спросил прораб Анатолий.

Смех утих, и все с любопытством уставились на Сокова. Но тот, очевидно, счита-



тал свою миссию законченной и спокойно рылся в чертежах.

— Что значит — по науке, Николай Семенович? — раздраженно повторил Анатолий. — Да бросьте вы наконец рыться в старых бумагах! — От волнения на его впалых щеках появились красные пятна.

Соков молчал. Я понимал, что нужно немедленно вмешаться и поддержать Сокова: чудо — вещь недолговечная и скоропортящаяся, но Анатолий опередил меня.

— Не понимаю, Виктор Константинович, — резко сказал он. — Уж кажется — мы все стали такие пайныки: и технологические правила соблюдаем, и графики, черт бы их побрал, бесконечно чертим. Чего вы еще хотите от нас?

От негодования он задохнулся.

— Даю вам слово, Анатолий Алексеевич, — успокоительно сказал я, — я тут ни при чем. Это инициатива Сокова.

— Так почему же он молчит?

— Это скромность, Анатолий, — пришел мне на помощь Быков, улыбаясь одновременно и Сокову, и мне, и Анатолию. — Только скромность, правда, Соков?

Соков, видно, наконец нашел нужную синьку и вытащил ее. Я с надеждой посмотрел на него, но он как ни в чем не бывало принялся разглядывать чертеж.

Молчал и Петр Федорович Луганкин, нетерпеливо поглядывая на меня строгими серыми глазами. Это, конечно, его дело. Я понял, что пока я предавался различным переживаниям, он незаметно сагитировал Сокова. «Ну что же ты, чего медлишь, — говорил его взгляд, — воспользуйся починком Сокова, доказуй и поднимай всех на новое дело».

— Честно говоря, Анатолий Александрович, я не знаю, как ответить на ваш вопрос...

Анатолий удивленно, недоверчиво посмотрел на меня.

— Очень уж неточная штука, эта наука об организации строительства. Но я знаю, вернее, мне подсказали, что нужно сделать у нас в управлении. Я дал слово Николаю Николаевичу, что мы дождем систему, по которой сейчас работаем. Это, конечно, имел в виду Соков, когда говорил о науке.

Хорошо бы тут в записках сказать, что все единодушно меня поддержали, но, видно, говорил я сухо и неубедительно, потому что ответом мне было общее молчание.

— Вы, наверное, поспешили, Виктор Константинович, — наконец сказал Анатолий. — Поспешили дать слово. Я его не могу дать. Я «за», — он поднял руку. — Головую, как говорят, за мероприятие, но пока посмотрю, что получится у Сокова.

И это все. Никто меня не поддержал.

— Будем кончать, Виктор Константинович, — сказала нормировщица Лида. — Мне в кино, — добавила она. — Фу, закурили как, дышать нечем.

Это было моим поражением. Хорошо еще, что я нашел в себе силы криво улыбнуться и сказать:

— Да, уже поздно. Подумайте, товарищи, обсудим в следующий раз... Все!

Но я не один думал о судьбе нашего управления. Когда я вышел во двор, на скамейке сидел наш партийный секретарь.

— Идите сюда, Виктор Константинович. Отдохните, — насмешливо сказал он. И вдруг бросил далеко папиросу, повернулся ко мне и резко, с досадой, добавил: — Эх, зелены вы еще...

Я виновато молчал.

— Ну ладно, — закурил Луганкин новую папиросу. — Соков начинает дожимать твою систему с заработной платы. Побывай у него и не забудь о Гнате.



Весь день я спешу. В метро я бегу вниз по эскалатору, задевая людей, портфели, чемоданы, подскакиваю к вагону и стараюсь проскочить в узкую щель закрытых дверей.

Иногда это заканчивается благополучно, но часто двери хватают меня в клещи и не выпускают. Тогда кто-нибудь из пассажиров старается оттянуть дверь, а дежурная, ругаясь, запихивает меня внутрь вагона.

К автобусу я тоже бегу. Почему-то я всегда добегаю, когда водитель уже закрыл двери. Я стучу по красному блестящему боку машины, делаю умоляющее лицо. Почти всегда заветная дверь открывается, и я забораюсь в автобус, мысленно прославляя московских водителей.

Я бегу к троллейбусам, трамваям, вверх и вниз по переходам. За день нужно побывать на нескольких строительных площадках, на заводе, в проектной мастерской. И все это зачастую в разных концах Москвы.

Порой в моей голове мелькает кощунственная мысль: почему так много говорят о производительности труда рабочих и совершенно не думают о полноценном использовании рабочего времени начальников, главных инженеров — всех тех, кого называют руководством. Наоборот, как будто специально делается все, чтобы их время использовалось похуже.

Кто-то бездумно решил забрать у строительных управлений легковые машины и, наверное, гордится достигнутой экономией. Зато теперь инженеры треть своего времени проводят в переездах, опаздывают, многого недоделывают.

Ежегодно сокращается так называемый административный персонал, и вот создан такой гибрид — секретарь-машинистка-делопроизводитель, все в одном лице, о стенографистке и думать запрещено. Скрипят перьями инженеры, тратятся драгоценные часы на писание разных бумаг.

Хочется обратиться к тем, кто вводит подобные сокращения: полноте, товарищи. Тут нет никакой экономии, а один вред, да еще в государственном масштабе.

Сегодня уже к семи тридцати я приехал на площадку к Сокову. Не знаю, почему считается, что природа существует только за городом. Ведь солнце одинаково светит над лесом и над каменными домами и небо везде одинаково синее; правда, деревья, подстриженные «под бокс», не шелестят листвой, но, право, как хорошо московское летнее утро.

Вот на стройку начинают приходить рабочие, сначала поодиночке, потом к раздалке спешат целые группы; крановщица в синем комбинезоне, поправляя на ходу локоны, взбирается по вертикальной лесенке в кабину башенного крана; захлебываясь, затарахтел бульдозер; во двор

влетает тяжелая машина, из нее выскакивает коренастый водитель и сразу начинает кричать: «Долго я тут буду стоять?»; в прорабской, захлебываясь, зазвонили телефоны. Начался новый день!

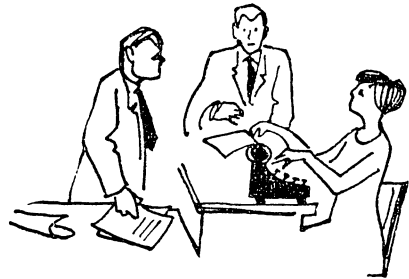
Здравствуй, новый строительный день! Ты будешь, наверное, трудным, как всегда. Но когда ты закончишься, дома обязательно станут выше.

В маленьком окошке прорабской показалось испуганное лицо Сокова и сразу исчезло. Когда я вошел, он стоял у полки и озабоченно рылся в чертежах.

За столом, недовольно хмурия брови, сидела нормировщица Лида. Увидев меня, она еще больше нахмурилась.

— Ну, как у вас тут? — бодро спросил я, предчувствуя грозу.

— Посмотрите, Виктор Константинович, сколько нарядов выписал Соков за один день, — Лида протянула мне кипу бумажек. — Ерунда какая-то, вот посмотрите: плотнику Фадееву, чтобы поставить ограждение, нужно работать всего два часа. А ему выдается аккордный наряд. Это на два часа! — Лида с негодованием посмотрела



рела на меня, как будто я выписал эти наряды.

Я повернулся к Сокову.

— Действительно, для чего это?

В это время зазвонил телефон, и Соков с облегчением схватил трубку. Однако, как ни старался прораб растянуть разговор, он все же закончился.

Так и не ответив мне, Соков взял со стола пачку нарядов и по привычке начал машинально перебирать их.

— Николай Семенович! — от негодования лицо Лиды стало пунцовым. — Да это же не чертежи.

Соков очнулся и тихо сказал:

— Мы тут с Петром Федоровичем Луганкиным... То есть я... решили: чтобы «дожать», как вы выразились, аккордную оплату, нужно выписывать наряды на все работы... любые работы... — Он снова замолчал, потом виновато добавил: — Конечно, Лиде Сергеевне много забот. Но без этого, Луганкин говорит... то есть я говорю, без этого нет системы.

Соков положил наряды на краешек стола, подальше от восемнадцатилетней Лидии Сергеевны, и со смесью опаски и надежды посмотрел на меня.

— Пойдемте, Николай Семенович, — сказал я Сокову. — Посмотрим, как все это выглядит на стройке.

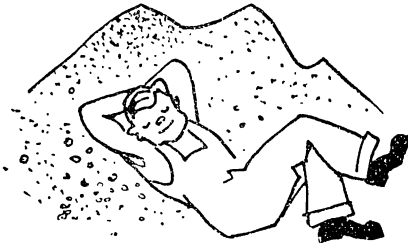
Мы вышли. Как я ни заставлял Сокова идти рядом, он все время держался «кустопом влево».

У компрессора, похожего на большой металлический сундук (конструкторы почему-то всегда забывают о внешнем виде машин), нас окликнул Гнат, первый лодырь и грубиян в нашем управлении.

Кто только не брался за него. Прораб Быков подходил к нему с лаской. Из больших черных глаз Быкова лилась на Гната гипнотическая волна нежности. Но Гнат не обращал на него внимания. С начала рабочего дня он еще кое-что делал, но после обеда засыпал на куче песка у растворного узла. Будил его бульдозер, который в три часа приходил и таскал песок. Гнат обижался и всем говорил, что бульдозеристы — хамы.

Прораб Анатолий был к нему строг. «Я ему не размазня Быков, я его быстро скручу», — грозился Анатолий. Гната определили в комплексную бригаду, установили ему строгий регламент работы.

На этой площадке песка не было, но



Гнат задремывал, облокотившись на подоконник.

— Слушай, лодырь, — как-то не выдержал Анатолий, — не пойдешь ли ты, знаешь куда...

— В отдел кадров? — сквозь дремоту спросил Гнат.

— Вот, вот, это я и думал, — обрадовался прораб.

Наконец его вызвал к себе начальник управления Шалыгин, а минут через десять секретарша ввела Гната ко мне, передавая приказ Шалыгина заняться его воспитанием.

Гнат — молодой широкоплечий парень со светлым ежиком волос — развалился в кресле и пренебрежительно сказал:

— Тронутый наш начальник, что ли? Я требую, чтобы мне создали условия, а он смотрит на меня и молчит... Так ты что, агитировать меня будешь?

Я действительно попробовал агитировать, призвав на помощь и книги, и фильмы, и весь свой жизненный опыт. Мне казалось, что я говорил убедительно о человеческом достоинстве, о любви к профессии, о коллективе.

Гнат слушал меня не перебивая, а когда я закончил, лениво поднялся.

— Интересно, инженер, говоришь. Я бы рад послушать еще, да вот уже рабочее

время кончилось. Если хочешь, вызови с утречка завтра...

Я опешил, не зная, что ответить. Гнат усмехнулся и, уходя, приветственно поднял руку.

— Адьо, инженер.

Но что это с ним случилось сегодня?

— Видишь, инженер, вкальваю. А почему? Думаешь, твоя беседа повлияла? Как бы не так. Николай Семенович нарядик аккордный выписал. Вчера семь рублей заработал, — он похлопал меня по плечу. — Соображаешь, инженер, не выгодно прохлаждаться... Чего молчишь? Опять недоуолен?

Я думал: сколько было разговоров о простоях компрессора, сколько увещеваний — и все впустую. А вот сейчас лентяй Гнат «вкальвает».

— Нет, Гнат, я доволен, я рад за тебя.

Только миг его лицо отразило растерянность. Он нагнулся к молотку и включил его. Молоток затарахтел, подпрыгивая от нетерпения.

Тогда я и не предполагал, конечно, что пройдет еще много времени, покуда портрет Гната появится на районной Доске почета. А пока Гнат оставался Гнатом.

— Эх, инженер, — закричал он, — как бы мне так ходить, как ты, и благодарить ишаков... а? — Он легко поднял одной рукой отбойный молоток. — А скажи, при коммунизме тоже будет эта трясушка? Ух, всю душу вытрясла!

Но это утро крепко запомнилось мне.

Еще через полчаса я установил, что аккордные наряды были у всех рабочих: у бригады Николая Гуреева, у звена арматурщиков, у отдельных рабочих.

Когда я уже собрался уходить, ко мне подошел плотник Фадеев, худой высокий старик. Время уже побелило его волосы и клинообразную бородку, но Фадеев на зло ему упорно не шел на пенсию.

— Виктор Константинович, — сказал он хмуро, протягивая мне наряды, — зачем прораб сует мне эти бумажки? Всю жизнь работал, а в конце месяца выводили зарплату. Чего хочет от меня Николай Семенович? Не пойму.

Я вопросительно посмотрел на Сокова.

— Если аккордный наряд хорош, то он хорош для всех и для Фадеева тоже.

— Ну смотри, Николай Семенович, — хмурое лицо Фадеева вдруг разгладилось. — Беру твои наряды, но смотри... Он вдруг тонко рассмеялся. — Раззорию.

Так у нас партийным секретарем Луганкиным и прорабом Соковым был открыт первый закон: «Внедряя систему, не делай исключений».

Вполне возможно, что где-то этот закон уже давно известен или, наоборот, в каком-то научном труде он полностью отрицается. Мы не претендуем на первооткрытие и не навязываем его другим, мы открыли этот закон для себя.

На очередной оперативке я коротко рассказал об опыте Сокова и потребовал (это слово я, кажется, употребляю впер-

вые), чтобы все прорабы приняли к исполнению соковский закон.

— А может быть, не так строго? — иронически протянул прораб Анатолий.

— Срок три дня, — твердо сказал я.

Большинство промолчало: мол, начальство придумает и забудет. Только Кочергин, пряча усмешку в узких щелках глаз, прикидываясь простачком, почтительно спросил:

— Понимаю, Виктор Константинович, для нашего управления и для рабочих польза от аккорда ясна. А скажите, какая мне, прорабу Кочергину, будет от этого польза? Что-то не пойму.

Все рассмеялись, нигде на совещаниях не принято задавать такие вопросы. Позже я вспомнил замечание Кочергина. В самом деле, какая польза от этого прорабу?

Целых три дня я благодушевствовал и был с собой чуть ли не на «вы». Мне казалось, что дальше все пойдет как по маслу. Однако, проехав на четвертый день по площадкам, я убедился, что никто и не думал следовать примеру Сокова.

Я обозлился и долго отчитывал прораба Кочергина. Сначала он улыбнулся в ответ на мои насюки, но потом тоже рассердился, отбросил напускную почтительность и резко сказал:

— Ладно, вы хотите, чтобы я всех рабочих перевел на аккордно-премиальную оплату? Переведу. Только вот что: за фонд зарплаты не отвечаю.

— А при чем тут фонд зарплаты? — озадаченно спросил я.

Кочергин вытянул из кармана пиджака пачку папирос.

— Курите?... Ах, нет, — он не спеша закурил, спокойно оглядел меня. — Вот сейчас вы перевели ко мне много людей, а я выполняю только подготовительные работы. Вы это знаете. Зарботки будут большие, а стоимость выполненных работ малая. Ясно? Ведь фонд зарплаты вы планируете мне в процентах к выполнению.

Я молчал.

— Вот видите, — сказал он. — Сразу пакуете. Выходит — грош цена этому соковскому закону.

Деваться мне было некуда.

— Ладно, но смотрите, все наряды проверю лично.

Он усмехнулся.

— Это ясно.

Когда мы прощались, он задержал мою руку и многозначительно сказал:

— Придется за нарядами сидеть вечером... А мой сосед Викторов, прораб из другого СУ, вон, видите, его дом, будет уходить вовремя. Зарплата у нас одинаковая.

Я опустил глаза, а он снисходительно улыбнулся. Мы оба хорошо знали, что хотя я носил звание «главного» и мне ежегодно доверяли пять миллионов рублей, я ни одного рубля не мог истратить на поощрение служащих, что бы от этого ни зависело.

* * *

Скрепя сердце прорабы взялись за бумагу. Многострадальное это слово «бумага», сколько ему, бедному, пришлось испытать насмешек. Поколения фельетонистов оттачивали свои перья, «выводя на чистую воду» всяких бумажных руководителей.

Но пора поднять голос в защиту бумаги, умной и деловой. Наряды, подробная заявка на материалы, график, план — все эти бумаги очень нужные.

Я видел, как помрачнели лица наших лихих витязей-прорабов, когда их оторвали от телефонов, от перебранки с водителями и снабженцами и заставили (о, ужас!) думать, считать и писать — то есть заниматься «бумажным» делом.

Артачился только один прораб Анатолий и то по привычке.

— Хватит, — шумел он. — Выписала Лида аккордный наряд бригаде Королькова, чего вы еще хотите?

Мы стояли на девятом этаже институтского корпуса, на горе. Далеко вперед на десятки километров просматривался город. По привычке я считаю башенные краны. Кажется, что они работают без людей. Но нет, это время еще не пришло: у каждого крана был свой непокорный прораб, своя бригада и своя крановая судьба.

Один кран работает много, другой часами стоит, печально задрал к небу стрелу. Но даже краны, которые хорошо работают, обязательно простаивают.

Я завидую вам, заводские инженеры: у вас ритмичный конвейер, отработанная технология, строгая регламентация. Строителям нужно научиться работать по-заводски.

Может быть, эта мысль пришла и Анатолию.

— Знаете что, — вдруг примирительно сказал он, — давайте спросим у бригадира, — и громко крикнул: — Николай!

Николай Корольков страхнул с комбинезона пыль, поправил старый офицерский ремень с большой медной звездой и подошел к нам:

— Все спорите.

— Да, спорим. Слушай, Николай, будешь судьей? — Анатолий повернулся ко мне. — Ну что, Виктор Константинович, возьмем Николая в судьи? По рукам?

Мне известно, что по всем литературным канонам я должен быть твердым, как бетон марки «400». Я должен быть очень серьезным и не идти ни на какие компромиссы. Прошу меня извинить, читатель, но я рискнул.

— Так слушай, Николай, — начал Анатолий. — Вот у тебя бригада пятьдесят два человека. Они разделены на звенья и работают в три смены. Так? Виктор Константинович говорит, что аккордного наряда мало; он требует учитывать работу каждого звена, а зарплату наряда делить в зависимости от того, что сделало звено. Он не верит тебе как бригадиру, он утверждает, что у рабочих в большой бригаде нет

стимула. Ну, скажи, скажи ты, бригадир, что он не прав. Скажи ему...

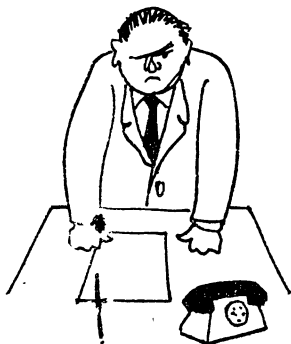
Анатолий нервничал.

Корольков молчал.

— Ну, что же ты? — нетерпеливо воскликнул Анатолий.

— Виктор Константинович прав, — тихо сказал Корольков. — Я и сам об этом думаю.

Николай Николаевич заболел. В тресте стало серо и тихо. Меня вызвал заместитель управляющего Моргунов, который, как утверждали некоторые сотрудники треста, любит «разносить» и сам при этом любит свою свирепую решительность.



Когда я зашел в кабинет Моргунова, он, не ответив на приветствие, недовольно спросил:

— Слушай, начнешь ли ты, наконец, заниматься делом? На тебя жалуются, что ты там мудришь с какой-то системой, на аккордные наряды всех перевел!

Нетерпеливо поглаживая черные, коротко остриженные волосы, он невнимательно выслушал меня.

— Это все ерунда, — срываясь, закричал он, — нужно сдавать корпуса раньше срока. Вкалывать! А остальное приложится.

— Что толку, если я буду «вкалывать», — сдерживаясь, ответил я. — Я руками не работаю, я должен думать. И не кричите, пожалуйста, это ни к чему.

Моргунов удивленно выпучил глаза.

— Лезешь в бутылку. Ну что ж, приступим. — Он снял телефонную трубку. — Александр Михайлович, зайди-ка... брось, иди сейчас, говорю.

Через минуту в кабинет влетел наш трестовский начальник отдела труда Ротон, мужчина уже в летах, но неуемной энергии, напомиравший кипящий чайник, который вместо пара выбрасывает фонтан слов. Все об этом знали, и когда Ротон появлялся в конце длинного трестовского коридора, сотрудники, бросая недокуренные папиросы, исчезали в своих комнатах.

Ротон взъерошил длинные серые волосы и сразу разразился тирадой о необходимости курсов нормировщиков.

— Постой, — морщась как от зубной боли, сказал Моргунов. — Чего ты мелешь? При чем тут курсы нормировщиков?

Ротон, нимало не смущаясь, переключился на другую тему и с той же энергией высказался о текучести рабочей силы.

Моргунов даже позеленел. Несколько раз он пытался прервать Ротона, но тот бегал по кабинету и непрерывно говорил, перескакивая с одной темы на другую. Наконец он заметил меня и начал доказывать мне, как правильно я применяю наряды.

Я скромно молчал, но Ротон набрасывался на меня, словно я ему возражал. Разделавшись со мной, он сел и нетерпеливо спросил Моргунова о причине вызова, добавив, что он очень спешит.

На Моргунова было страшно смотреть. Он помолчал, очевидно собирая крохи своего растерзанного самообладания, и очень тихо сказал:

— Сделаешь у него ревизию... всех нарядов. Подготовь приказ о всех нарушениях. Если будет в конце месяца перерасход фонда зарплаты, снимем его с работы. Иди...

Ротон открыл было рот, но Моргунов дико закричал:

— Иди, я говорю!

Несколько минут он тяжело дышал, вытирая платком лицо, потом глухо процедил:

— Вы тоже можете идти.

Вчера над моим столом появилась скромная табличка, закрепленная тремя кнопками и одним гвоздиком; сначала я не понял, для чего она, но сегодня утверждаю, что это одно из самых гениальных изобретений нашего века.

Слева в таблице перечислены все бригады нашего управления, звенья и рабочие, которые получают отдельные наряды. Справа... О, справа главное — правая половина разделена по вертикали на дни месяца, а через них, от бригад и рабочих, протянуты тонкие горизонтальные линии. Эти линии означают аккордные наряды. Теперь я знаю, до какого числа обеспечена бригада нарядом; мне не нужно специально ездить на стройку. Я просто снимаю трубку и говорю:

— Анатолий Александрович, здравствуйте...

— Здравствуйте, здравствуйте, — нетерпеливо перебивает меня прораб Анатолий. — Наряды всем выписаны...

— Да я не об этом! Все ли у вас есть?

— Все, все...

Тогда я, глядя на таблицу, говорю невинно:

— Ну что ж, хорошо, если все есть. А нарядик номер двадцать семь арматурщика Волкова вчера закончился.

— Да не может быть, — кричит в трубку Анатолий. — Подождите... — Несколько минут молчания, наверное он роется в папке нарядов. Потом слышу его озада-

ченный голос: — Да, правильно, а откуда вы знаете?..

Некоторое время прорабы удивлялись, пытались спорить, что-то доказывать, но, увидев таблицу, изобретенную Лидой, сдались, объявив безоговорочную капитуляцию. Так у нас в управлении был введен второй закон (уже давно открытый): проверка исполнения, введенная в систему.

Работать стало труднее. Наряды выписывались и раньше, но они почти ничего не значили. Существовал молчаливый секретный договор прораба с бригадиром. Стороны обязывались: бригадир — не шуметь, когда случались простои из-за отсутствия деталей, из-за плохой подготовки работы, а главное — из-за того, что прораб не хотел думать; прораб — в конце месяца выписывать дополнительные фиктивные наряды, которые, несмотря на простои, выравнивали зарплату до какого-то приемлемого уровня.

Сейчас аккордный наряд брался на учет по Лидиной таблице, и в конце месяца уже ничего нельзя было «дописать». Таким образом, все «секретные договоры» аннулировались. Исчезла раковая опухоль различных приписок, восстановились нормальные отношения деловитой требовательности сверху вниз и снизу вверх.

Ох, и досталось всем в конторе от этого «снизу вверх»!

— Что вы сделали с прорабами и бригадирами, Виктор Константинович? — кричал снабженец Митрошин. — Перебесились они, что ли? Раньше случись задержка с бетоном или деталью — молчат, ожидают. А сейчас сумасшедший дом!

Я все выслушивал молча. Это великое дело — дать человеку выговориться. Когда снабженец замолкал, я спокойно отвечал:

— Павел Митрофанович, я скажу прорабам и бригадирам, чтобы они кричали потише.

Митрошин, подымаясь с кресла, еще прятал улыбку, но на середине комнаты не выдержал и, громко смеясь, воскликнул:

— Потихе кричали... а, чтоб вас!

Он был в сущности милейший человек, наш грозный снабженец.

Вертушкой кружились дни: трудные понедельники, когда обязательно что-нибудь не ладилось; безличные вторники; длинные, с оперативными совещаниями, среды; четверги — пятницы и, наконец, милые субботы, когда впереди маячит заманчивое воскресенье. Несколько поворотов — и вот уже второе число нового месяца — «судный день» главного инженера.

Второго числа — никаких эмоций — все занимают арифметикой; прорабы на листах бумаги множат количество выполненных конструкций на расценки, и если эти листики освящены подписью заказчика, они называются «процентовками».

Чернов, наш главный маг, постучит костяшками счетов, и вот уже на листах —

«выполнение плана». Затем маг шесть раз покрутит ручку арифмометра в одну сторону, два — в обратную, и получает новое качество: «фонд заработной платы». Не дай бог, чтобы фактическая зарплата была больше фонда, тогда появляется «перерасход»...

Вечером второго числа я не вызывал к себе никого, но все собрались. Все было почти так же, как это описывалось в начале записок. У стены сидели прорабы, бригадиры, в углу — Луганкин, у столика — Митрошин, на клеенчатом диване — медлительный механик, все еще корпел над расчетами Чернов. Вот только у окна, рядом с Лидой, появился трестовский трудовик Ротонв.



— Ну, хватит вам колдовать, Чернов, — нетерпеливо тормозит начальника производственного отдела прораб Анатолий. — Что там у вас получилось?

Чернов что-то дописал и поднялся.

— План — сто двенадцать... — громко произносит он.

— А все кричат! — с размаху хлопает книжкой по столу Митрошин. — Материалов им мало, — и гневно смотрит на своих извечных противников-прорабов.

— ...Производительность труда сто тридцать девять процентов, зарплата выросла на двадцать процентов.

— Здорово!

— Убытков нет, есть прибыль. Сколько, пока не знаю. — Тут Чернов делает паузу и, сбившись с официального тона, тихо произносит: — Перерасход фонда зарплаты, товарищи, восемнадцать процентов.

Верно говорят, что в беде полнее всего открывается человек.

— Я же предупреждал вас, Виктор Константинович, — громко говорит Кочергин.

— Да, вы предупреждали.

«Ну, кто еще в кусты», — безучастно думаю я. И если говорить честно, мне в этот момент даже хочется остаться таким одиноким трагическим героем.

Но этого не случилось.

— Чего это вы все раскисли, — насмешливо сказал Анатолий. Он поднялся и подошел к маленькому столику, напротив Митрошина.

— Подвиньтесь с вашими книгами, Митрошин. Стащу я у вас их когда-нибудь, пропадете тогда.

Не обращая внимания на негодование Митрошина, Анатолий очистил себе место.

— Ну-ка, давайте посмотрим, откуда он, перерасход.

Он взял у меня со стола пачку нарядов.

— Скажите, Ротонов, вы проверяли их? Есть тут какая-нибудь липа?

Ротонов по привычке вскочил и начал распространяться о видах нарядов, фонде зарплаты, но Анатолий его перебил:

— Слушайте, можете вы хоть раз в жизни по-человечески ответить, а? Ну, мы все просим.

Ротонов улыбнулся и вдруг ясно, коротко сказал:

— Отвечая. За двадцать лет своей работы я не видел таких правильных нарядов. Проверял их с пристрастием... Но вы должны знать: Моргунов тверд — трест перерасхода не подпишет, а ваш главный будет снят с работы.

Тогда Анатолий взялся за Кочергина.

— Ну, теперь ты скажи, дорогой, как накашлял столько зарплаты? Ведь только у тебя перерасход!

— Накашлял! — возмутился Кочергин. — Вы вот все чистенькие, рабочих сократили, когда на аккорд перешли. А куда они делись? К Кочергину, осваивать новую площадку.

Кочергин встал и, загибая толстые пальцы, начал перечислять.

— Зачистил котлован — раз, поставил опалубку — два, арматуру — три. Короче, все подготовил, а от заказчика шиш получил...

— Так в чем же дело, Виктор Константинович? — перебил его Анатолий. — Значит, все в порядке. В следующем месяце у Кочергина будет большое выполнение, он отдаст перерасход.

— А как же выплатить зарплату? — спросил за меня Чернов.

— Зарплату? Придется часть нарядов изъять и оплатить в следующем месяце. Как?

Луганкин искося посмотрел на меня и подтвердил.

— Иначе выхода нет, объясним коллективу, поймут.

До сих пор совещанием командовал Анатолий. Сейчас я очнулся. Я представил себе разочарование людей: ведь в этой пачке нарядов — итог их работы, их благополучие. Если наряды не оплатить — это конец системе, аккорду. Веры больше не будет.

— Нет, этого делать нельзя. Берите наряды, — сказал я Чернову. — Начисляйте зарплату полностью...

Все молчали. Тогда я сказал:

— Все, товарищи, отдохайте: завтра поеду в банк.

* * *

Неожиданно, даже без телефонного звонка, пришла осень. Падают желтый лист, а чтобы в этом не было сомнения, на трамвайных путях повесили таблички с надписью: «Листопад».

Странно ведет себя ветер: через окно трамвая мне видно, как он сначала собирает листья в кучи, полюбуется проделанной работой, потом в мгновение снова рассыпает их по тротуарам и мостовым.

Директор банка был не в духе.

— Вы поосторожнее, он только что съел двух посетителей, — сказали мне тихо в приемной.

Когда я вошел в кабинет, мне показалось даже, что директор облизнулся. Во всяком случае, он провел кончиком языка по губам, это я видел ясно.

Директор подождал, пока я устроился в глубоком кожаном кресле, почему-то напомнившем мне капкан, и спросил:

— Ну-с, что просим?

Из-под клочковатых бровей смотрели на меня умные, насмешливые глаза. «Я тебя знаю, — говорили они, — я вас всех знаю. Хозяиничать не умеете, финансов не знает, потому все и подбирается».

Я сказал:

— Пришел с вами посоветоваться.

— Посоветоваться? — удивился директор. — Впервые ко мне приходят за советом. Ну-с, выкладывайте.

Пока я рассказывал, директор покачивал головой.

— Понимаю, это очень интересно. Хорошо, хорошо. Но только выплатить вам перерасхода зарплаты я не могу. Это будет нарушение.

И видя, что я продолжаю сидеть, сухо добавил:

— Все! До свидания, меня ждут.

Если б он сказал это сочувственно, я наверное бы вздохнул и ушел. Но тут я сорвался. Все напряжение месяца, капризы прорабов, недружелюбие Моргунова, перерасход зарплаты — все это сплелось в большой клубок, который подкатился к горлу.

— Я уйду, товарищ директор, — воскликнул я. — Но хочу вам сказать, что я подумал сейчас о вас. Зачем вы тут сидите? Ведь для того, чтобы выдать нам зарплату строго по фонду не нужен человек. Поставьте вместо себя автомат и уходите. Я показал вам расчет, из него видно, что по трудоемкости работ мы сделали больше чем нужно. Но мы произвели много подготовительной работы, она мало стоит. Кончится ли когда-нибудь эта проклятая система, когда только дорогие конструкции дают фонд зарплаты?.. Неужели вы не можете нам помочь, ведь погибнет большое дело!

Он молчал. Я рассказал ему о лентяе Гнате, который начал работать по-настоящему, о старике Фадееве, о прорабе Сокове, о двух законах, которые мы открыли.

Я направился к двери и, взявшись за ручку, обернулся:

— Жалко, что у нас в Союзе только один Стройбанк. Я ушел бы от вас.

Он усмехнулся:

— Подождите. Давайте еще раз посмотрим ваши бумаги.

...Когда, держа в руках заветное разрешение, я смущенно благодарил его, директор перебил:

— Не стбит. Раньше я вам перерасход, конечно, не оплатил бы. Но сейчас необходимо поглубже заглядывать в экономику. А потом,— он лукаво посмотрел на меня,— я ведь могу потерять клиента. Не так ли?

И хотя мы оба знали, что это шутка, что мы прочно «привязаны» друг к другу, я серьезно отвечал:

— Нет, я остаюсь у вас.

— Спасибо.— Он наклонил седеющую голову.— Только вот что, вы ошиблись. Инженеры всегда плохо считают. Вы открыли не два закона, а три.

Я удивленно посмотрел на него. В это время в дверь робко протиснулся новый посетитель, он умоляюще прижимал к огромному животу соломенную шляпу.

Не обращая на него внимания, директор протянул мне руку.

— Больше ничего не скажу вам.

...В конторе меня ожидал главный бухгалтер. Я подписал все бумаги на получение и выдачу заработной платы.

* * *

Уже поздний вечер. Улицы, освещенные белым светом фонарей, пустынны и кажутся незнакомыми.

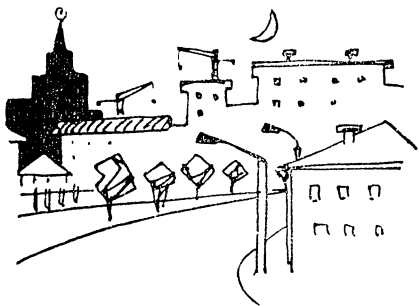
Нет ни людей, ни машин. Только, как всегда загадочно, улыбаются манекены в витринах.

После второй смены куда-то исчез и ветер; вдали за грядями зданий, торопливо, словно опоздавшая на работу учетчица, выбежала луна.

Наверное, сейчас вздыхает за алгеброй бригадир Алексей Корольков (трудно учиться в сорок да еще заочно); вышел на прогулку с бульдогом прораб Анатолий; надев очки в золотой оправе, читает военные мемуары Петр Федорович Луганкин; а снабженец Митрошин, назло всем вра-

чам, с аппетитом уничтожает обильный ужин! Милый чудак Соков, наверное, уже спит. Отдыхает мой коллектив. Я еду домой. Выключены светофоры, и троллейбус мчит без опаски. Одно за другим темнеют окна домов.

Мои мысли все еще на стройке... Прав, конечно, мой управляющий: если ввести в систему, организовать как следует все «мелочи», как это сделано у нас с зарплатой, можно многого добиться.



Но почему же это не делается?

Это трудно. Но может быть это и есть он, третий закон, на который намекал директор банка. Умение преодолевать трудности: точнее — умение и желание.

Завтра я навещу Николая Николаевича в больнице. Я знаю, что он мне скажет.

— Ну что ж, Виктор, зарплату «дожали», это не плохо. А новая техника? Какой же главный инженер без нее!

Я буду молчать. Тогда он по привычке обхватит рукой подбородок и с деланным негодованием произнесет:

— Сейчас хныкать и торговаться будешь?..

Я улыбаюсь воображаемому разговору и тому, как после моего ответа, соскользнув с подбородка, повиснет в воздухе рука управляющего. «Нет, торговаться не буду». Я знаю теперь три закона, которые помогут решить и этот вопрос...

Удача

Мы хитрить не умеем.
Тем паче
Нелегко нам ходить по земле.
Роковая печать неудачи
На твоём холодеет челе.

Изменяет фортуна мгновенно
И добро обращает во зло...
Да и я, говоря откровенно,
Не из тех, кому в жизни везло.

Нас бросает из крайности в крайность:
Чуть нашлась панацея от бед —
Бац!.. Нелепая, злая случайность
Все усилия сводит на нет!

Поглядишь: очищаются дали,
Облака обращаются вспять...
Бац!.. Другой стороною медали
Обернулась удача опять!

Почему?
Небольшая подробность
Этот факт объясняет сполна:
Удивительнейшая способность
Нам с тобою, дружище, дана.

Вот она:
Превращать в наших силах
В результате разумных шагов
В злых богов — наших добрых богов,
В буйных ведьм — наших девушек
милых,
А друзей — в беспощадных врагов.

Ясность смысла — в неясность задачи,
Краску радости — в краску стыда...
Никакой, даже малой, удачи
Не простит нам судьба никогда!

Неудачники мы.
Это ясно.
Чудаки — это скажет любой...
Потому человека напрасно
Мы обидеть не можем с тобой.

Что ж, положим, все так.
Что ж, положим,
Нет удачи ни в чем и нигде,—
Потому мы с тобою не можем
Не помочь человеку в беде.

Мы ступаем не скоро, но прочно,
Нас не сбить и не взять на испуг.
Неудачники мы.
Это — точно!
В этом — наша удача, мой друг!

О манерах

На Севере сейчас грязищу месят,
А здесь — теплынь, хоть пиджаки
снимай!
Октябрь в пустыне — самый светлый
месяц,
В Москве такие — август или май.
Ушла на юг жара. Река мелеет.
Бредя в кишлак, отара сыто блеет.
Прошли дожди, и воздух свеж
и чист,
И медленно в садах желтеет лист.

И только мне не до красот природы:
У сварщика украли электроды,
Зарплату в срок контора не пришлет,
Опять в Ташкент отозван вертолет,
В песках бригада третий день без
хлеба,
Бензина больше не дает Фараб...
А тут еще пустил цемент налево
Напившийся до чертиков прораб!
Вот он подходит, жалко сгорбив
спину,
Пески своим присутствием скверня...
Я из него, бродяги, душу выну!
Пусть после жалуется на меня.

Был с юношества я, романтик
пылкий,
Гнилым интеллигентством заражен.
Меня учили: кушай рыбу вилкой
И никогда не ковыряй ножом.

Пусть плавный жест и чинная беседа
Подчеркнуты наклоном головы,
Не замечай, что пролит суп соседа,
И старшим говори с почтеньем:
«вы».

Я изучил хорошие манеры,
Был вежливым, умел красиво есть
И в драку с хулиганами не лезть:
Иначе для чего ж милиционеры?

Но годы шли. В краю песков
багровых

Я привыкал к палаткам и кострам,
Где водку пьют из кружек
поллитровых,
Закусывая костью в килограмм,
Где небосвод от пыли темно-сер,
А люди необузданны и грубы,—
И от моих изысканных манер
Осталась лишь привычка чистить
зубы.

Как истукан, при всем честном
народе
Стоит прораб, не поднимая глаз,
И вдруг он говорит:
— Прости, Володя.
Не воровал — ты знаешь, в первый
раз...

Жена ушла — легко понять причину,
Что парня выбила из колеи,
И я ору:
— Иван, бери машину!
Чужие пропил — купишь на свои!..
В глухих песках, в брезентовой
палатке,
Где сушит зной и душит суховей,
Ко всем чертям я растерял остатки
Гнилой интеллигентности своей!..

Бесы

Мечусь бесплодно и устало,
И мыслить, и любить спеша.
Как далека от идеала
Ты, грешная моя душа!

В тебе, возвышенной и чистой
Сестре безоблачных небес,
Гнездится ревность — черт

когтистый,
И пляшет зависть — мелкий бес.

Влечет постель, и вместе с нею,
Неверный сокращая день,
Ласкает, охватив за шею,
Изнеженная ведьма — лень.

И скупость, чертово отродье,
И неподъемный, как бревно,
Пузатый бес чревоугодя
С зеленым змием заодно.

И мрачный баловень несчастья,
Тяжелый всадник на плечах —
Губастый демон сладострастья
С безумным пламенем в очах.

И призраками увлекаюсь,
И падаю, и встать спешу,
Грешу и каюсь, зарекаюсь,
Вновь каюсь и опять грешу!

Душа, ты расплылась, как глина,
Любую форму не любя...
О внутренняя дисциплина,
Мой бог, как обрести тебя?

Я знаю: в каждом сердце смешан
С извечной тьмой извечный свет.
Кто говорит, что он безгрешен,
Тому вовек доверья нет!

Заблудшего да не осудим,
Соединив в своей судьбе
Великую терпимость к людям
С жестокостью к самим себе.

Циолковского

Московская юность

Гениальный русский ученый Константин Эдуардович Циолковский отличался поразительной скромностью. В 1913 году популяризатор его открытий Я. И. Перельман обратился к нему с просьбой написать автобиографию. К. Э. Циолковский прислал ответ:

«Я родился в 1857 году. Пробыл учителем тридцать три года и теперь им состою. Жизнь и силы поглощались трудом ради куска хлеба, а на высшие стремления оставалось мало времени и еще меньше энергии. Учительский труд мой оплачивается и оплачивался скудно, но я его все-таки люблю. Жизнь послала мне множество горестей, и только душа, кипящая радостным миром идей, помогает мне их перенести».

К. Алтайский, живя в Калуге, в 1926—1935 годах часто общался с К. Э. Циолковским. Он просил ученого рассказать о своей жизни. Под всякими предложениями тот долго отказывался. Но однажды к Алтайскому в Калугу пришло из Сорренто от А. М. Горького письмо. В нем были такие строки:

«Пора — давно пора! — написать об этом изумительном человеке книгу листов на шесть, на десять, написать популярно, рассказать подробно о его работах и об условиях, в которых он работал».

Только после этого письма К. Э. Циолковский более месяца подряд рассказывал о своей жизни, а К. Алтайский записывал эти воспоминания.

Эти записи, относящиеся к пребыванию молодого Циолковского в Москве в 1873—1876 годах, легли в основу публикуемых ниже очерков.

Рязанская тетрадь



А

ведь я писал стихи, — неожиданно признался Циолковский. — Это было до моего отъезда в Москву. И не мало писал. Стремление к рифмованному, музыкаль-

ным строкам пробудилось во мне рано — лет, я думаю, с девяти, десяти. Оно было неодолимым. Слова слагались в певучие строфы, как бы помимо моего сознания. О чем я писал? Темы известные: природа, любовь. Природу я тогда не умел ни видеть, ни понимать. Она меня безотчетно очаровывала и подавляла. Звездное небо. Древняя река. Тысячи тысяч былинок на лугах. Рощи и боры. Все это вызывало бездумный восторг, и я его выражал как умел. О любви я мог только лепетать, как дитя.

Стихи, надо думать, выходили у меня наивными и не отличались ни глубиной мысли, ни полнотой чувств. Единственно, что они достоверно выражали, это мои ранние, не совсем ясные мечты. Временами, когда стал постарше, на меня находило безудержное озорство, и я дерзновенно сравнивал звездное небо с лукошком, полным алмазов, а голубую реку — с жилкой на виске немислимого великана.

По молодости лет я крайне удивлялся, что у меня так складно и даже певуче получается.

Однако я заметил: очень быстро перерастаю свои стихи. Пока, бывало, рифмовую строку о березке, опрокинутой в заводи, стихи мне кажутся свежими, а пройдет неделя-другая — и я вижу, что это перепевы слышанного, нехитрая перелицовка прочитанного. И мне становится стыдно за неудачное авторство.

Я рано научился читать и знал поэзию Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Занимаясь стихами, я отдавал отчет, что делаю это как самоучка, не зная ни теории стихосложения, ни истории поэзии. Понимая, что ничего путного из этих занятий не выйдет, я однако не мог остановиться и все писал, писал.

Наша семья была многолюдной, жили мы тесно. Свои стихотворные опыты я прятал, как мне казалось, очень надежно, и все-таки меня выследил старший брат. Отношения с ним оставляли желать лучшего. Случалось, он без повода обижал меня. Из-за стычки с ним я получил от отца первую порку в жизни. Вы представляете мой ужас, когда я увидел в руках Иосифа мои стихи? Я с яростью бросился на него с кулаками, но он удивил меня ласковыми словами:

— Очень хорошие у тебя стихи, Костя! В моем присутствии он глазами, про себя, прочел все написанное мною. Читая, бормотал: «Молодец! И откуда это у тебя?..»

Даже не посмотрев на меня, он достал из шкафа общую тетрадь, принес чернила и ручку и сел за стол. Я на цыпочках подошел и встал за его спиной. На первом листе он крупно вывел «Рязанская тетрадь», потом ниже — помельче — «Стихотворения Константина Циолковского». Промакнув написанное, он не спеша прокумеровал страницы и стал переписывать стихи. Делал он это старательно, истово, часто сличая строки, боясь допустить опisku.

Я глазам не верил! Переписанные братом строки обретали какую-то особую значительность. Надо заметить, что почерк у Иосифа был каллиграфический. Особенно удавались ему заглавные буквы. Названия стихотворений он выводил четко и крупно, а если стихотворение не имело названия, он неторопливо рисовал над ним три изящные звездочки.

То, что бесчувственный насмешник, ниспровергатель основ, задавала и гордец Ося не только не посмеялся над моими стихами, но и переписал их, казалось мне чудом.

С того дня все рифмованное, что выходило из-под моего пера, я молча передавал Осе. Он так же молча брал и переписывал в тетрадь. Это продолжалось и в Вятке, куда переехала наша семья. И вятские мои стихи Ося переписывал в «Рязанскую тетрадь».

С годами я больше уделял внимания

науке, и это отразилось в стихах. Я написал два-три стихотворения о полетах на огромном дирижабле, какой мог только присниться.

В 1873 году я собрался в Москву для занятия самообразованием. Перед отъездом я без сожаления уничтожил черновики своих стихотворных опытов, не придавая им никакого значения. Стихотворчество свое признал детской болезнью, вроде коклюша или кори.

Мне казалось, что Ося вручит мне тетрадь со стихами по первому требованию, но услышав мою просьбу, он сделал изумленное лицо:

— Тебе? «Рязанскую тетрадь»? Да ты, братец, видно, рехнулся. Ты ее можешь потерять, а в ней великолепные стихи. Неужели я стал бы переписывать всякую чушь?

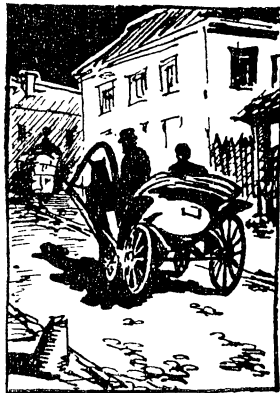
Я посмотрел в глаза брата. Нет, он не издевался. В его глазах я прочел непреклонность и понял: требовать, просить, клянчить, умолять бесполезно.

Так я и уехал в Москву без «Рязанской тетради». Не вернул мне ее брат и позднее.

Не исключена возможность, что она лежит на чердаке какого-нибудь старого дома. Кто-нибудь найдет и прочтет. Ну что же! Ничего плохого там нет. Природа, любовь, мечты. По правде сказать, иногда хотелось бы прочесть отдельные строчки. Это была бы встреча с юностью...

...Он умолк так же неожиданно, как и заговорил.

Рыбий мех



тец меня предупреждал, что Москва слезам не верит.— Циолковский сказал это тихо и, как мне показалось, с горечью.

Москва его, шестнадцатилетнего, встретила не как мать, а как мачеха. Мечтательный и стеснительный юноша к само-

стоятельной жизни не был приспособлен, людей сторонился.

— Огорчения в Москве начались с первого дня,— признался он.— Как советовал отец, на вокзале я стал рядиться с извозчиком: с вещами в руках жилье искать несподручно.

Извозчик по виду сразу определил, что я в Москве впервые и, конечно, заломил втридорога. На мою беду других извозчиков расхватали, и этот, единственный, рассудил, что я никуда от него не денусь.

Мы потащились на Немецкую улицу. Почему на Немецкую? У отца в Москве ни родных, ни друзей, ни просто знакомых не оказалось. Сослуживец его дал рекомендательное письмо в одно семейство, проживавшее тогда на Немецкой улице. Остановившись у них, я не торопясь мог подыскать квартиру.

На полпути я, обшарив все карманы, убедился, что письмо потеряно. Значит, адреса нет. Это очень омрачило мои первые часы в Москве. Я решительно не знал, где проведу ночь. Извозчик допытывался:

— А какое вам место на Немецкой-то требуется?

Я не знал, что ответить. Вдруг извозчик резко остановил лошадь и потребовал деньги вперед. Стало понятно: он запоздрил во мне жулика.

Расплачиваясь, я не скрыл от него причины смущения:

— Письмо потерял. Ночевать негде...

Извозчик сжалился надо мной:

— Ладно. Гривенник прибавьте, привезу к одной прачке. У ней недавно жилец съехал. Комнату она сдает. Может, сговоритесь.

Так я поселился на Немецкой улице, в маленькой комнатухе. Хозяйка держала небольшое прачечное заведение, нанимая двух, трех, а перед праздниками и четырех прачек. В комнатке у меня всегда пахло мылом, жавелем, баннным паром, сохнувшим бельем, но все же это была отдельная комната, а не «угол» и не «койка».

Теперешняя Москва с той, давней, поры разрослась, изменилась, похорошела неузнаваемо. Но так уж устроен человек: Москва моей юности все равно мила мне. Ее тихие улочки и переулки, река Яуза, Воробьевы горы.

Константин Эдуардович улыбнулся:

— Ну вот, видите, в лирику ударился, а хотел рассказать о злключениях. В первые же дни в Москве я обошел все магазины и аптеки. Искал прибор, усиливающий звуки. Временами я стал немного слышать, но глухота все-таки меня мучила. Вначале провизоры обнадеживали: у нас, дескать, такого прибора нет, но вы обратитесь туда-то и туда-то. Я терпеливо обошел весь город, истрепал подметки, а прибора от глухоты не нашел.

Кстати, уж скажу о подметках. Квартирная хозяйка по-своему жалела меня. Видела, что живу скудно. Единственные брюки прожег кислотами во время опытов, а сапоги и вовсе каши просили. Она мне посоветовала:

— Завтра воскресный день. Сходили бы вы на Сухаревку и купили новую обувь. А то смотреть на вас, оборванного, сердце болит.

Я только что получил от отца почтовый перевод на шестнадцать целковых. Подумал-подумал и решил справиться новые сапоги. На Сухаревке мне приходилось бывать и раньше, но только в книжном ряду. Сухаревские букинисты в книгах знали толк и были оборотисты. Но посмотрели бы вы, как шла книжная торговля! Книги лежали навалом прямо на земле, на рогожах и мешковине. Только небольшая толика их выставлялась на грубо сколоченных прилавках. Чтобы найти нужное издание, приходилось рыться, перебирать сотни подержанных книг.

Но в то воскресенье я зажмурился, подавил в себе страсть книголюба, стороной обошел книжный торг. Вскоре очутился в той части рынка, где шла торговля обувью. Чего я там насмотрелся! Гусарки с пуговками, кавалерийские сапоги со шпорами, опорки, утконосные штилеты, бальные туфельки, лапти... У меня разбежались глаза. В ушах звенело от зазывал. Один кричит:

— А ну, налетай, заезжий гость! Не голенища, а шелк. Не подметка, а кость!

Другой перебивает:

— А вот сапоги, надевай и беги! В них в лесу догонишь лису!

Стоило мне прицениться к сапогам, как меня окружило не менее десятка горластых торговцев. Они бесцеремонно оттерли меня к стене и загалдели как галки. Насильно усадили на какой-то чурбак, стащили с меня сапог:

— Примеряй!

Стал примерять. Пары три не подошли по размеру. Наконец обувь оказалась впору, но, судя по мягкости и эластичности кожи, была мне не по карману. Торгаш божился, что в таких сапогах я прохожу всю жизнь, оставляю их сыну, а тот осчастливит моего внука. Тут я почувствовал, что в карман ко мне кто-то лезет. Я закричал и этим предостергал кражу. Вынул красненькую и зажал в кулак. Сторговались. Заплатил. Обул обновку, а старые сапоги взял за уши и понес в руках. Иду, радуюсь. Ногам хорошо. И вдруг заметил, что в левый сапог попал камешек. Небольшой камешек, но острый. Режет ногу. Отыскиваю глазами лавочку у ворот, сажусь, снимаю сапог и... сердце мое холодеет. Батюшки светлы! На новой подметке уже дыра! Вместо кожи — картон! Снимаю другой — и у того подметка картонная. Быстро обуваю в старые сапоги, бегу обратно на Сухаревку, хожу ищу мошен-

**ГАЛЕРЕЯ
"МОСКВЫ"**

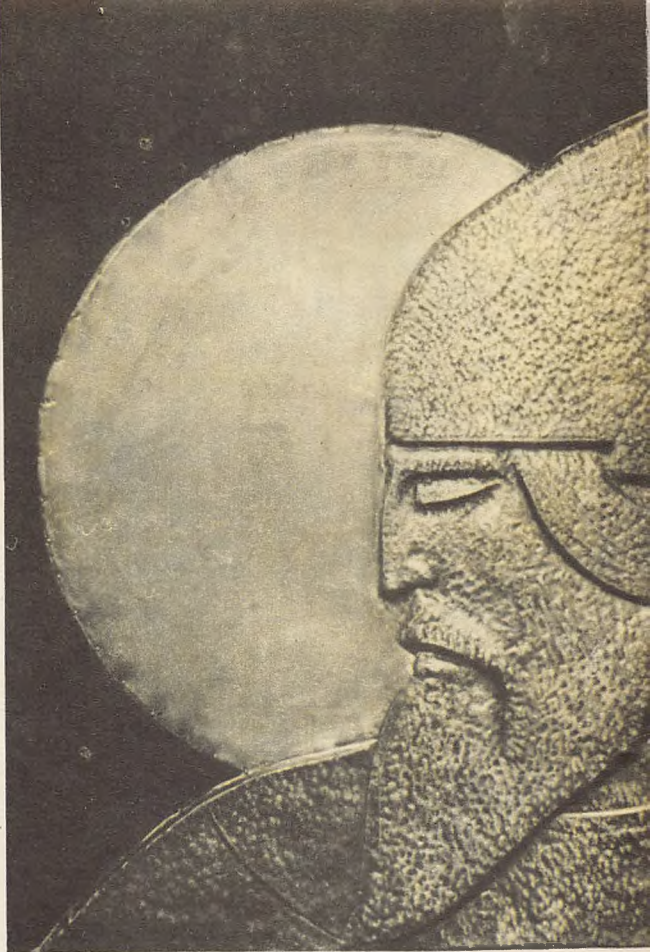


М. Бердзенишвили

Памятник Шота Руставели,
открывающийся в Москве

**К 800-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ШОТА РУСТАВЕЛИ**

РАБОТЫ
Д. КИПШИДЗЕ



Грузинский воин



Портрет Шота



Царица Тамара



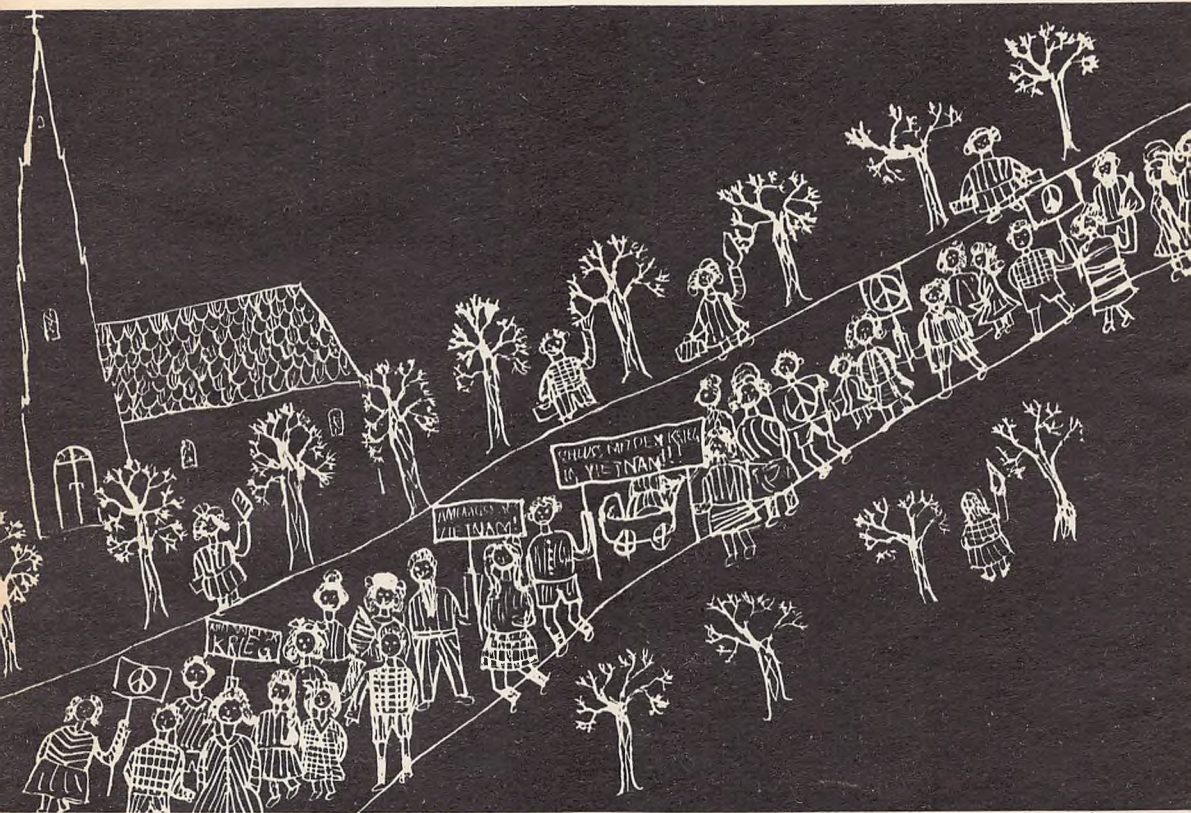
Письмо Нестан

Шота Руставели и тигр



«МОЯ СТРАНА — МОЙ ДОМ»

Международная выставка детских рисунков

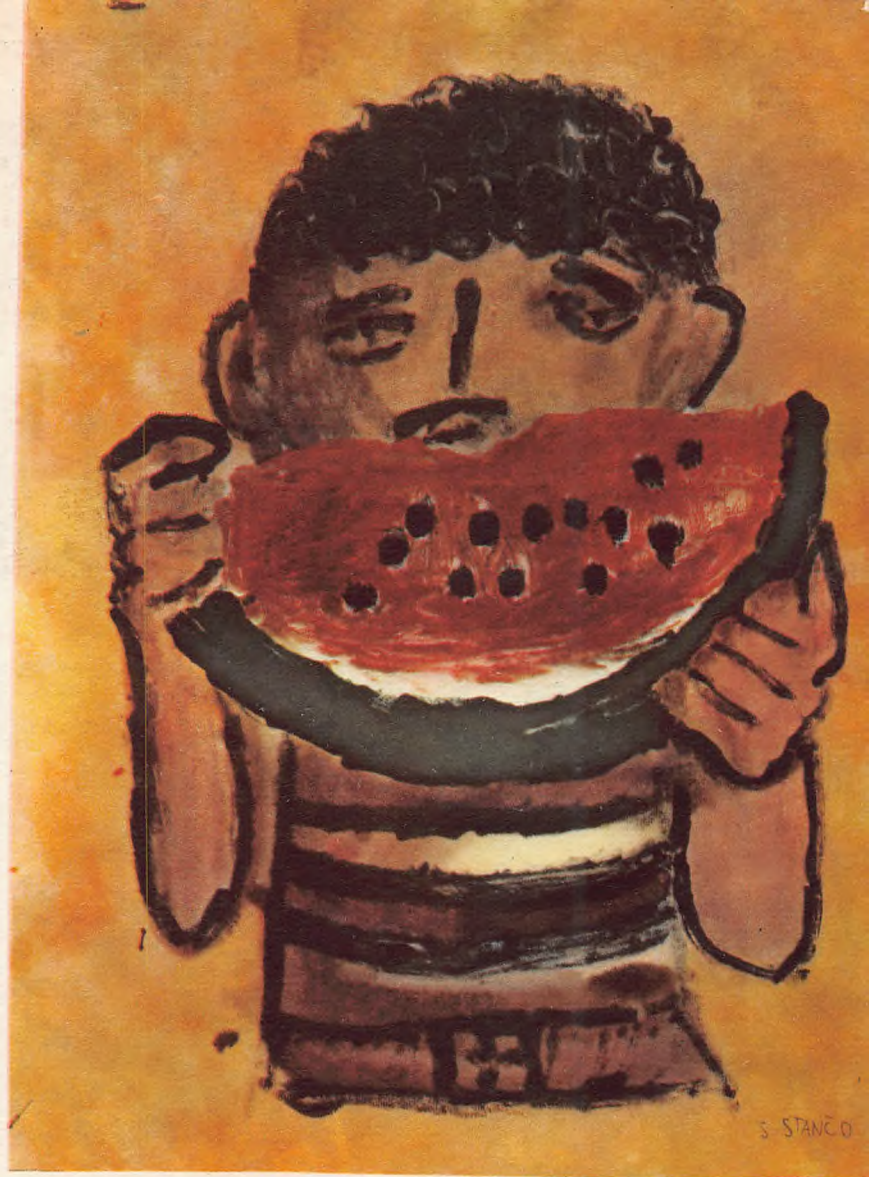


Пёльцль Фрида, 10 лет (Австрия)

Мы против войны во Вьетнаме!



Байков Толя, 5 лет (СССР)
Зимние голодные волки



Станчо Александр, 12 лет (Чехословакия)

Арбуз



Линьков Толя, 10 лет (СССР)

Хор



Зарон Ира, 10 лет (СССР)

Катанье на ослике



Ионецкис Ромуальдас, 11 лет
Тракторист (СССР)

Ёно Хироко, 12 лет (Япония)

Дождливый сезон



Обольский Леня (СССР)

Нас водила молодость
в сабельный поход...



Траоре Абубакар, 13 лет (Мали)

Сбор кокосовых орехов



Печинкова Магда, 8 лет (Чехословакия)

Бабушка за машинкой





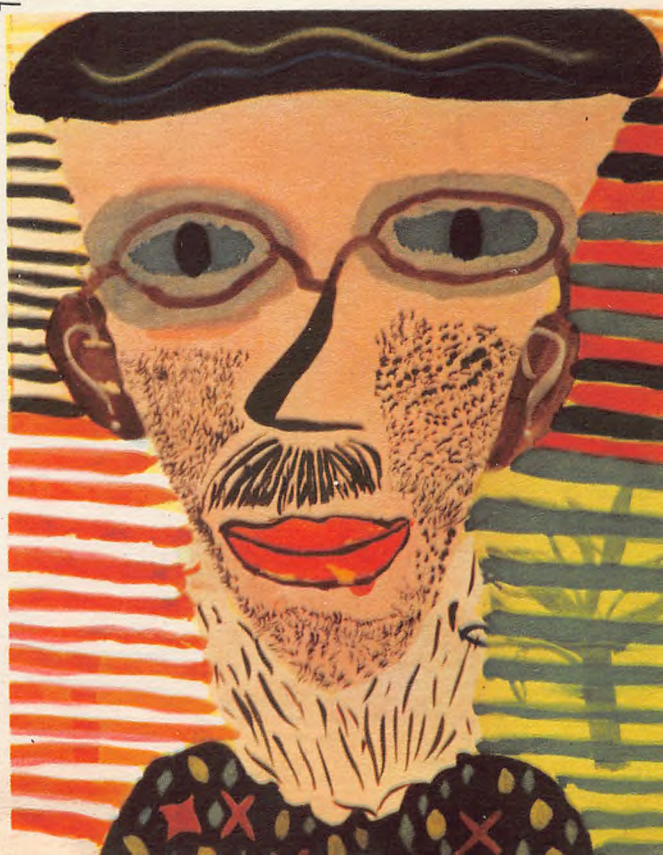
Реми Никола, 11 лет (Франция)

Лошади зимой



Нальди Надик, 12 лет (Италия)

Тосканская улица



Лелан Пьер, 9 лет (Франция)

Портрет ученого

ника, а его и след простыл. Обувщики узнали меня и ну потешаться, ну издеваться надо мной! Кто опорки в нос сует, кто лапти предлагает. Наслушался всякого: и дураком меня величали, и ротозеем, и пуштоплясом. А мошенника, наборот, всячески хвалили. Ловкач! Из песка веревки вьет!

Обманутый, осмеянный пошел домой. Встретила хозяйка:

— Ну, показывайте обновку!

Я молча поставил перед ней купленные сапоги. Взглянула она и заахала:

— Ах, ироды! Ах, разбойники! Картонные подметки всучили! Где же у вас глаза были?

В тот же вечер отнесла она сапоги знакомому сапожнику ставить новые подметки. Обошлась мне новая обувь в копейчку. Сухаревку с тех пор стал обходить за два квартала.

Циолковский невесело усмехнулся:

— А с пальто и того чище вышло. Зима в Москве выдалась суровая. Солнце всходило в морозном тумане. Багровое. Стужа пробирала до костей. А носил я в ту зиму пальто не пальто, плащ не плащ. Что-то неопределенное. Был у тетки моей Екатерины Ивановны драповый бурнус. Драп на нем — загляденье. Износу ему не было. Перешили бурнус на пальто старшему брату Иосифу. Смешным получилось пальто — ни подкладки, ни воротника, да и рукава широченные, как у поповской рясы. Иосиф от такого пальто отказался, и оно досталось мне, хотя было великовато. Носил я его внакидку.

Иду как-то зимой по торговому ряду, кутаюсь в свой бурнус. Вдруг выскрывают из лавки молодцы, подхватывают меня под руки, как архиерея, и ведут в торговое заведение. Вхожу, осматриваюсь. За прилавком бородач хозяин. Висят шубы, демисезоны, бекеши разные. Есть и новые, но больше поношенных. От стужи у меня губы задеревенели, говорить не могу. А молодцы не дремлют. Содрали с меня бурнус и к хозяину. Тот щупает драп, кому-то подмигивает. Смотрю, нет моей одежды. Унесли во внутренние покои. Гудит хозяйский бас.

— Разве можно, господин хороший, в такой хламиде зимой ходить? Этак и замерзнуть недолго. Подберем мы вам меховое пальто по росту. Станете в нем степенством. От извозчиков отбоя не будет.

Говорит, а сам почему-то на свои серебряные часы поглядывает. Голос густой, басовитый, но ласковый. Будто не торгош говорит, а сизый голубь воркует:

— Какой вам мех больше по нраву? Хорьковский, кенгуровый или лисий?

А сам опять на часы, будто выжидает чего-то.

Отогрелся я немного, говорю:

— Меховые вещи мне не по средствам. Верните, пожалуйста, мое пальто.

Бородач обводит глазами нахальных продавцов и смеется: он гогочет, и они, глядя на него. Все громче и громче. За животы, шельмецы, хватаются. А я сижу, ничего понять не могу.

— Уморили вы меня, — признается бородач и захлопывает крышку часов. — Я нарочно по часам следил, сколько вы будете рядиться. Ваша хламида давным-давно у портного. На перешив пошла. А вам подберем пальто по вкусу и по цене.

Я ему толкую о своей несостоятельности, требую обратно пальто, а он знай себе смехом заливается. Отсмеялся свое и команду подает:

— А ну, удалцы, подберите пальто!

Приказчики стараются, напяливают на меня грубошерстное поношенное пальтишко. Смотрю — где дырка заштуканена, а где простой шов положен. Драп на моем бурнусе, по сравнению с этим сукном, все равно что парча против мешковины.

А бородач нахваливает:

— Богатое пальто! Загляденье! Сам бы носил, да деньги нужны.

Заявляю решительно:

— Пошлите со мной приказчика к портному. Возьму обратно свое пальто.

Хозяин расчесывает бороду гребешком и обрывает меня:

— Портной заказ принял и на радостях загулял. На замке его мастерская.

Тогда я понимаю, что обманули меня самым бесчестным образом, и хочу убраться восвояси. Но не тут-то было! Бородач говорит:

— Платите, господин хороший, в придачу красненькую и ступайте с миром, а то ведь и полицейского поклится недолго. Много вас таких шляется, кто на дармовщинку хочет одеться.

Горько и обидно мне, а выхода никакого. Понимаю: вызовут городского, и я ничего не смогу доказать. Их трое, а я один. Свидетелей у меня нет. Вытаскиваю последнюю десятку и кладу на прилавок. Купец берет деньги и смотрит на свет, не фальшивые ли. Я напоследок не без язвительности говорю:

— Спасибо за меховую шубу.

И вдруг чернобородый купец ломится в амбицию:

— Вот неблагодарный! Вы еще и недовольство высказываете?! А разве на вас не меховое пальто?

Я отвертываю полу, подбитого ватой пальтишка и кричу в бесстыжие глаза:

— Какой же это, скажите на милость, мех?

А он и глазом не моргает:

— Самый настоящий мех. Рыбий мех!

Лавка оглашается утробным смехом, а я, ограбленный и оскорбленный, ухожу, унося в сердце отвращение.

Вот что со мной случалось!

Необыкновенный библиотекарь



рочтя редчайшую ныне книгу Николая Федорова «Философия общего дела», где автор мечтает о заселении звезд людьми, я спросил Циолковского, знает ли он о ней?

— Не только книгу эту знаю, но и с автором ее в юные годы свои встречался.

— Что же вы не рассказали об этом?

— Да как-то к слову не приходилось.

И начал неторопливо:

— Приехал я в Москву, как вы знаете, юнцом. Пошел в знаменитую Чертковскую библиотеку. К тому времени обширная, любовно подобранная библиотека семьи Чертковых перешла в ведение города, стала общедоступной. Помещалась она в Румянцевском музее. Уже тогда поступало в нее все, что печаталось в России, и заграничных изданий изрядное количество. Ее читальный зал стал моим университетом. Вот там я и повстречал Николая Федоровича Федорова.

— Как же это произошло?

— Случилось это в одно из первых посещений. Захожу как-то и вижу: возле библиотекаря толпится более десятка человек, в основном студенты. Был я стеснительным. Стал ждать, когда освободится библиотекарь. Успел разглядеть его: лысина, вокруг нее белые с серебряным отливом кудри, угольно-черные брови и на удивление молодые глаза. На вид ему лет пятьдесят, а движения юношеские — быстрые и точные.

Когда отошел последний студент, библиотекарь заметил меня и жестом подзвал к себе. Выглядел я, по-видимому, растерянным, потому что он мне поощрительно улыбнулся. Если бы вы видели его улыбку! Она сразу изменила и украсила его. Так приветливо и открыто улыбаются отец сыну, брат брату. А ведь он видел меня впервые. Я сразу проникся к нему

расположением и, забыв робость, подошел. Он радушно спросил:

— Что вы хотите прочесть?

— Дайте мне, если можно, «Историю крестьянской войны».

— Книга эта запрещена...

— Говорите, пожалуйста, погромче.

Я плохо слышу.

— Книга за-пре-ще-на!

Слова как будто и строгие — вот, дескать, какие читатели ходят: запрещенные книги им подай! А глаза смеются, ободряют. Все же я, по своей нелюдимости, не знал, что и сказать. Он куда-то ушел и быстро вернулся, протягивая мне книгу. Я спросил:

— Что это?

— «История крестьянской войны».

— Но ведь книга запрещена?

— Берите!

Он легонько подтолкнул меня в спину, и я отошел, очарованный им. Другого слова я и не подберу: он не то чтобы заинтересовал, удивил или даже расположил к себе. Нет! Именно: очаровал. Я понял, что нашелся вдруг доброжелатель, помощник в моем нелегком учении. Так оно и вышло. Библиотекарем он оказался идеальным. Начитанность его не знала предела, поражала всех: от студентов до академиков. Советоваться с ним по книжной части не считали зазорным люди самых высоких степеней и рангов. И со всеми он был приветлив, добр и уважителен.

— Вы не пробовали разузнать о нем побольше?

— Расспрашивать и не пришлось. Постоянные посетители библиотеки наперебой рассказывали о нем. Больше всех студент Володя, с которым я там познакомился. От него я узнал, что мать Федорова крепостная крестьянка, а отец — князь Гагарин. Княжеское звание незаконному сыну Гагарин не передал, но кое-какую заботу о нем проявил. Николай Федорович окончил Ришельевский лицей в Одессе, прочел еще смолоду громадное количество книг, преподавал в уездных училищах в Боровске, в Богородске, а потом нашел призвание в библиотечной работе.

Володя уверял, что Федоров большую часть суток проводит в библиотеке, живет как аскет, в необставленной комнате, питается хлебом и чаем, не имеет ни подушки, ни матраса. Шубы у него тоже нет. Если у Федорова все же заводятся вещи, — какая-нибудь табуретка, белье, посуда — он оставляет их, уходит и снимает другую комнату или угол. Совершенно не терпит денег. Получит жалованье, тут же раздаст нуждающимся. А бедные люди всегда есть. Денег Федоров даже боялся. Всем известно было его присловье: как деньги ни трать, а они, проклятые, опять заводятся.

Володя показал людей — тому Николаю Федоровичу справил пальто, другому купил обувь, третьего, заболевшего, кормил больше месяца.

Я своими глазами наблюдал в читальне его заботу о людях. Как-то пожилой человек уснул над раскрытой книгой. Студенты-соседи начали посмеиваться. Федоров подошел к ним на цыпочках, приложил пальцы к губам и попросил не будить уснувшего. Студенты сразу умолкли, а посетитель продолжал спокойно спать. А ведь другие библиотекари наверняка разбудили бы этого, видимо очень утомленного, человека.

В библиотечном шкафу Федоров держал хлеб, сыр, дешевую колбасу. Замечит, бывало, по глазам, что человек давно не ел, сделает два-три бутерброда и незаметно с книгами подложит голодному.

Я был бесконечно благодарен ему, что он без просьбы взялся помогать мне. Он находил самые лучшие, нужные учебники, редкие книги, номера журналов. Незаметно руководил моим развитием. Говоря по-теперешнему, шефствовал надо мной. Приведу пример: Володя увидел у меня книжку Марлинского и посоветовал:

— Вы бы лучше Шекспира читали.

Я обратился к Николаю Федоровичу. Его черные брови удивленно затопорщились:

— Как? Вы не читали Шекспира?

И тотчас принес мне хорошее издание «Гамлета». На другой день дал «Отелло», потом «Короля Лира», «Ромео и Джульетту». Я заметил, что он вел меня от одной трагедии к другой, прихочивая к Шекспиру. А Шекспир, надо сказать, меня ошеломил. Показалось, что нахожусь в лаборатории, где с научной точностью исследуются человеческие страсти. Было и другое впечатление: будто я вижу людей через громадное увеличительное стекло, и все их характеры, помыслы и страсти видны до дна. После Шекспира я долго не мог читать других художников слова. Все казалось поверхностным и легким.

Кстати, замечу, что много лет спустя я возвратился к Шекспиру, но такого могучего впечатления, как в юности, не получил.

— Вы часто встречались с Федоровым?

— Очень часто. Я ведь в библиотеку ходил чуть не каждый день. Николай Федорович, по своей доброте, пытался поддержать меня и материально. Как-то в начале зимы мы вышли с ним из библиотеки. Мела поземка, лютовала стужа. Я невольно поехал в своем жидковатом пальтишке. Николай Федорович посоветовал:

— Надо застегнуться на все пуговицы и поднять воротник! А на будущее запомните — если под пиджак положить обыкновенную газету, становится теплей.

И вдруг предложил:

— Идемте-ка в лавку, купим вам теплое пальто. У меня как раз лишние деньги.

Я перепугался: вот, думаю, введу в расход хорошего человека. Начал уверять, что мне не холодно и я сам недавно обме-

нял теплый бурнус на это пальто, в котором легче двигаться.

Совсем нелегко было отговорить Федорова от намерения одеть меня. Помню еще случаи предложения помочь. Вот он какой был! Он как будто по лицу моему читал, когда наступало безденежье, и старался всучить мне то трехрублевку, то пятишницу. От соблазна я удержался, но участие доброго человека не забуду вовек.

— Беседовать с ним приходилось часто?

— Часто. В те годы я видел в нем своего наставника. Он ведь был не только эрудированным, но и очень чутким, талантливым педагогом. Поняв мою увлеченность математикой, физикой и отчасти химией, он подбирал мне литературу и руководил моим самообразованием. Научил пользоваться каталогом, конспектировать, выцеживать из книг главное, основное. Не преувеличу, если скажу, что он мне заменил университетских профессоров, с которыми я не общался. Федорова я считаю человеком необыкновенным, а встречу с ним — счастьем.

— А о науке говорили?

— Очень, очень мало. Я до сих пор не могу себе простить своей стеснительности и робости. Только много лет спустя, после смерти Федорова, я в полной мере оценил и узнал, что общался с умом широким, светлым, глубоко своеобразным, и, главное, мысли наши, несмотря на разницу лет, оказывается, были родственными.

Я напомнил:

— Лев Николаевич Толстой писал о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком!»

— Он мне и о Толстом говорил. Большинство россиян, да и зарубежных гостей, преклонялись перед Толстым — великим писателем и философом, а Федоров был с ним на дружеской ноге и, не чинясь, высказывал свои суждения. При всей кротости и незлобivosti Федоров не соглашался с некоторыми воззрениями Толстого и отчаянно с ним спорил.

— Это интересно. Впервые слышу.

— Федоров решительно не разделял нападок Толстого на литературу и искусство. Иные, благоговей перед писателем, если и не соглашались, то помалкивали, а Федоров говорил о несогласии прямо в лицо. Вот что я от него узнал. Приходит раз Толстой в Чертковскую библиотеку, рассматривает книги, роется в каталоге и вдруг заявляет:

— А знаешь, я бы в публичных библиотеках девяносто девять процентов книг уничтожил.

Сказал и выжидающе поглядывает на меня: что я скажу. А я ему и выложил, что думал:

— Встречал я много чудаков, но такого как ты, Лев Николаевич, вижу впервые. — И Толстой, представьте, не обиделся.

— А о космосе вы с ним беседовали?

— Нет. И очень сожалею. Ведь что получилось? Я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетного пространства, мучительно искал пути к звездам, но не встречал ни одного единомышленника. В лице же Федорова судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоюют космос. Но по иронии той же судьбы, я совершенно не знал о взглядах Федорова. Мы много разговаривали на разные темы, но космос почему-то обходили. Вероятно, сказалась разница в возрасте. Такие разговоры о космосе со мной он находил, видимо, преждевременными. Зато о книге и значении ее для человека он говорил часто. За книгой он всегда видел ее автора, человека говорящего о выстраданном и продуманном. А книгохранилища считал университетами для взрослых.

Взгляды Федорова, о которых я узнал через десять лет после его смерти, являются, по-моему, доказательством, что идея проникновения в космос, что называется, носится в воздухе. Федоров тоже считал, что звезды существуют не для созерцания и поклонения, а для покорения их человеком, для заселения их. Поприщем человеческой деятельности он считал все мироздание, а из этого вытекала необходимость безграничного перемещения в космосе. Он глубоко верил, что люди посетят семена своих трудов далеко за пределами земли. На солнечную систему смотрел трезво, полагая, что она будет со временем обращена в хозяйственную силу. Этот кроткий душой человек дерзновенно думал, что человечество создаст новую землю и новое небо, а люди станут небесными механиками, химиками и физиками. Федоров пророчил, что из пассажира корабля, именуемого Землей, человек превратится в ее машиниста и штурмана.

Мне особенно дорого утверждение его, что человек найдет способ восстановления энергии угасающих миров, а гигантскую энергию солнца научится регулировать. Он верил, что вся Вселенная может управляться волей и сознанием человека. И — вот интересно! — он своим путем пришел к тому же выводу, что и я: купцам и фабрикантам нет места в большом деле овладения межпланетным пространством, и, следовательно, надо покончить с торговой заразой и тунеядством. Выходит, и к учению Ленина мы подходили одинаково.

Закончил Циолковский с волнением:

— Я преклоняюсь перед Федоровым. У нас в семье любовь к России ставилась на первое место, а Федоров был верным сыном России. Я часто повторяю его слова, ставшие мне известными не от самого Федорова, а много спустя после его смерти: «Самая ширь земли русской способствует образованию богатырских характеров и как бы приглашает к небесному подвигу».

Обеими руками подписываюсь под этим!

Русская мадонна



Заметьте, — заметил Циолковский. — Из сотен жизненных явлений, вдруг неведомо почему, память удерживает одно, и как удерживает! В малейших подробностях...

И он рассказал о весенней прогулке в Марьину рощу, да так, что я увидел его молодого, шагающего по московской окраине, где, по преданьям, гулял когда-то Пушкин.

...Над городом низко висело серое небо. Ветер принес с запада влажное тепло, съедающее снег. Бежали мутные ручьи. Ветер шумел жестью по крышам, гнул почерневшие ветки вязов и отклонял в сторону полет встревоженных чем-то галок.

Константин шел, низко опустив голову, не разбирая дороги, не замечая хмурых прохожих и извозчиков, клявших беспутницу: на полозьях ездить уже поздно, а на колесах, пожалуй, рано.

Он так устал. Живя второй год в Москве, вдалеке от родного дома, он изучал самостоятельно физику, геометрию и алгебру. В этом году предметами изучения стали дифференциальное и интегральное исчисления, аналитическая геометрия, высшая алгебра, сферическая тригонометрия.

На него опять напала тоска по родным. Хотелось вернуться в Вятку, где северная река еще закована в зеленоватые льды, но уже побурели дороги и с карнизов повисли причудливые сосульки.

Константин живо представил, как войдет в родительский дом, как посмотрит на него сначала удивленно, а потом обрадованно отец, защечечут сестренки, а тетя Катя бросится в кухню раздувать самовар и тащить на стол печенье, варенье, соленье — все, на что она такая мастерица.

Кончится непрерывное полугодовое состояние, когда под ложечкой противно сосет, а во рту скопляется вязкая слюна. И одиночеству придет конец. Все это укрепит почву под ногами, вдохнет новые

силы для решения сложных проблем, какие он сам себе дерзновенно поставил.

Все равно в Москве он не может общаться с профессурой, не посещает университет, ни у кого не берет уроков. Вот разве только Чертковская библиотека. Какое в ней множество книг! В Вятке таких не сыщешь даже в библиотеке, основанной ссыльным Александром Ивановичем Герценом.

Константин умел отгонять мысль о доме.

— Выдюжу! — твердил он себе. — Все выдержу. И одиночество, и насытанный стол, и всегдашние опасения захворать вдалеке от семьи.

Сегодня особенно захотелось вернуться домой: ученье не ладилось, и кашель и глухота казались непреодолимыми. А Вятка рисовалась все привлекательней. Как милы ее деревянные тротуары, синие купола монастыря на Стефановской улице, черно-зеленые ели в городском парке над рекой. Вот-вот прошумит ледоход, потянутся по реке плоты, загудит пароходик «Митя» и высоко в небе с тревожным гогом полетят в Заполярье серые дикие гуси. А потом загрохочет, запоет на разные голоса, засвистит в дымковские свистульки весенняя ярмарка — ее вятчи так и зовут «свистуньей». Раза два он бывал на свистунье, и сейчас она, издали, из недавнего прошлого, представилась еще привлекательней, имеющей глубокое значение, частицы России, что ли. А о России с гордостью и любовью говорил всегда отец.

Юноша шагал и шагал, преодолевая теплый ветер. Он понимал, что в родительском доме не удастся целиком заниматься ученьем, как это он делает в Москве, в условиях вынужденного одиночества. Нет, нет! Нельзя возвращаться. Бесплодные эти мечтания — признак слабости воли, бесхарактерности. Незаметно для себя он очутился в незнакомом месте. Летом здесь, наверно, зелено, а домишки совсем не похожи на московские. Такие встретишь на окраинах Рязани и Вятки — с завалинками, с подслеповатыми окнами, украшенными то геранью, то клеткой с щеглом. А вон игрушечная церквушка с куполом, похожим на луковичу.

Из одного домика выносили покойника. Две вороных клячи, впряженные в кладбищенскую колымагу, стояли, привычно понурясь.

Константин подошел к открытому гробу, взгляделся в лицо покойника и поразился. Большую часть лица заливала чугунная синева. На скуле зияла залитая йодом рана. Лоб чем-то проломлен, рана в черепе заткнута ватой.

«Убит», — решил юноша и растерянно оглянулся. Гроб поставили на колымагу. Вороные побрели. За гробом потянулось несколько женщин. Одна из них, одетая в черную плюшевую жакетку, залкала. Красные пятна покрывали ее на удивление красивое лицо. Вероятно, это была мать погибшего.

Циолковскому захотелось узнать, кто и за что оборвал жизнь подростка. Он двинулся было за процессией, но тут же остановился, сообразив, что нехорошо спрашивать, шагая за гробом. Глаза его задержались на горбунье, стоявшей у соседних ворот. Это была низенькая, сухонькая старушка, вся в черном, похожая на монашку. Горб своей она не скрывала, не маскировала одеждой, да он и не уродовал ее, и без того жалкую и немощную. Она впиалась в незнакомца острыми цепкими глазками и, казалось, ждала расспросов.

— Скажите, — спросил юноша, — почему лицо у покойника так изуродовано?

Горбунья поджала губы и маленькой, как птичья лапка, рукой вытерла рот.

— Убиенный он. Убиенный отрок Дмитрий. Не судьба ему стать иконописцем, а уменья отпущено было много. Кисть его рукой чудо творила.

Эта неясная речь толкнула на расспросы.

— Кто же его убил?

— Вотчим! — нахмурилась старушка и боязливо оглянулась — не подслушивает ли кто.

— Бабушка! — раздался из сеней детский голосок.

— Иду, иду... — другим, ворчливым, тоном отозвалась старушка и пригласила случайного собеседника: — А вы зашли бы... Вижу, интерес проявляете к новопоставленному.

Константин сконфузился, и горбунья это сразу заметила:

— Я с внучкой Поленькой домовничаю. Беседе никто не помеха.

Через минуту юноша был в низенькой темноватой комнате и рассматривал стены, увешенные фотографиями в затейливо выпиленных рамках.

— Это старший мой сын Егор, отец Поленьки, лобзиком искусничает, — пояснила бабушка. — Вы полюбуйтесь, какой он киот выпилил и раскрасил!

Циолковский протер очки и рассмотрел выпиленную из фанеры божницу. Но не деревянное кружево удивило его, а иконный лик, не обрамленный окладом и не увенчанный нимбом. Освященное теплым огоньком лампы, на него глядело женское лицо необыкновенной, хотя и аскетически строгой красоты. Это же русская мадонна!

Юноша видел на своем веку мало икон и понятия не имел об искусстве Андрея Рублева, но этот церковный лик поразило его. Талант неизвестного художника не признавал канонов церковной живописи, и нарисована была не традиционная богородица, а русская женщина с бездонными глазами, полными печали. Не жизненная неудача, не временное горе, не скоропреходящая тоска, а трагедия всей жизни смотрела из больших глаз, делавших лицо одухотворенным, прекрасным. Это было подлинное искусство, и, вероятно, не в темной, пахнувшей ладаном и капустой хибаре, а в Эрмитаже или картинной галерее Третьякова место этой картине.

А горбунья меж тем расхваливала выпиливание своего Егорушки:

— Он и столбики-то венчиками украсил, и виноградные веточки в три ряда выложил, и летящего голубя облаками окружил...

Циолковский слушал рассеянно, не в силах оторваться от картины. Скажи ему кто-нибудь, он не поверил бы, что какой-то владимирский богмаз может написать такую не церковную икону.

Наконец горбунья догадалась, что гость лобуется не киотом, а картиной. Она умолкла и задумалась.

— Вы не знаете, кто писал эту икону?

— Как не знать? Обязательно даже знаю. Сосед наш, Митенька, царство ему небесное. Его уже, наверно, к кладбищу подвозят.

Юноша удивился еще больше: мальчик мог так рисовать?

— Кто же его все-таки убил?

— Я уж вам сказала — вотчим! Да вы садитесь, в ногах правды нет.

Циолковский присел на табуретку, все еще не сводя глаз с картины. Поленька, бросив тряпичную куклу, с детской бесцеремонностью рассматривала его.

— Где же этот вотчим?

Горбунья удивленно, сбоку, как-то поптичи, взглянула на гостя, задавшего такой странный вопрос.

— Где же убийце быть? Скрылся.

Марьяна рожа вороватая да разбойная. Зарежет кто кого, сейчас же в бега. Да и не ловят разбойников-то. Полиция их, я думаю, боится. Порасспросят, составят для вида бумагу, и дело с концом.— Старушка подседа к гостю: — Я вам все по порядку выложу. Наталья, мать Митеньки, совсем недавно переселилась сюда с Проточного переулка. Там, в переулке этом, воры, шулера, грабители, а тут и того хуже — налетчики да убийцы. Вдова она, Наталья-то. Кто ее первый муж — не ведаю. Митя — сирота. Пожила Наталья в соседстве с нами малость, обьявился у нее муженек. Кто он? Неизвестно. Болтали, будто коновал, по селам лошадей лечит. А так ли это, уверять не стану. По другому слуху — он будто купцов богатых потрошит. Но и это сорока на хвосте принесла. Как он откуда воротится, у них пир. Значит, приходит с деньгами. Потом другое прослышали: не угодил ему чем-то Митенька. Мальчик он был тихий, безответный. Сызмальства рисовал. Мать ему красок и кистей достала. Вот он и занимался. Вотчиму это встало поперек души. Стал он к мальчику вязаться: от красок, дескать, голова болит, везде рисунки, пиджак замарать можно. Митенька молча все выслушивал, а рисовать не бросал. И то сказать, дар у него был свыше. Богородицу, коей вы любовались, он дня в три нарисовал. А у меня ее несколько человек купить хотели. Только я иконами не торгую. А вотчим все больше лютовал. Приехал как-то ночью и, видно, пьяненький. Шум у них был. Утром пришел Митя — лица на нем нет. Все, говорит, мои рисунки этот

недобрый человек топором изрубил и сжег. Хорошо, что краски я успел спрятать. Рассказывает, а в глазах слезы стоят. Егорушка мой спрашивает:

— Что же Наталья смотрит? Не чужой ты ей.

Митенька тут и признался:

— Мамаша как увидит вотчима, вся теряется. Верите ли? Ноги ему теплой водой моет. Слово на лету ловит. Где же ей меня защитить?

С той поры стал Митя потихоньку от вотчима у нас рисовать. Говорит мне бывало:

— Вы, тетя Груня, не сомневайтесь: я все перенесу, а художником стану. Не смотрите, что я щуплый. Душа у меня не робкая.

Дознался мой Егорушка, почему вотчим на Митеньку взелся. Метил он паренька своим помощником сделать. Уж и не знаю: по коновальству или по грабежам. А Митя — ни в какую. И вот еще что! Изредка заглядывал к Митеньке какой-то художник. Вотчиму померещилось, что это сыщик, и он потребовал, чтобы Митя с рисованием покончил.

Горбунья вздохнула.

— Приходится, пожалуй, и себя укорить. Увидел вотчим нарисованную Митенькой вот эту богородицу, а она ну прямо вылитая Наталья, мать его. Понял злодей, что мальчик у нас рисует. И при нас пригрозил:

— Или бросай мазню, или убью.

Нам бы с Егорушкой вступить за мальчика, а мы смолчали. Да кто бы мог подумать, что этот зверь на такое решится? А он, вишь, решился. Тверезый бы, пожалуй, и не стал кровь проливать, а как налил зенки винищем, ну и закуражился. Мы — ста, да я — ста. Тут, я думаю, Митин характер вотчима разъярил. В нем, в Мите-то, будто два человека жило: один — кроткий, безответный, а другой — твердый, как кремь. Вотчим ему: «Брось рисовать!» А Митя: «Не брошу!» Тот опять: «Не бросишь, убью!» А Митя: «Убивайте, все равно не брошу».

Сначала пьяный подмял мальчика и начал избивать, а потом и совсем озверел. Схватил молоток и трахнул по голове. Наталья потом сказывала, у Митеньки глаза сразу закатились. Что с ней было, с Натальей! Головой об пол билась. Волосы рвала. Водой ее отливали. А убийца пропал. Никто не видел, в какую сторону ушел. Растаял, как пар...

Циолковскому стало вдруг душно. Не хватало воздуха. Сам того не замечая, он перевел рассказ горбуньи на свою судьбу, невольно сравнивая Митю с собой. И чем больше он думал об этом, тем стыднее ему становилось. Митя, отстаивавший свое призвание, талант и право свое, не пожалевший в борьбе жизни, рисовался подвижником, героем, а вот он, Константин, сомневается, хандрит. Недавние мысли о победе в Вятку показались кошунственными. Он вспомнил веселую и отважную мать. Она тоже напоминала ему русскую ма-

донну и, верно, осудила бы его за мало-душие.

Торопливо попросившись, Константин ушел из домишка, над которым ветер раскачивал прикрепленную к шести скворечницу, а в палисаднике среди безлистных деревьев зеленела одинокая елочка.

Нет! Не вернется он раньше срока домой. А дрогнет — вспомнит мать. И еще вспомнит Митю-художника.

И он поспешно зашагал домой, поглядывая на деревянные хибарки.

Тьма



— пыты, опыты.— Константин Эдуардович невесело покачал головой.— Я этих опытов смолоду сотни ставил. В Москве дня не пропустил без опыта. Щеголял в штанах, прожженных кислотами. Иду, бывало, а мальчишки вслед:

— Что это у вас, брюки мыши проели?

Руки тоже обжигал — живого места не было. Квартирная хозяйка диву давалась — то в комнате у меня рубиновый свет вспыхнет, то голубой, то лиловый, а то густой пар повалит. Иногда и ворчала. Но опыты эти нужными были: через них я постигал законы природы. Конечно, были и опыты ради опытов. Об этих стыдно вспоминать. Галиматьей занимался, время и здоровье тратил попусту. Молод был, дерзок, своеволен, а порой просто глуп. Мне уже приходилось говорить вам, что я в Москве около трех лет не доедал, питался собственным жиром. На десять — пятнадцать рублей, получаемых из дома, не разгуляешься. За комнату надо платить, опыты требовали расхода, а там, глядишь, починка обуви, баня, мыло, керосин. В редких случаях приобретал книги. На питание оставалось совсем мало. По дороге из Вятки я дал себе слово питаться в Москве хлебом и водой. А чтобы не искушать себя и не выбиваться из колеи, порешил отказываться от всего прочего, даже если и выпадет случай. Ну, в гостях, например. Одним словом, хлеб и вода. Ни овощей, ни мяса, ни чая с сахаром.

В московских булочных ржаной хлеб, помнится, продавался трех сортов: сладкий, кисло-сладкий и кислый. Я брал кислый. На девять копеек отвешивали столько, что хватало на три дня. Корки я отдавал дворняжке.

Я и воду в большой графин наловчился наливать на три дня. Затыкал графин бумажной пробкой.

Не подумайте, что я рисуюсь и задним числом преувеличиваю. Так все и было. Теперь-то мне ясно, что поступал неправильно, смолоду подрывал организм, но тогда все это мало тревожило. Куда там! Я даже гордился, что могу обуздывать желания и довольствоваться ничтожным.

На первых порах голодной жизни часто вспоминались домашние кушанья: борщи, супы с клецками, голубцы, фальшивый заяц — сычуг, набитый пшенной кашей с салом. Потом понемногу отвык и от воспоминаний. Черный хлеб меня несколько не огорчал, зато много мучил запах московских калачей, сытный, щекочущий ноздри.

Однажды поймал себя на желании прогуляться по улице, где находилась большая булочная. Спихнулся: нельзя! И повернул в другую сторону.

Иду, бывало, и не наступающий, а воображаемый аромат калачей доводит до головокружения. Смутно я начал догадываться, что в конце концов этот дразнящий запах начнет преследовать меня везде и я стану жалкой жертвой галлюцинаций. Прости-прощай тогда учение.

Представьте себе! Стою у аптеки. В большом окне сверкают два стеклянных шара с красной и синей жидкостью. Шары подсвечены и горят, как два огромных глаза. А меня сводит с ума запах калачей. Никогда они еще так вкусно не пахли. Знаю, что поблизости булочной нет, а калачами пахнет, словно их только что вынули из печи и они совсем рядом дышат сладким паром, обещают опьянение сытостью. Хочу идти — ноги не двинутся. Простоял минут двадцать, скопил силы и пошел дальше.

Вот в таком-то состоянии я и задумал свой неразумный опыт. Прочел где-то, что американец прожил без пищи не то месяца, не то еще больше. Думаю: он выдержал — и я смогу. Объявил в виде опыта добровольную голодовку. Перестал есть. Да что там есть! Я и питья себя лишил. Организм был уже ослаблен. День провел в голоде и жажде, два, а на третий слег. Лежу пласт-пластом, рукой двинуть не могу. Мысли ясные, но какие-то странные, словно меня заносит куда-то. Во рту и горле сухо. Голова горячая. Сам с собой заговорил. Заглянула ко мне хозяйка. Видит, лежу среди бела дня. Спрашивает:

— Захворали, что ли?

Я ей слабым голосом признаюсь:

— Мне так дурно, что я никогда и никому не пожелаю этого.

Выдавил из себя эти жалкие слова и ослеп!

— Как?

— А я и сам не знаю, как. Ослеп, и все тут. Тьма вокруг. Щупаю — глаза на месте, а ничего не вижу. Я и так судьбой обижен — глух, а тут еще и слепота. Такая тоска напала, хоть волком вой. Хозяйка что-то толкует, а мне не до разговоров. Признаться, что ослеп, страшусь. Напишет отцу — дома начнется переполох. Не помню, как ушла женщина. Сколько всего передумал, пока лежал ослепшим, рассказать невозможно. Все было: и раскаяние, что ненужный опыт затеял, и ужас перед будущим, и сознание беспомощности. Но, прошу заметить, о самоубийстве не подумал ни одной секунды. С гордыми мечтами прощался, перед отцом заочно винился, но умирать не помышлял.

— Долго вы были незрячим?

— Точно не знаю. Какие-то часы. Очень меня утешала мысль об отце. Он когда-то много курил табак и тоже ослеп, но зрение к нему вернулось. Это и вселяло надежду, что и у меня все обойдется.

В горьких раздумьях впал я в забытие, подобное тяжелою беспокойному сну. Пришел в себя — видеть не вижу, но узенькая полоска света все-таки брезжит. Мало-помалу проступили предметы, зрение вернулось. Голодовку я, конечно, прекратил, а чувства и мысли во время слепоты запомнились навсегда. Такое не забывается.

Школа под вязами



Вспомнились почему-то Воробьевы горы, — улыбнулся Циолковский. — Почему? Трудно объяснить. Может быть, потому что попала на глаза книга Герцена. Кто из русских не помнит клятву Герцена и Огарева на Воробьевых горах? Живя в Москве, я не часто бывал там. А москвичи, помнится, любили их. В праздники туда семьями на целый день забирались — с самоварами, с провизией. А бессемейных одиночек невольно друг к другу тянуло.

Познакомился я там с одним молодым человеком — Андрюшей Касаткиным. По возрасту — мой одноклассник, — следовательно, ему лет семнадцать тогда было, а умудрен жизнью, как взрослый. Спросил он меня:

— Чем вы хлеб зарабатываете?

Я даже растерялся. Действительно, думаю, к чему я себя готовлю? Не век же буду на отцовом иждивении. Вижу, и Андрюша, глядя на меня, улыбается. Мне совсем неловко стало. Не будь у меня глухоты, я бы, наверно, давно приглядел себе профессию.

Андрюша из деликатности заговорил о Москве. Про Никольскую улицу разговор завел. Сто раз я ходил по этой улице, а не знал о ней ни бельмеса, а она, оказывается, историческая. Без нее просвещение в России представить невозможно. На Никольской улице зародилось печатное дело. Там Иван Федоров, первопечатник наш, при Иване Грозном печатный двор поставил и в книгопечатне первый «Апостол» выпустил. Целый год трудились над одной книгой! На Никольской же первая высшая школа Руси открылась — Славяно-греко-латинская академия, та самая, где Ломоносов учился. На этой же небольшой улице появилась первая книжная лавка и первая публичная библиотека. Первый наш университет на Моховую через три года после открытия перебрался, а открыли его все на той же Никольской.

Циолковский усмехнулся:

— Ну, я, кажется, в сторону полез. Не об улице речь, а о профессии. Признался я Андрюше Касаткину: так, мол, и так, не выбрал я себе ни ремесла, ни службы. Живу пока на родительские средства, а что дальше будет — темна вода во облацех.

Нового знакомого я спросил об его жизненной стезе. А у него душа нараспашку:

— Хочу стать учителем!

С волнением заговорил о школе. Я в ту пору Писаревым увлекся, а Касаткин его мысль излагал. Но только у Писарева гневные обличения, боль за нашу темноту, а у Касаткина — доброта, самопожертвование.

— Сдам, — говорил он, — экзамены на учительское звание, облюбую школу победнее и буду учительствовать. Сил не занимать, знания накоплю. Свою методику хочу создать, чтоб люди с малых лет не из-под палки грамоте обучались, а сами тянулись к ней.

До сих пор говорю «спасибо» этому доброму человеку. Заставил он меня подумать: довольно нахлебником быть. Примерял я на себя всякую одежду: и лесничим себя воображал, и почтарем, и ветеринаром, и столяром, и землепашцем. Не отрешивался от черной работы — даже в трубочисты готов был пойти. Только вот священнослужителем, полицейским да купцом не мог себя представить. И скажу по совести, ничего лучше учительства не выдумал. Науку — высшую математику, физику — я, конечно, не забросил, но стал

почитывать и книжки по педагогике и пришел к выводу, что самое вредное для учителя — строгость, а самое нужное — доброта.

— Но как же без строгости в школе? — удивлялся я.

— Ну вот и вы о строгости. Эту премудрость и дьячки знали. Не выучил недоросль урока — он его дрючком и за волосы. А педагогика не только наука, но и искусство. Надо завлечь ученика, раздуть в нем искорку, а ученье превратить в занимательную игру. На это мне Касаткин на Воробьевых горах намекал, а потом я и сам додумался и попробовал даже.

— В Москве?

— Да. В молодые годы, в Москве. Помимо физических и химических опытов провел я и педагогический. — Циолковский прищурился, словно всматриваясь в прошлое. — На Немецкой улице, где я жил, стоял старый облезлый дом со двором, заросшим травой. На дворе три старых вяза росли. Шел я как-то мимо и услышал истошные крики. Заглянул в калитку. Женщина ремнем порола парнишку, а тот даже охрип от крика. Стало жалко. Подошел, попросил:

— Перестаньте бить, он надорвется, захворает.

А она:

— Ничего ему, лентяю, не сделается. От рук отбился. Ученье забросил.

Сказала так, а бить все-таки перестала. Постояла с ремнем в руке и ушла. А мальчонка на меня, хотя исподлобья, но с доверием смотрит.

— Почему учиться не хочешь?

Признается:

— Учитель дерется. Не объясняет. Ничего не поймешь.

Пока мы разговаривали, подошло еще пять-шесть мальчуганов, и все они в один голос:

— Не хотим учиться. Скучно.

Я и загорелся. Дай-ка, проверю свою методику. Оказалось, они и половины азбуки не осилили. Вынул я из кармана резиновую спринцовку для ушей и попросил паренька принести воды. Доставили мне огромный ковш. Набрал воды в грушу и говорю:

— Школа под вязами открыта. Садитесь со мной рядом и следите.

Уселись, как куры на насесте. Следят. Пускаю на их головы струю. Пригибаются, смеются. Нравится шельмецам, что с ними играет почти взрослый человек. Спринцовку при них уши. Спрашивают:

— Зачем?

— Чтобы лучше слышать!

Снимаю очки, пускаю струю себе в глаза. Опять вопрос:

— А это зачем?

— Чтобы лучше видеть.

Орошаю струей рот.

— А это для чего?

— Чтобы лучше определять вкус.

Подставляю под струю пальцы. Опять:

— Зачем?

— Чтобы лучше осязать.

Игра так игра. Морщусь, но пускаю струю в ноздри. Хохочут. Один кричит:

— Чтобы лучше нюхать!

Одобрю:

— Верно!

Казалось бы и выдумка убогая, и фокусы не ахти какие, но чувствую: ребята мои! Я им не строгий ворчун учитель, а товарищ по игре. Ждут. А я начинаю наступать. Поднимаю камушек-голыш — и кладу его шагах в трех. Набираю воды и стараюсь попасть струей в голыш. Не удается. Даю одному мальцу. У него глаза блестят от удовольствия. Целится, выбрасывает струю. Мимо! Второму даю, третьему, всем. Никто не попадает. И когда они дрожат от азарта, предлагаю:

— А кто может водяной струей написать букву «А»?

Тянутся все. Даю спринцовку одному. Пишет, мошенник, но коряво, трудно узнать букву. Все заливаются смехом. Пробует каждый, но буква не получается ни у кого. А я сижу и будто невзначай перебираю слова, начинающиеся на «А»: араб, алгебра, акация, Англия.

— Что это за Англия? — спрашивает один.

Объясняю:

— Земля, где мы живем — Россия, а за морем, где обитают англичане, страна называется Англией.

И предлагаю:

— Хотите, я вам сочиню сценку, где почти каждое слово будет начинаться с буквы «А»?

— Хотим, хотим!

Тут же и сочиняю:

— Андрюша, Алеша и Аннушка в августе, возле акации, атаковали амбар Арзамосова с апельсинами и абрикосами.

— И с огурцами! — подхватывает мальчуган.

— Нет! Огурцы тут ни при чем. Мы условились, что слова будут начинаться с «А». Слово «огурец» начинается с буквы «О». В амбаре, возможно, были — айва, ананасы.

Все смеются. Не беда, что кто-то не все понимает. Тут важно заинтересовать. Ребятишки не отпускают меня. Им хочется продолжить игру. Предлагаю им называть имена, начинающиеся с буквы «А». Начинают сначала несмело:

— Александр.

— Анатолий.

Потом оживляются. Имена сыплются, как семечки из дырявого кармана:

— Антип... Афанасий... Агей... Антон...

Собираюсь уйти — не отпускают. Спрашивают, когда приду еще. Обещаю явиться на следующий день в это же время. На завтра под вязами меня ждет добрый десяток нетерпеливых школяров. Я не повторяю старого приема. Со мною — аккуратные листы с изображением букв алфавита. Раздаю каждому по букве. Восемь букв знакомы всем, а две неизвестны. За новые буквы чуть не драка. Игра простая, но веселая, подвижная. Мы составляем из букв слова и хором их читаем. Мальчиш-

кам приходится все время менять места. Ну, конечно, кутерьма, возня, толчки. Не беда! Было бы интересно. Через полчаса чтение идет без запинки и две новые буквы ничуть не затрудняют.

Не давая мальчуганам устать, меняю игру. Мы вычерчиваем карту Немецкой улицы. Тут мои ученики знают больше меня. Наперебой называют фамилии и уличные прозвища домовладельцев. Спорят о калитках, деревьях, скворечницах. Карта у нас особая: в нее заносятся все постройки, все живое, обитающее в домах и дворах нашей улицы,—собаки, куры, чижы. Крики, шутки, смех. Наверное, даже со стороны весело. А между прочим, ребята впервые знакомятся с географической картой, пусть упрощенной, примитивной, но зато сделанной своими руками.

Провожу и первый урок арифметики. Он тоже увлекает. Задачи у меня особенные. В них нет жуликов-купцов, мешающих два сорта чая и околпачивающих покупателя. Нет и поездов, идущих из пункта «А» до пункта «Б». У нас все начистоту. Не «А» и «Б», а вяз — это вяз, забор — это забор. Расстояния измеряются шагами. Навстречу друг другу идут не поезда, а черепаха и заяц. Животных изображают мальчики. Заметьте, изображают! Заяц, натурально, прыгает, а черепаха — еле ползет. Решают задачу все. Ответ проверяется тут же и не на бумаге, а шагами. Мы слагаем, вычитаем, умножаем. Но как? Слагаем яблоки, и каждый на минуту превращается в яблоко. Четыре яблока под первым вязом, шесть — под третьим. Я хлопаю в ладоши. Происходит сложение. Считаем, определяем сумму. У одного мальчишки детем запачкана рубашка. О нем кричат:

— Гнилое яблоко! Не надо его держать рядом. Оно и другие перепортил!

Хохот. Свалка. Я не останавливаю. Пусть немного потузят друг друга, но в меру, чтобы, чего доброго, не расквасили носы.

Вычитание еще интереснее. Все мальчишки стоят под вязами. Они изображают актеров, пришедших наниматься в театр. Я — хозяйин театра. Из десяти надо взять только пять. Мое дело отобрать самых способных. Я их отбираю с пристрастием. Это, в сущности, маленький экзамен или конкурс. Говорю им:

— Найму тех, кто лучше и выразительнее прочтет стихи.

Сколько волнений, надежд и стараний! Как будто они и впрямь поступают на сцену. Читают известные и неизвестные мне стихи. Скверно читают, но я улыбаюсь и отбираю лучших. Десять минус пять будет пять. Вычитаемые радуются. Оставшиеся неприязнито огорчены. Но ненадолго. Я объявляю следующую задачу.

Мне пора уходить, а ребята вцепились в меня. Наконец договариваемся, что я приду завтра. Они окружают меня и провозжают. Глазенки горят.

Азбуку я чередую с арифметикой, географию с громким чтением. Вы не шу-

тите! Мы выучиваем наизусть хором пушкинское «Буря мглою небо кроет», лермонтовский «Парус», «Люблю грозу в начале мая» Тютчева. Не легко это дается, но я убежден, что они на всю жизнь запомнили эти стихи.

Даже начальные понятия астрономии преподаю своим мальчишкам. Небосвод у меня — двор. Один мальчуган — солнце, другой — луна, третий — Марс. Словом, Солнечная система в лицах. По моей указке они у меня движутся вокруг собственной оси и ходят по своим орбитам. Проверяю потом: основное понимают, голыпятые!

Не хочу утомлять вас примерами. Метода, я думаю, ясна. Были у меня и учебные пособия: самодельный глобус, деревянные счеты, компас.

...Воображение переносит меня в Москву семидесятих годов прошлого столетия. Я вижу длинноволосого юношу в очках и вихрастых мальчуганов, влюбленных в своего учителя, и мне хочется пожать руку человеку, у которого в каждом деле видна живая душа, сверкает талант изобретателя.

Сирень



Н

едели три подряд стояли сырые, холодные и безветренные дни, потом по-светлело, прошумел дождь и зацвела сирень буйно, неудержимо. Темно-зеленые купы ее как бы дымились, и дым этот был окрашен в разные цвета — от молочного-белого и голубовато-лилового до фиолетового.

Калуга в пору сиреневого цветения обернулась праздничной стороной: на свежей зелени сверкали перлы дождинок, Ока отливала голубым серебром.

В небольшом садике Циолковских, как и повсюду, благоухали гроздьи сирени. Вечерело. Вернулись с лугов коровы. В соседнем дворе о подойник звенели струйки молока. Угмонились хлопотливые скворцы. Вот-вот настанет час ночных бабочек и летучих мышей.

Константин Эдуардович в синей с белым косоворотке сидел на садовой скамейке, положив на колени руки. В этой привычной позе он не казался усталым, хотя за день, несомненно, утомился. Возвращенный им сад прохладой своей как бы смывал усталость, освежал и дарил ему бодрость; удары сердца здесь становились ровными, спокойными.

Я зашел к Циолковскому по делу и выжидал удобный момент, чтобы начать разговор, а он, сняв очки, задумался, устремив на цветущие кусты чуть грустный, добрый взгляд. Я не рещался нарушить его молчание.

«Юность не знает воспоминаний,— думалось мне.— Зрелость подзревает, что она обладает неодолимой властью. Для старости память о прошлом — целое сокровище. Старики, немного опасаясь будущего прощания с землей, живут двойной жизнью: настоящим и давно минувшим, кажущимся часто милее настоящего».

Циолковский неторопливо поднял руку, нечаянно задел ветку, с нее посыпались тяжелые крупные капли.

— Когда зацветает сирень,— тихо заговорил он,— мне вот уже несколько лет вспоминается одно и то же.

В голосе его зазвучали новые, не свойственные ему, нотки: печаль утраты, застенчивое удивление перед безрассудством юности. Он обращался ко мне, но я хорошо понимал, что это его беседа с самим собой.

— Вспоминаю одно и то же,— повторил он.— И даже чувство при этом одинаковое — грусть. Оно не причиняет боли; это, как у Пушкина сказано, «печаль моя светла». Цветение сирени возвращает мне молодость. Сколько мне тогда было? Шестнадцать, семнадцать. Удивительная вещь — юность! Оглянешься на нее, и едва веришь, что все это происходило с тобой. В Москве на Немецкой улице по соседству с прачечной снились мне несуразные, тревожные сны. Приснилось однажды, будто вертится с жестким шелестом огромное веретено, наматывающее на себя облака. Потом мутное облачное скопище с шумом и треском обрушивается на меня. Просыпаюсь, открываю глаза, а сон продолжается наяву. Рушится на меня что-то сверху, накрывает с головой, а боли не чувствую, словно и впрямь это облака. Оказывается, это, отсыревшая от прачечных паров, оторвалась от потолка и обрушилась на меня бумага.

Каморка моя была полна книг, профироков, реторт. Отлучался я только в библиотеку да вечерами уходил подышать воздухом. А то все время читал, вычислял. Часто ловил хозяйку на подглядывании за мной. Как теперь понимаю, для любопытной женщины я представлял немалый интерес. Вечерами в комнате жидкости расщевивались по-разному, взвивались клубы пара, возникали искры — я производил опыты. Недоумевала хозяйка — питается жилец только хлебом, одни глаза остались, а не унывает. Ни друзей у него, ни

знакомых девушек, не пьет, не курит. Да и вид у меня смешной: волосы длинные, по полгода не стриженные, брюки с дырами, а присланные сердобольной теткой шерстяные носки, варежки, шарфы я снес на Сухаревку, продал и накопил олова, кислот, каких-то стеклянных сосудов. Хозяйка допытывалась:

— Вы, значит, в монахи собрались? На Афон или подале?

Она была не только любопытна, но и словоохотлива. Представляю, как она расписывала меня своим собеседницам. Может быть, даже рожки и хвост подрисовывала для убедительности. Стал я ловить на себе внимательные взгляды уличных соседей. Но мне было не до них. Я мечтал о заатмосферных полетах. Только мечтал, потому что путей к звездам не знал, как и никто на Земле. С мальчишеских лет я представлял блаженное состояние полета, когда можно свободно двигаться вверх, вниз, во все стороны, не встречая упругости атмосферы, не чувствуя земного притяжения. Я не сомневался, что такой полет мыслим, боле того — неизбежен. Но какая сила взмоет человека к звездам — не знал. Дома, мальчишкой, я заводил разговоры о таких полетах. Домашние смеялись, отец обрывал:

— Перестань нести несусветицу!

А тут, в Москве, меня никто не оставил, и я отдавался мечтаньям.

Была у меня одна забываемая ночь. Москва. Безлюдье. На небе — Млечный Путь. Звезды. Они горят холодно, кажутся недосыгаемыми. Я смотрю на них, запрокинув голову. И вдруг меня, как электрический ток, пронизывает мысль. Я нашел решение величайшей из человеческих задач! Оглядываюсь — никого. Я один на один со звездами, и я открыл к ним путь! Открыл!!! В это я верю. Это ничего, что у меня нет еще вычислений, схем и чертежей. Они будут! Важно ведь озарение, открытие, принципиальное решение возможности полета в межпланетное пространство! Центробежная сила! Вот что поднимет человека к звездам! Наша Земля движется по окружности под влиянием центростремительной силы притяжения Солнца, привязанная к нему, как на веревке. Но ведь по закону инерции всякое тело должно двигаться прямолинейно. Криволинейное движение Земли, подчиняющейся притяжению Солнца, — оно-то и натягивает, как тетиву, веревку, привязывающую Землю к Солнцу. Ну, конечно, центробежная сила поднимет летательный снаряд к звездам. Фантазия мгновенно создала четкий чертеж, а затем и летательную машину. Это обтекаемой формы закрытая камера, похожая на полурыбу или полуптицу. Внутри камеры вибрируют вверх ногами два твердых эластичных маятника с шарами на верхних, вибрирующих концах. Маятники описывают дуги, и центробежная сила шаров поднимает кабину, унося ее сначала в воздушное, а потом и в межзвездное пространство.

Все это проносится в мозгу в какие-то

доли секунды, и меня охватывает бурный восторг. Волосы шевелятся на голове. Мурашки бегут по спине. Я готов петь, плясать, обнимать встречных, делиться с ними радостью открытия.

Теплая, облитая солнцем зеленая Земля удалялась, уходила в туман, а я поднимался все выше и выше, к звездам! Восторг был так велик, что эта ночь оставила след на всю жизнь. Я и теперь иногда вижу во сне, что поднимаюсь к звездам на моей машине, и чувствую такой же восторг, как в ту незапамятную ночь.

Я брожу по Москве час, два. Трезво размышляю, анализирую, проверяю свое открытие и — увьи! — прихожу к пониманию, что впал в заблуждение. От работы маятников произойдет сотрясение и только. Вес камеры не уменьшится ни на один грамм. Камера не поднимется ни на метр.

Восторг исчезает, но я счастлив уже и тем, что испытал радость первооткрывателя, чувствовал себя летящим на машине.

Темнело. В углах сада залегли тени. Я не различал лица Циолковского, а только слышал приглушенный голос:

— Но я совсем о другом хотел сказать. Однажды, когда в Москве, как сейчас у нас, зацвела сирень, я вернулся из библиотеки и обнаружил на столе письмо.

От узкого лилового конверта струился запах тонких, видимо дорогих, духов. Я очень удивился. Из дома писали мне редко, и конверты ничем благоуханным не опрыскивали. Адрес мой и фамилия были написаны правильно, и я, пожав плечами, вскрыл конверт.

То, что я прочел, не столько взволновало, сколько испугало меня. Из-за глухоты я был болезненно стеснительным и неловким, общения с незнакомыми избегал, а тут...

Он замолчал, будто раздумывая, стоит ли продолжать. Но теплый вечер, тишина, сирень располагали к откровенности, и он заговорил снова:

— Словом, я прочел искреннее, восторженное письмо незнакомой мне, должно быть смелой, независимой девушки.

Подлинный слог письма воспроизвести не сумею, но послание после второго и третьего чтения произвело на меня очень сильное впечатление. Письмо дышало благородством мыслей, душевной прямоотой, горячей симпатией ко мне, безвестному мечтателю, может быть, даже сумасброду. Еще я обратил внимание на изящество стиля.

Письмо было, в сущности, беспредметным, если не считать того, что своенравная незнакомка выражала сильное желание получить ответ. Звали ее Ольгой, а фамилия... фамилия мне ничего не говорила.

Циолковский умолк, и я понял, что спрашивать о фамилии бесполезно. Не назвал и не назовет.

После небольшой паузы он продолжал:

— В конце письма был обозначен почтовый адрес девушки.

Заглянула ко мне хозяйка. Я обратился к ней.

— Не знаете ли вы таких-то.— И назвал фамилию девушки.

Хозяйка взглянула на меня осуждающе.

— О таких богачах не слышали! Домина у них свой, рысачи серые в яблоках, под синей сеткой. Именье на Клязьме. Фабрика...

По тому, как хозяйка ощупывала глазами лиловый конверт, я догадался, что она, связанная как прачка с богатыми домами, расписала меня этой тургеневской девушке не то как романтического Мцыри, не то как чернокижника. Мне даже отвечать на письмо расхотелось.

— Неужели не ответили?

— Ответил. В тот же день. Письмо вышло длинным и путаным. Скорее всего, я по молодости лет немного попетушился, хотя помню, не допустил ни умиления своей бедностью, ни хвастовства преданностью науке. Просто открыл молодые мечты.

Константин Эдуардович похлопал меня по колену.

— Семь страниц намахал. Прямо-таки стихотворение в прозе. Это объяснялось тем, что, по моим представлениям, девица в науках была не сильна, и я старался писать без научных терминов, пообразнее. Безрассудное, горячее письмо. Все же у меня хватило разума в конце добавить, что мы, дескать, разные люди, и пусть она сочтет мои строки знаком вежливости, а не надеждой на переписку.

Циолковский задумался. Я сидел как на иголках. Неужели оборвет рассказ так же неожиданно, как начал. Но воспоминания продолжались:

— Отправив ответ, я вздохнул с облегчением и углубился в занятия в полной уверенности, что на этом переписка оборвется.

Но через день хозяйка с ухмылкой поддала мне лиловый конверт. Глаза ее говорили: «Вот, оказывается, вы какой тихоня! В тихом-то омуте черти и водятся!»

А я удивился и разволновался не на шутку. Дело прошлое. Поймал себя на мысли, что втайне ждал письма, и не будь его, вероятно, огорчился бы. Разорвав конверт, впился глазами в строки, читал их, перечитывал, пока не выучил наизусть.

Моя корреспондентка совершенно покорила меня. После изъявления в самых изысканных выражениях благодарности за мой ответ, она увлеченно доказывала, что ее интерес к моей особе не каприз, не причуда, не случайное развлечение вальмовой девицы, а, если угодно, содержание ее теперешней жизни, ее романтика и поэзия.

Она выражала восхищение моим образом жизни, а меня с уважением называла затворником, схимником, подвижником науки, хотя я тогда еще ничего не изобрел, не открыл.

Всего удивительней было то, что она знала обо мне решительно все: когда я просыпаюсь, что ем и пью, что читаю, в какую библиотеку хожу.

Легче всего объяснить это обстоятель-

ство соглядатайством моей хозяйки, но от этой мысли пришлось отказаться: полуграмотная женщина не смогла бы правильно назвать мои книги, а о моих занятиях в библиотеке она и понятия не имела. Как Ольга добывала сведения обо мне, не ведаю и до сих пор, но за одно ручаюсь: сведения были верными.

Мне показалось даже, что я заключен под стеклянный колпак и чьи то прекрасные глаза с большим сочувствием следят за мной. Что глаза были прекрасны — я ни минуты не сомневался.

Плохо ли, хорошо ли, но природа сверх меры наделила меня фантазией. Я воссоздавал пленительные образы девушек и женщин, известных мне по литературе, — пушкинскую Татьяну, гончаровскую Веру, тургеневскую Асю... Незнакомку я наделил самыми чудесными чертами, заочно сотворив себе кумир.

В тот же день я отправил ей большое письмо. Только в молодости, наверно, пишут такие искренние, чистые письма. Боясь показаться нескромным, я старался не касаться своей персоны, но, конечно, хотя и инсказательно, писал о себе, о своих чувствах, раздумьях, мечтах. Мысленно я видел ее, склоненную над моим письмом, и это вдохновляло меня на самые душевные и нежные слова.

Если уж говорить, то говорить все. Не по своей воле, без всякого желания покрасоваться, будто бросаая вызов судьбе, лишившей меня слуха, я написал слова, от которых мне и сейчас не по себе.

Циолковский подумал немного и твердо, без запинки, произнес, по-видимому, врезавшиеся в его память, гордые слова:

— Я буду, обязательно буду таким человеком, какого еще не было на земле! — Вымолвив это, он тут же добавил: — Не расцените это как нескромность и самовозвеличивание, — этим я никогда не страдал. Будучи глухим, я стремился сделать что-нибудь такое, что могло бы ощутимо компенсировать мое уродство. Не случайно, после двух Ольгиных писем я еще раз обошел московские магазины и перепробовал все слуховые приборы. Ничего не вышло. Нужного прибора не нашлось. Отправив письмо, я считал часы и минуты, ожидая ответа.

— Ответ пришел?

— Да. На этот раз я выследил почтальона и дело обошлось без посредничества хозяйки. Я побегал в сад, сел на лавочку возле цветущей сирени и стал читать дорогие мне строчки.

Вероятно, и у нее и у меня были какие-то родственные сердечные струны — звучание одной вызывало ответ другой. Ольга понимала меня с полуслова, с полунамека и отвечала мне так, что, пожалуй, другой, душевно далекий человек, и не понял бы.

Вступив в рискованную переписку с девушкой явно не моего круга, я больше всего боялся непонимания и посягательства на мои научные дисциплины, которым я отдавал себя целиком. Она богата! Красива! Окружена вниманием. Вдруг она посмеется

над бедным чудачком, постигающим высшую математику? Мне было бы больно и обидно узнать, что наука ей, знатной и избалованной красавице, мало понятна, чужда, а может быть, и попросту скучна.

Но меня подкарауливало счастье. Она не сторонилась науки, больше того — как раз о науке-то и писала. И как писала! С пониманием, с неподдельным пафосом, со смелостью. Оказывается, она была всерьез озабочена, что я, необеспеченный, дикий от стеснительности человек, мог бы достичь вершин знания, не теряя своего человеческого достоинства, не подрывая с юных лет здоровья, не свертывая с прямой трези.

Помню, что эта забота о моей судьбе растрогала меня, и, когда я писал ответ, глаза мои наполнились слезами искренней благодарности.

Ольга мне казалась тогда единственным в мире человеком, кто до конца понял меня, поверил в мои силы и вооружал меня мужеством. Я вспомнил древнюю легенду о живом существе, рассеченном на две половинки. Эти тоскующие половинки бродят во тьме и ищут друг друга в жажде соединиться.

Милая, чуткая, душевно красивая Ольга казалась мне половинкой моего существа, и я тянулся к ней.

Циолковский снова замолчал, но на полминуты, не больше. Всмотреваясь в прошлое, он заново переосмысливал его. Ведь в ту московскую весну, в пору весеннего цветения сирени решалась его судьба, определялось направление всего жизненного пути. Потянувшись сердцем к чудесной незнакомке, он стоял в нерешительности перед дверью в неизвестность.

— Так началась у нас переписка. Каждое письмо было открытием! Я читал и перечитывал письма по нескольку раз, и когда их стало четыре, мне думалось, что их сорок — так много в них было смелых мыслей, тонких чувств, девичьей непосредственности и обаяния.

Уже не только она обо мне, но и я о ней узнал, если не все, то очень многое. Я знал о ее знакомых, о книгах, какие она читает, какие посещает театры, где путешествует. Но, главное, я проник в ее мысли и мечты и только вот не видел ее ни разу. А попросить ее фотокарточку не решался. Заглазно мы уже называли друг друга ласковыми именами. Письма воспламеняли нас, мы полюбили друг друга.

Когда в одном из посланий Ольга назначила мне свидание, я впервые задумался всерьез об этом романе в письмах. Я трезво отдавал себе отчет, что спутницей в жизни она мне не будет, не может стать. Вероятно, встречи еще более сблизили бы нас, но я понимал, что все равно впереди разлука.

Я был убежден, что хорошо себя знаю, и представил, какой мучительной будет для меня эта разлука. Хотите смеяться, хотите осуждайте, но я оробел и наотрез отказался от свидания. Это ее очень огорчило. Очередное письмо было полно не-

поддельной грусти. Потом переписка вошла в прежнее русло, но предложения увидаться больше не было.

Повышенно чуткая, умная, артистически тонкая, она не умом, а сердцем угадала, что не приду на свидание, и тут меня не переубедить. Зато незнакомка озадачила меня новым, на первый взгляд заманчивым, предложением. Она нарисовала мне удивительную картину.

Представьте себе — светлую, многовоздушную комнату, письменный стол, кресло, кушетку, даже ковер. За окном — тенистый сад. На отдельном мраморном столе — сверкающая стеклом и металлом новейшая аппаратура для физических и химических опытов. У стены огромный шкаф с книгами. Я сижу и занимаюсь, чем желаю. Кто-то заботливый и внимательный в строго определенные часы подает мне вкусный завтрак, сытный обед, питательный ужин. При желании я хожу в любой театр, консерваторию, музей, наконец, на конские ристалища. И все эти райские условия не стоят мне ни копейки. Девушка просила только согласиться и брала на себя все заботы о средствах.

Понимаете? Никаких обязательств, никаких векселей. Она даже соглашалась не показываться вблизи моего будущего пансиона. Она предвидела, что я могу отказаться от прямой, незамаскированной благотворительности, и, щадя мое юношеское самолюбие, предлагала, если я захочу, в уплату за пансион давать уроки математики ее неуспевающему двоюродному брату.

Она заклинала меня не отказываться, уверяя, что это ее право принять посильное участие в научном подвиге.

«Не обижайте меня отказом,— писала она.— Два моих туалета, выписанных из Парижа, покроют расходы на вашу скромную студенческую жизнь. Соглашайтесь, милый. Я ведь ни на секунду не сомневаюсь в будущих открытиях ваших. Не вам, упрямец, я хочу помочь, а науке, перед которой готова встать на колени».

— Вы не согласились, Константин Эдуардович?

— Не согласился. Даже теперь, спустя много лет, мне трудно разобраться в сумятице тогдашних чувств. Тут была и сатанинская гордость, и смущение перед размахом благотворительности, и боязнь, что это меценатство убьет мою молодую любовь. Словом, я отказался.

Прошли многие годы, я прочел переписку Петра Ильича Чайковского с миллионершей фон Мекк. Оказывается, такие явления в жизни случались. Великий композитор принимал денежную помощь от женщины, которую никогда в жизни не видел. Но я отказался от помощи и этим глубоко обидел девушку.

Письма стали приходить реже. Потом прекрасная незнакомка перед отъездом за границу попросила вернуть все ее письма. Сердце мое сжалось и похолодело, но отказать я ей не мог. Со слезами я перебирал лиловые, тонко пахнущие духами, узкие конверты, в которых дышала моя любовь, мое счастье. Вспомнилось Пушкинское: «Прощай, письмо любви! прощай: она велела...»

Я вдыхал аромат писем, старался навсегда запомнить изящный девичий почерк. Своими руками я склеил большой конверт и сам отнес на почту. Доцветала сирень. В душе было пусто. Но роптать на судьбу я не стал. Ведь я сам отказался от счастья.

— А ваши письма?

— Мои письма она не захотела вернуть.

...Домой я шагал с огромным букетом сирени — благоуханные ветки ее были срезаны Константином Эдуардовичем в его садике. Я все еще находился под обаянием рассказанного и по-хорошему завидовал тому счастливцу, кому суждено обнаружить где-нибудь пачку писем Циолковского и с волнением прочесть его живые строки о цветущей сирени, о первой любви и о подвиге во имя человечества.

ОДИН ИЗ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ»

(К Галерее «Москвы»)

Образ великого грузинского поэта и философа Шота Руставели, образы героев его бессмертной поэмы всегда вдохновляли грузинских художников. Вновь и вновь создавались иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре», воссоздавался облик Шота. В нынешнем, руставелиевском, году к образам великого памятника грузинской поэзии обращаются многие художники: среди них и молодой художник Дмитрий Кипшидзе — мастер очень древнего искусства чеканки.

Расцвет грузинской чеканки — это время Шота Руставели. Тогда, в XII веке, творили Бека и Бешкен Опизари, непревзойденные и поныне. Однако в конце прошлого столетия чеканное искусство, постепенно деградировавшее, совершенно угасло. Лишь несколько лет назад четверо выпускников грузинской Академии художеств во главе со скульптором Ираклием Очаури возродили древнее искусство. В нынешнем году москвичи дважды встречались с грузинской чеканкой. На последней выставке в Центральном Доме литераторов экспонировались работы всей «большой четверки» чеканщиков: Ираклия Очаури, Гурима Габашвили, Коба Гурули и Дмитрия Кипшидзе. С последним, чьи работы репродуцируются в Галерее «Москвы», хочу познакомить читателей журнала поближе.

В 1964 году поэт Морис Поцхишвили привез меня в мастерскую Мито (так зовут его друзья). Я увидел горячего, страстного и предельно искреннего художника, он переходил со мной от одной работы к другой, объяснял сюжеты, делился своим пониманием искусства, убежденно и темпераментно говорил о необходимости синтеза архитектуры и монументальной чеканки, о перспективах развития этого древнейшего пластического искусства.

В своих работах Дмитрий Кипшидзе стремится к монументальности, но в то же время они привлекают поэтичностью замысла и воплощения. Недаром многие сюжеты он черпает в народных легендах, в произведениях своих любимых поэтов Шота Руставели и Важа Пшавела. Мито только отталкивается от литературной основы, силой своего поэтического вдохновения преобразует ее. Уже почти год работает он над образами «Витязя в тигровой шкуре». Так появились и портреты героев поэмы и целый ряд интересных панно, как, например, «Письмо Нестан», «Шота Руставели и тигр» и другие. В последних работах чеканщику удалось добиться цветного изображения. Правда, тона и оттенки еще не всегда беспрекословно повинуются ему, однако ясно, что, создавая руставелиевский цикл, Дмитрий Кипшидзе открыл новые возможности искусства, лишь недавно обретшего второе дыхание.

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

ВЕСЬ МИР — НА КРОПОТКИНСКОЙ УЛИЦЕ

(К Галерее «Москвы»)

Нередко еще находятя люди, пытающиеся втиснуть в прокрустово ложе своих представлений все многообразие восприятия и отражения действительности. Один из самых важных аргументов таких людей: «Дети и то лучше рисуют», при этом подразумевается, конечно, что дети «по-настоящему» рисовать не умеют.

Но подлинные, настоящие художники-профессионалы отлично знают, как трудно порой достичь выразительности, простоты и жизнерадостного ощущения цвета, а ведь этими достоинствами почти всегда и отличаются рисунки детей. И не потому ли международная выставка детских рисунков, экспонировавшаяся недавно в Москве в залах Академии художеств СССР, воспринималась зрителями как яркий, искренний рассказ маленьких граждан сорока двух стран, откуда были присланы рисунки о жизни нашей планеты, о своих мамах и папах, о животных и о природе, и конечно же о самих себе.

Ничего, что на рисунке Фриды Пёльцль из Австрии руки у людей велики, зато они крепко сжимают плакаты: «Мы против войны во Вьетнаме!» Девятилетний французский мальчик нарисовал «Портрет ученого». Конечно, глаза на этом портрете несоразмерно большие, но ведь это глаза человека, проникающего в тайны Вселенной. А веселый тракторист, выгравированный одиннадцатилетним Ромуальдосом Ионецким из Литовской ССР, полюбился всем зрителям и был признан одной из лучших работ выставки.

Как же попали детские рисунки в Москву, в выставочные залы на Кропоткинской улице?

Год назад «Пионерская правда» решила организовать международный конкурс «Моя страна — мой дом» и обратилась к детям всего мира: «Присылайте нам рисунки. Расскажите о своем доме, о своей деревне, о своей стране». Семьдесят тысяч работ пришло в «Пионерку»! Жюри под председательством народного художника СССР Н. Н. Жукова довелось решить довольно-таки трудную задачу — казалось, все рисунки хороши. Все же удалось отобрать около тысячи пятисот работ, которые и были показаны на выставке.

М. Генн

СУДЬБА ОДНОГО ПОРТРЕТА

(К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШОТА РУСТАВЕЛИ)

Время сохранило очень мало достоверных портретов Шота Руставели, сделанных его современниками с натуры или хотя бы по памяти. К таким портретам относится миниатюра, украшавшая один из старейших списков поэмы «Вепхис тхаосани» («Витязь в тигровой шкуре»), принадлежавший некогда князю Заза Цицишвили.

Этот старинный, траченный временем портрет-миниатюра получил особо широкое распространение со второй половины прошлого века, когда художник Григорий Гагарин сделал с него копию. Шота Руставели изображен сидящим: в левой руке у него рукопись, над ней он держит перо.

По утверждению Гагарина, этот список поэмы в 40-х годах прошлого столетия был собственностью младшей дочери царя Ираклия II царевны Текле (жены вельможи Вахтанга Орбелиани). От нее портрет перешел к ее старшему сыну Александру Орбелиани — видному общественному деятелю, который и предоставил миниатюру в распоряжение художника, изъяв ее из текста рукописи. Саму же рукопись он преподнес тогдашнему наместнику Кавказа князю Воронцову. До сих пор на рукописи сохранилась надпись, что она «принесена в дар князю М. С. Воронцову князем Александром Вахтанговичем Орбелиановым 1 сентября 1863 г., Тифлис».

На долгие годы рукопись затерялась в обширном архиве семьи князей Воронцовых и лишь в 1935 году стараниями поэта Г. Леонидзе была отыскана в книжных хранилищах Ленинграда и доставлена в Грузию (ныне она — в Институте рукописей Академии наук Грузии). Судьба же портрета-миниатюры после завершения работы над ним Гагарина едва не сложилась трагически.

Об этом я и хочу рассказать в своей заметке.

Григорий Гагарин — большой художник с изысканным вкусом, ученик Брюллова, друг Лермонтова, получил громкую известность как график, автор замечательных зарисовок на тему военного быта, которые он сделал во время пребывания на Кавказе. Гагарин был не только знатоком древнерусского и византийского искусства, он хорошо изучил и древнегрузинскую живопись фресок, церковных росписей и миниатюр. Гагарин поставил перед собой задачу не только скопировать, но и реставрировать поврежденный портрет Руставели. Художник выполнил ее отлично: сохранена присущая восточной миниатюре угловатость рисунка, отсутствие перспективы, богатство красок и сочность тонов.

Копию этого портрета Шота Руставели Гагарин поместил в роскошно изданном в 1847 году в Париже альбоме «Живописный Кавказ».

Оригинал портрета находился в 1869 году у историка П. Иоселиани, который передал его Давиду Багратиону, постоянно проживавшему в Москве. С тех пор о местонахождении портрета не было никаких сведений.

В 1923 году мне случайно удалось узнать, что некто А. И. Казаров, проживавший в Тбилиси, усиленно хлопочет об отправке какой-то имеющейся у него ценной миниатюры за границу. Эта-то миниатюра и оказалась оригиналом столь долго и безуспешно разыскиваемого старого портрета Руставели. Неожиданное и радостное открытие!

Но как миниатюра попала к Казарову!

Артемий Иосифович Казаров долгое время работал управляющим имениями и делами Георгия Ильича Орбелиани, который в свое время унаследовал все имущество и земли своего дяди Григория Орбелиани, известного и в качестве боевого генерала (он замещал даже наместника Кавказа). Надо полагать, что, будучи весьма влиятельным лицом, Григорий Орбелиани позаботился, чтобы такая культурная ценность, как этот портрет, вернулась в Грузию, в род Орбелиани, и затребовал ее у Давида Багратиона, своего знакомого и даже родственника.

После смерти Георгия Ильича Орбелиани и его жены Марии Александровны часть их имущества перешла к управляющему — в том числе и портрет, которым Казаров распоряжался уже как своей собственностью.

Состоя в 1923 году сотрудником Государственного Центрального архива Грузии, я сообщил тогдашнему его директору профессору С. Какабадзе о находке. Однако архив в ту пору не располагал достаточными средствами и не смог приобрести портрета. Но нельзя же было допустить, чтобы миниатюру увезли из Грузии. Тогда я предложил известному цветоводу и ценителю музейных редкостей Мамулашвили купить ее.

Так портрет-миниатюра Шота Руставели был спасен от продажи за границу и, по воле его нового владельца, передан библиотеке Тбилисского университета. Оттуда уже портрет поступил в Государственный музей искусств Грузии, где хранится и сейчас.



*И. Эналопашвили,
кандидат исторических наук*

• • •

Все замело, завьюжило до срока.
Нет ни одной тропинки,
Ни лыжни...
И даже белобокая сорока
Зиме — косматой мачехе сродни.
И тишина, как будто побелела,
Закуталась в пуховую парчу.
И никому, казалось бы, нет дела,
Что я над белым царством полечу.
И я лечу!
Мороз седобородый
Сперва смеялся,
А потом всерьез
Тряхнул он сосен сонные разводы
И белую задумчивость берез,
И всей зимы наполненную чашу
Вдруг он ударил палицею —
Дзинь...
И над раздольем присмиривших
пашен
Рванулась вьюга, закричала:
— Ссгинь!
А самолет, что курсом шел
к Тюмени,
Качнул крылом, прибавил высоты...
И вьюга замерла в оцепененье,
И спряталась в тобольские кусты...
И снова белизна не шелохнется,
И снова ни тропинки,
Ни лыжни...
Лишь только песня самолета льется
Да видятся тюменские огни.

• • •

Узбой!
Узбой!
Идет здесь бой,
Идет здесь бой
С тобой,
Узбой!
Жара!
Жара!
Как от костра!
Уже афганцу петь пора —
За сорок градусов жара.
Барханы —
Мертвые года,
Их воскресить должна вода.
Она придет издалека —
Через барханные века...
Ну, а пока
Слепит афганская пурга.
Ревет и день и ночь подряд,
Но изыскательный отряд
Наперекор песчаной мгле
Идет упрямо по земле.
А здесь земля —
Сплошной песок!
Коснись его —
И он потек,
Да так, что нечем удержать...
Искрится воздух —
Как дышать?
В радиограммах —
«Так держать!»

•

ОГНЕННЫЕ ТОЧКИ ПОЭЗИИ

Что важнее — мысль или чувство, — этот спор, идущий в русской поэзии с незапамятных времен, не затихает и в наши дни. Изменяется, да и то лишь частично, одна терминология: вместо слова «содержание», набившего оскомину, мы все чаще говорим «полезная информация», а вместо «поэзия мысли» — «интеллектуальная поэзия». И хотя, казалось бы, существо спора давным-давно решено в пользу чувственной мысли, выраженной в эмоциональном, художественном образе, в поэтической метафоре, — страсти вокруг новых сборников известных и менее известных поэтов разгораются с не меньшей силой, чем, к примеру, во времена Тютчева. Современная Тютчеву критика упрекала поэта в том, что его лирика может служить примером переложения в стихи философских тезисов, что она отмечена печатью шеллингианства, немецкого романтизма и т. д.

Отвечая на эти упреки, И. С. Тургенев так раскрывал секрет обаяния тютчевской музыки: «...Каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления».

И далее первый редактор тютчевских стихотворений подчеркивал: «Мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы...»

Казалось бы, перед нами предельно ясная формулировка принципа взаимосвязей и соотношений эмоции и интеллекта, чувственного мира художника и его разума. Но не случайно старинный афоризм гласит, что новое — это всего-навсего хорошо забытое старое. В современной поэзии то и дело обнаруживаются сторонники «интеллектуального направления», прикрывающие порой понятием интеллектуализма вялость, душевную аморфность, бестемпераментность. Существуют и их противники, считающие, что чувство или «сильное впечатление» не обязательно должно зажигать «огненную точку» — пронзительную по но-

визне, современности, актуальности мысль. Первичное ощущение — якобы самоценно, оно и есть признак «кондовой натуры», «силы» и т. д.

Помимо полемических крайностей в наших критических спорах нередко слышатся и более спокойные, трезвые голоса. Ряд поэтов заново обосновывает тургеневское определение философской лирики, отражающее суть поэтического процесса. Недавно на книжных прилавках появился сборник «И не было чужих садов в России» Владимира Туркина. В предисловии к этому сборнику Василий Федоров пишет: «В поэтической критике поэтов принято делить на поэтов мысли и поэтов чувства... Но в том-то и дело, что подобное деление так же искусственно и условно, как и деление живого дерева на корни и на ветвистый ствол. Поэтическая мысль рождается из чувства, как древесный ствол с его пышными ветвями рождается из почвы. Поэтическая мысль — это та же эмоция, но уже в новом, более концентрированном качестве».

Прошу читателей извинить меня за обширную цитату, но Вас. Федоров здесь полно и определенно выразил не только свое отношение к стихам В. Туркина, но и свою творческую программу. Как мы видим, это кредо поэта-современника необычайно близко к словам Тургенева о том, что истинный художник не может существовать без осмысления важнейших закономерностей мира, без «огненных точек» интеллектуальных открытий и «прозрений». Эти «огненные точки» вбирают в себя и душевные потрясения, испытанные поэтом, и силу его интеллекта. Одно без другого в лирике существовать не может. Одно без другого неизбежно ведет к неполноте, однобокости воспроизведения, а точнее — воссоздания и самой жизни и духовного мира художника.

Устанавливая в поэзии меру соотношения не только между чувством и мыслью, но и между внутренним, субъективным, и внешним, объективным, элементами мира, Белинский сравнивал их с двумя противоположными берегами жизни. В процессе ху-

дожественного творчества эти «два противоположных берега — здесь и там — сливаются в одно реальное небо исторического прогресса». Движущим же стимулом исторического прогресса, по словам великого критика, является непрерывная работа, нескончаемое делание и становление, мир вечной борьбы будущего с прошедшим. Без «вчувствования» в этот мир, равно как и без его осознания, лирика не сможет высечь тех «огненных точек», которые западают в сердце читателя, воздействуют на его разум, на его чувства.

Творчество многих современных поэтов служит тому наглядным, убедительным примером.

Чтобы сохранить локальность полемических замечок, я обращусь вначале к поэзии В. Туркина.

Спор с самим собой, но с собой — прежним, с собой — десятилетней, пятилетней давности, — вот, пожалуй, наиболее характерная черта не одного В. Туркина, но и многих его товарищей по поэтическому цеху. Та самая «диалектика души», о которой говорил Чернышевский, наглядно раскрывается в лирических сборниках поэтов, в их раздумьях, в пристрастном разговоре о времени и о себе. Эта диалектика не есть простое отрицание всего содеянного и написанного, хотя бывают и такие перепады в лирической биографии поэта. В основном — это новый взгляд на самого себя — прежнего и настоящего, развитие лирического «я» по нескончаемой спирали, повторяющей или предвосхищающей — условно, конечно, опосредствованно — спираль развития общественного самосознания.

Прочитывая, например, новые книги поэтов, бывших фронтовиков, я вижу, как в них ослабло реальное ощущение войны, ощущение физической боли, физических тягот и лишений, выпавших на долю солдата, и как вместе с тем возросло, углубилось понимание школы войны, школы жизни и политики, гражданского долга. Характерно в этом отношении стихотворение А. Межирова, опубликованное в «Литературной газете» от 21 июня 1966 г.

Я бы не сказал, что фронтовая, армейская романтика пошла на переплавку в поэтические тигли, но в поисках героического поэты стали осматривать при употреблении примелькавшихся образов этого героического. Они стремятся воздействовать на умы и сердца читателей не столько «валом», сколько детальным исследованием и, главным образом, новым осмыслением опыта своего поколения. Здесь стоит вспомнить «космические» стихи М. Максимова или «Памятник» М. Луконина. Свою жажду высокого, незаурядного многие из поэтов пытаются утолить дальними и ближними поездками, командировками, «вторжением в жизнь» на целинных землях, в районах новостроек. С юношеских лет они твердо знают, что

Все с годами стирается в памяти,
А романтикам смерти нет.
Здannya рушатся, но фундаменты
Остаются на тысячу лет.

Фундамент романтического, возвышенного восприятия действительности заложен в них всенародным подъемом в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Однако, спустя два десятилетия, поиски романтического «чуда» становятся несколько назойливыми, а стихи об этом «чуде» похожими на те временяки, которые довольно быстро ветшают, смыываются прибойной волной времени. Поездки и командировки в дальние края нередко оборачиваются беглыми репортажами, рифмованными хрониками, стихотворной «подверсткой» в газетах. Происходило и происходит это потому, что в поэзии, как и во всякой литературной работе, трудно отказать от приобретенных навыков, от наметанного глаза. А этот наметанный глаз чаще всего и подводит поэта.

В книге «Для всех и для себя» В. Туркина, вышедшей несколько лет тому назад, есть большой цикл целинных стихотворений.

Свой приезд на целину поэт рассматривал как оперативную задачу дня, а себя — как очеркиста, «посланиа радиоволны». Чтобы избежать хроникерской сухости и суконности языка, поэт часто прибегает к ненавязчивому юмору, к добродушной улыбке, к личному обаянию. Эти свойства заложены в его характере. Они есть и в его стихах. Но выбор сюжетов и моделей литературных портретов был как бы заранее предопределен, задан литературной традицией: автор стихов обращал внимание только на то исключительное, необыкновенное, выдающееся, что, по сути дела, соответствовало литературной моде и правилам «хорошего» поэтического тона. Так появились стихи о совхозных «маяках», так появилась в поэзии рассудочность и умозрительность. На новый жизненный материал переносились, почти без изменений, мерки привычного журналистского штампа.

Со времен войны многим из нас памятен случай, происшедший у стен осажденного Ленинграда. В лютые холода сорок первого года на «трассе жизни» один шофер облил руки бензином, поджег бензин и таким образом, отогрев скрюченные холодом пальцы, устранил неисправность в моторе и доставил в срок несколько тонн хлеба голодающим ленинградцам.

Но вот в сборнике «Для всех и для себя» я читаю стихотворную новеллу о целинном шофере Сереге. Он везет зерно для весенних посевов. По дороге в радиаторе выкипела вода. Серега срывает с рук бинты, отфильтровывает воду из дорожной колеи, заливает радиатор и в срок доставляет груз. Здесь все определено случайностью, недосмотром, небрежностью, но только не железной необходимостью, с которой столкнулся в давнем сорок первом году ленинградский шофер. Ведь Сереге не грозила ни бомбежка, ни артобстрел, ни ладожские польняи и развodia; речь шла не о жизни и смерти сотен людей, а о задержке, пусть досадной, нелепой, но просто задержке в пути. Пафос же поэта, воспевающего этот

дорожный случай, остался прежним пафосом военного времени. И стихи в целом получились надуманными, необидительными.

К чести В. Туркина уже в сборнике «Для всех и для себя» он почувствовал опасность такой избитой колен. Поэт вступил в спор с риторичностью, заданностью в поэзии и с самим собой.

Мне очень хочется поспорить
С одной традицией дурной,
С тем, что пшеница — это море
И что комбайн — корабль степной.

Дело в конце концов не в избитых сравнениях («пшеница — море», «комбайн — корабль»). Речь идет о шаблонном понимании высокого, героического в нашей действительности, в том налете рассудочности, который отталкивает читателя и сводит на нет усилия стихотворца. Подобные стихи никак не отнесешь к интеллектуальному направлению, но в них господствует стихия нагой, отвлеченной мысли, упомянутой Тургеневым и противопоставленной им «огненным точкам» лирики Тютчева.

Поэтический зачин в новой книге В. Туркина не оставляет сомнения в том, что поэтом перейден некий рубикон и спор между заданной мыслью и живым чувством решился в пользу живого чувства, сильного впечатления, порождающего «огненные точки» истинной поэтичности.

Есть стихи, как строение.
Все в них точно и верно.
Есть стихи — настроение.
Поплавковая нервность.

Строки сразу же вызывают к жизни многие ассоциации с «поплавковой нервностью» многих современных поэтов. Мы как бы поневоле втягиваемся в жаркую полемику: что же точнее отмечает время — поплавковая нервность, дрожание секундной стрелки на циферблате или мысль, быстрая как выстрел, мысль, выросшая из «всплеска мгновений»?

Разрешение спора дается в заключительных строках:

Не пристало поэту
В космическом возрасте
Измерять этот мир
Поплавковой нервностью.
Как секунда без века,
Как мгновенье без вечности,—
Так судьба человека
Без судьбы человечества.

Подлинная высокая гражданственность и философичность пришла к поэту вместе с отходом от исходных троп в лирике, когда он воспринял отвлеченные, казалось бы, споры о назначении поэзии, о ее сущности как кровное, безотлагательно важное для себя дело.

В основе этого стихотворения, равно как и «Снега», «Яблоневого сада», «Надо сразу старым бы родиться», «Партизанке», «Танка ФРГ», лежит сильное чувство, выкристаллизовавшееся с годами в образ-мысль.

Меня, например, по-настоящему взволновали стихи на такую как будто откровенно публицистическую тему, как тема возрождения духа милитаризма в Западной Германии. Я имею в виду стихотворение «Танк ФРГ». По силе лирического заряда эти стихи близки строкам поэмы «Суд памяти» Е. Исаева. Поэт говорит, что на границах с лагерем социалистических держав снова встал призрак гитлеровской агрессии, сработанный из крупповской стали танк бундесвера вновь направил орудийные стволы на восток, туда, где

...В сухих песках пустыни.
В лесах неведомых земель
Лежат полковник Паганини
И пулеметчик Рафаэль.
Он растоптал их сны и песни
И вновь нацелился вперед.

Поэт делает паузу — и в страстной вере восклицает:

Пусть все убитое воскреснет!
Все убивавшее — умрет!

Нельзя не согласиться с Вас. Федоровым, что в новом сборнике, вернее в лучших стихах этого сборника, В. Туркин берет за перо лишь тогда, когда чувства, отлагаясь в душе и в памяти, рождают поэтический образ, в котором уже есть мысль. Примером этого могут служить и стихи о жизни человека, о его назначении, под странным названием «Надо сразу старым бы родиться». Написаны они без претензии на «избранность» и «мессианство», столь модные в наше время в стихах философского плана: это раздумье друга-поэта, сдобренное горчинкой пережитых ошибок и утрат.

Надо сразу старым бы родиться.
Чтобы знать, как жизнью наслаждаться.
Сверху вниз познав все наслажденья,
Умереть.
...В предчувствии рожденья.

Долгие поиски В. Туркина, его колебания в выборе главного направления в лирике дают свои всходы. Хочется верить, что найденные горячие искры поэзии будут и впредь щедро сверкать в его стихах и поэмах.

Сергей Орлов начинал со вселенской печали («Его зарыли в шар земной»), с раскаленных, как раскален осколок снаряда, строк фронтового дневника «Третья скорость». Его первую книгу заметили, поддержали и, как говорилось в те годы, приняли на вооружение. И тут же посоветовали не задерживаться на военной тематике, видеть прошлое и настоящее «из будущего», рваться «в завтра, вперед». На деле эти советы означали определенную выборочность тем и лирических сюжетов, стеснительную для подлинного художника обязательность оптимистических «поисков». И Сергей Орлов на первых порах довольно беспечно следовал за тематическими приливами и отливами, на которые так щедро наша послевоенная поэзия. Вместе с друзьями-поэтами он увлекается строительством крохотных гидроэлектростанций в колхозах, даже пи-

шет об этом поэму «Светлана», ездит на торжественные открытия каналов, восхищается гигантскими экскаваторами, стремится густой метафоричностью скрасить белготу и неполноту своих впечатлений. Наконец, он пишет книгу «Городок», которая как-то выбилась из общего ряда декларативных монологов и чем-то напомнила «Районные будни» Валентина Овечкина. Эта книга о Белозерске, заштатном северном городке, родине поэта. Воздвигнув в прежних стихах десяток памятников и монументов, Орлов в новом цикле светло и дружелюбно оглянулся вокруг. Он пытливо всмотрелся в тихий северный район, в его людей — «министров поля и реки», в природу, памятную и близкую ему с детских лет.

Словно в горле песенки горошинка —
Пропою, а не произнесу.
Есть такая станция «Алешенька»,
Как тропинка к поезду в лесу.

Исколесивший едва ли не полсвета, оглушенный «ливнями стекла и стали», поэт с сыновней нежностью и легкой грустью отметил про себя, что только его родной городок «не растет, не строится как надо»...

Вкруг него, как видно, не найдут
Никаких таких месторождений,
Только реки сонные текут,
Льны цветут, да облака плывут,
Да базар шумит по воскресеньям.

Желая видеть «настоящее из будущего», С. Орлов устремляется на поиски «простых обычных чудес». Надо сказать, что встреча с родиной, с родным краем, с земляками-белозерцами и вологжанами принесла поэту немало действительно чудесных минут светлой радости. Он пишет стихи о кружевнице Шуре Капарулиной, знаменитой певице в масштабах района, о жеребенке-стригунке, который в базарной сутолоке побегал за колхозной автомашиной, приняв ее за мать. Поэт создает немало превосходных стихотворений о северной природе, о земле, где «леса, леса, вплоть до полюса», где

Ели, словно колокольни,
Тшшина, как спирт, хмельна,
И из трав встает над полем
Рыжим филином луна.

Однако с годами С. Орлов стал повторяться, использовать однажды найденное и «изобретенное». Когда я говорил, что нашим лирикам было свойственно настойчивое, даже назойливое стремление к рядовому «чуду», к этакой романтической восторженности перед любым, даже самым неприметным фактом или событием жизни, то я имел в виду прежде всего С. Орлова. В его лирике то и дело замелькали строчки: «лес молил январь о чуде», «чудо женских зеленых глаз», «ночами пели соловьи и был «полон свет простых чудес», Белозерск — «безгрешного детства чудо» и т. д. Мысль поэта как будто постоянно возвращалась «на круги своя». Стихотворения и лирические монологи теряли композиционную стройность. Их обременяли перечисле-

ния и излюбленные метафорические ходы, вроде «пронизанная ливнями и звездами, как солнце, неотступная мечта», «комбайнов ровный рев и ливни синих звезд», «чужие старые столицы в рекламных ливнях слюдяных», «в цветной бетон и сталь закован, неоном ледяным омыт», «белы, как солнце, теплоходы, планеты стали и стекла».

Эти поэтические «ливни» и «планеты», прошедшие по стихам Орлова, создавали видимость напряженности, но, к сожалению, не были порождены подлинной взволнованностью в работе. Обилие самоповторений настораживало друзей поэтического таланта С. Орлова. Сам поэт сознавал, конечно, что при всей актуальности и злободневности его творчества за ним по-прежнему шла слава поэта-фронтовика, автора реквиема «Его зарыли в шар земной» и десятка других стихотворений из сборника «Третья скорость».

И вот он пишет «Алешеньку» через десять лет после лирического цикла «Городок». Эти стихи как будто развивают главную послевоенную тему поэта — красоту и непритязательность районного мира, мира лесных дорог и первой любви, мира, отдаленно слышащего настороженный немумолчный «гул Вселенной».

Но если раньше этот гул для поэта был условным представлением, некоей метафорической данностью, то теперь в стремительных перемещениях с крайнего Запада на крайний Восток он увидел и узнал, что в «праздничности броской» чужих старых столиц есть «тревога знобкая и грусть». Даже в его районном мире, захваченном «сутолокой, громом, суетой», «что-то человеческого, зыбкое потерялось в громе навсегда».

Двести лет прошло с тех пор, как брошено
Лесу, полю, солнцу и реке,
И летит — Алешенька, Алешенька,—
А ответа нету вдалеке...

Чутко ощущая эту «знобкость» и эту тревожную напряженность атмосферы, готовый вот-вот разразиться атомной катастрофой, поэт делает решительную попытку пробиться к первичной материальной основе человеческого бытия. Эта материальность, вещьность предметов и явлений вселяет в него уверенность, вливает новые силы, пробуждает безыскусное умиротворение. Глиняная кружка молока, свежесдобленный хлеб, вымытые под праздник полы, щи, кипящие на «железных цветах горелок», — вот приметы душевного здоровья людей, их повседневного мастерства и умения. С рубенсовской полнокровностью изображена С. Орловым и женщина. Его любовь, занявшая теперь одно из первых мест в лирических тетрадах, знает и ослепительное счастье взаимности и беспредельное горе расставания. Это — земная, щедрая любовь, щедрая на физическое, я бы даже сказал плотское, томление, и на тончайшие переживания поэта-художника. В ней нет рокового исхода, рокового поединка, который вознес к вершинам мировой лирики стихи Тютчева. Но в ней есть пушкинская безза-

ветность и какая-то пушкинская усада во всем — даже в боли и любовной тоске. «Уходит женщина. Уходят и гаснут следом тополя».

Уходит женщина. Ни злоба,
Ни просьбы непонятны ей,
И задержать ее не пробуй,
Остановить ее не смей.
Молить напрасно, звать напрасно,
Бежать за ней напрасный труд...
Уходит, и ее, как праздник,
Уже, наверно, где-то ждут.

Здесь — то же самоотречение любящего сердца во имя счастья любимой. Здесь светлая дымка печали, что и в любовной лирике великого поэта. Глубокое личное потрясение, испытанное С. Орловым, заставило его быть экономным в поэтических красках, сдержанным в чувствах, ясным в помыслах и раздумьях. В творчестве С. Орлова выходит на поверхность та лирико-философская струя, к которой он тяготел давно. Она приметна кристальной чистотой языка, свежестью мысли, новизной чувств. Не только в интимной лирике испытывает поэт это обновление душевного строя. Новые качества, новые свойства его музы обнаруживаются и в стихах гражданских, стихах, пронизанных пафосом патриотического воодушевления. Когда затрагивается что-то сокровенное, что-то такое, с чем поэт никак не может смириться или согласиться, он пишет:

И Русь не та, и русские не те...
Не та, конечно,
Ну, а те чем плохи?
Те, что не те, и, видно, в простоте
Перевернулся ход самой эпохи.
Те, что воткнули в землю враз штыки,—
Конец войне!
И в десять дней не боле
Земные потрясли матерки.
Матерки земные,
А не поле.

Кровное ощущение революционной родословной, исторических связей с народом понудило поэта отбросить какие-либо инсказания, заговорить голосом, в котором различается глухо сдерживаемое негодование против деятелей, принимающих прошлый опыт народа, изображающих русский народ серой, инертной, неподвижной массой.

...Я навсегда с той Русью остаюсь,
С вершинами семнадцатого года.
Такого взлета духа, и ума,
И мужества история не знала.
Она взяла за образец сама
Рожденные той Русью идеалы.

...В своих заметках я бы хотел выделить с красной строки одну мысль. В настоящее время, когда мы порядком уже устали от различных громковещательных деклараций в лирике и заверений в критических статьях, что только поэтам «призыва пятидесятих годов» принадлежит тайна глубокого, философского осмысления нашего времени, происходит удивительное смещение читательского интереса к поэтам сороковых годов, к поэтам, которые громко и властно заявили о себе в первые годы после войны, а затем длительное время работали как бы в тени. Разные это поэты, большинство из них едва перевалило или подступает к славному пятидесятилетию, то есть

является ровесниками Октября. Приметный успех принес последний цикл стихов «День России» Ярославу Смелякову. Одной из лучших книг минувшего года признана книга «Узел» Ольги Берггольц. Уверенно завоевывают новые высоты в лирике Е. Винокуров и А. Межиров. Порадовали читателей новыми сборниками С. Викулов, В. Жуков, М. Львов, Р. Казакова и многие другие поэты.

Но я бы хотел обратить внимание читателей на одно имя, почему-то не пользующееся благосклонностью и расположением нашей литературной критики. Я имею в виду Юрия Левитанского и его последние по времени опубликования стихи. Биография поэта — это биография фронтовика, шагнувшего из студенческой аудитории прямо в окоп на передовой позиции. О своем поколении Ю. Левитанский пишет с какой-то беззаветной одержимостью, с глубокой проникновенностью:

Были ранения ранние.
Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание.
Я все нежней и осознанней
это люблю поколение.
Жестокое это каление.
Светлое это горение.

В его книге «Земное небо», вышедшей несколько лет тому назад, я прочитал превосходное стихотворение «Земля». Мне трудно ответить на вопрос: о чем эти стихи? Вероятно, о том, как различно видится наша хоженная-перехоженная земля, как по-разному она воспринимается человеком, бойцом, солдатом из узкого окопчика, и тем же солдатом, вкусившим сладость долгожданного мира. В первом случае земля распадается на длину броска: «До второй избы. До того леска. До мельницы. До реки». Мир, разъятый на отрезки и куски, разрастается до гиперболических размеров: любая мелочь дана крупным планом, все фантастически увеличено в размерах. Перед глазами автоматчика «качалась трава, как дремучий лес, и, как мамонт, брел муравей».

На гребне мира и войны Вселенная обрела утраченную прежде связь:

Плыли страны. Вился жилой дымок.
Был в дороге я много дней.
Я еще деталей видеть не мог,
но казалась земля крупной.
Я тогда и понял, как земля велика.
Величественно велика.
И только когда на земле война —
маленькая она.

Стихотворение «Земля» верно не только по психологическому рисунку, но и по своему общественному наполнению, по ощущению нашей эпохи, которая десятилетиями колеблется между миром и войной. Не нами развязана холодная война, сотрясающая земли и матерки. Но мы знаем из опыта прошлых лет, каких трудов и страданий стоит народу завоеванный мир, как долго нужно ждать, чтобы земля снова обрела свой величественный вид, свою изумительную, животворную красоту.

Чтобы отойти от темы трудных армей-

ских дорог, от «крутых ветров» и других тем традиционной фронтовой лирики, Ю. Левитанский продолжил опыты с укрупненными до парадокса деталями. Свое душевное состояние он стремится выразить через простодушный примитив. Здесь я вижу много общего черт с книгой «Колесо» С. Орлова, который, как я говорил, невероятной сложности и напряженности общественной атмосферы противопоставил прочность, незыблемость вещной предметности бытия. Правда, истоки у Ю. Левитанского иные. Он охотно прибегает к «детскости», даже изящной инфантильности письма. Так в стихотворении «Мучительно хочется рисовать» поэт зрительно воспроизводит наивное, чистое по краскам мировосприятие ребенка:

Трубила розовая труба.
Зеленый буйствовал барабан.
Нес оранжевый человек
солнце на голове...

Звуковая инструментовка Ю. Левитанского в такой же степени отражает его жажду очевидной простоты миропорядка:

Годами сменяются годы.
С годами меняются моды.
Выходят из моды комоды,
И оды выходят из моды.

Старинное изречение гласит, что искусство заключается в том, чтобы не было заметно никакого искусства. Когда в иных стихотворениях Ю. Левитанского прием не только громко заявляет о себе, но кричит, демонстративно выпирает наружу, я перестаю следить за ходом размышлений поэта, увлекаюсь больше самоцельной игрой в ассонансы. Кстати сказать, эти ассонансы известны в нашей поэзии со времен выхода «Лукоморья» Л. Мартынова, и печать несомненного влияния мартыновского «текучего» стиха заметна на многих стихотворениях автора «Земного неба». А жаль. Ю. Левитанский обрел истинное призвание не в таких, к примеру, строках:

Он и в тесном трамвае едет
И совсем никуда не едет —
Все равно он куда-то едет,
Все равно этим плодом бредит.

Нет, не здесь сильнее особенности лирики Ю. Левитанского, а в его тонких по настроению и словесной инструментовке стихах «Элегия», «Трава», «В Ленинграде, когда была метель», «Разлюбили. Забыли»... Поэт умеет собрать мысль и чувство в один прожигающий луч. Таким лучом является, на мой взгляд, его стихотворение «В Москве меня не прописали» и поэма, завершающая сборник, «Мама и космос».

Думаю, что в новых стихах Ю. Левитанского реже будут встречаться стихи, в которых, по образному выражению М. Соболя, «где-то между сердцем и бумагой молнио поймал громоотвод». Пусть душевные разряды свободно и яростно врываются в стихотворные строки, пусть поэт тяжело ступает «по песку — по земле, соседствующей с морем». Земная боль и земная радость никогда не подведут его.

«Как слово наше отзовется?» — этот вопрос лишил Тютчева покоя, заставлял его вновь и вновь мучительно раздумывать над белым листом рукописи. Подобной заботой не только о сегодняшнем прямом, непосредственном воздействии поэтического слова на читателей, но и на будущее поколение должны быть проникнуты наши труды. Этой высокой требовательности к себе мы должны учиться у наших предшественников, умеющих высекать огненные искры поэзии, воспламенять их и забрасывать в туманное грядущее. Не так ли поныне искрится умом, сильным чувством, любовью к родине тоненькая тютчевская книжица, та, что, по словам Фета, «томов премногих тяжелей».

Разговоры об интеллектуальности поэзии возникают в поэтической среде не в первый раз. Насколько мне помнится, три-четыре года тому назад этот термин был введен в критический обиход в связи с прошумевшими тогда спорами о физиках и лириках. Однако «интеллектуальное направление» было впервые обосновано критиком Ал. Михайловым на московском пленуме Правления Московской писательской организации, состоявшемся в мае этого года. Правда, имена поэтов — Л. Мартынова, Н. Заболоцкого, А. Ахматовой, Н. Асеева, И. Сельвинского, А. Тарковского, Л. Озерова, Е. Винокурова, В. Шефнера, К. Ваншенкина, А. Вознесенского — были названы и прочитаны в том самом порядке, в котором они следовали и четырелетие назад. Но если тогда этот термин связывался с обостренным вниманием поэтов к новейшим достижениям науки и техники, с развитием идей технократии, с разносторонней технизацией нашей жизни, то теперь правомерность и обоснованность существования такого направления Ал. Михайлов видит в том, что «философичность, расширение интеллектуального кругозора — одна из характернейших особенностей развития поэзии последнего десятилетия».

Вот это положение — положение о том, что именно последнее десятилетие отмечено в творчестве ряда поэтов печатью особой философичности, расширением интеллектуального кругозора, а у других поэтов такой печати на творчестве как будто бы и нет, — это положение вызвало особенно резкие возражения со стороны С. Васильева, Вас. Федорова, С. Поделкова, Д. Ковалева и других выступавших на пленуме поэтов и критиков. Характерно, что термин «интеллектуальность» или «интеллектуализм» поэзии охватывает, как это часто бывает в дискуссиях, сложный круг явлений, часто несовместимых друг с другом и все-таки пребывающих под одной «крышей», в данном случае под крышей термина «интеллектуализм». Так было в середине пятидесятих годов с понятием «поэты самовыражения», так было и есть с понятием «молодой поэзии», поэзии «пятидесятников». Эта терминологическая нечеткость, неопределенность объясняется стремлением критиков и поэтов обозначить словом, хотя бы самым приблизительным, то, что уже возникло в

жизни, но никак не поддается четкой формуловке, никак не укладывается в рамки прежних терминов.

Когда мы говорим, например, о творчестве Льва Озерова или Евгения Винокурова и утверждаем, что их интеллектуальный кругозор в последнее десятилетие расширился и в стихах увереннее звучали «вечные» темы любви, природы, нравственного самоусовершенствования человека, то в этом конкретном случае у меня лично термин «интеллектуальная поэзия» не вызывает сомнений. Когда то же самое мы говорим об Анне Ахматовой, Николае Асееве или Николае Заболоцком, то я только удивленно развожу руками: сорокалетний путь этих поэтов не был похож на непрерывное восхождение к интеллектуальным, философским вершинам, их путь был неизмеримо сложнее, противоречивее, самобытнее, чем это можно подумать, читая статьи и внимая выступлениям, в которых делается все, чтобы оправдать и подкрепить авторитетами ту или иную гипотезу развития современной поэзии. Каждый из названных мастеров лирико-философского жанра был похож на себя в юности, как бываю похожими на нас наши собственные портреты и фотографии юношеских лет. Но творческий путь художника — это не альбом семейных фотографий, и здесь мое сравнение страдает односторонностью и неполнотой. Известно, например, что многие поэтические шедевры были созданы А. А. Ахматовой в период Великой Отечественной войны, что в самые последние годы жизни она вновь испытала приток творческой энергии, оставаясь между тем в плену пленительных воспоминаний о своей дореволюционной поэтической молодости. Н. Асеев, наоборот, в годы войны испытывал какую-то тематическую неуверенность и лишь начиная с пятидесятых годов с невиданным воодушевлением поэт-бойца, поэт-трибуна ринулся в нашу каждодневную бучу, написал прекрасный цикл стихов. Эти два имени никак не могут подкрепить тезис о том, что в последнее десятилетие наша поэзия стала более интеллектуальной, чем в предыдущие годы. Эти поэты были прежде всего художниками с художническим, образным осмыслением действительности, а никак не рационалистами.

Уж если говорить по существу затронутого вопроса, то попытки установить прямую взаимосвязь между достижениями техники, философии и общественных наук с успехами или, наоборот, неудачами литературы и искусства делаются едва ли не второе столетие. Во всяком случае, В. Г. Белинский, как известно, резко разграничивал две сферы человеческой деятельности — сферу научных и сферу художественных интересов. Он писал, что «поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, — это пафос поэта», его живая страсть. Если наука оперирует логическими категориями, если она обращается прежде всего к разуму человека, то искусство

призвано, по словам Льва Толстого, «заражать» слушателя или читателя, оно обладает незаменимым качеством — той эмоциональной взволнованностью, чувственной активностью, которые являются альфой и омегой всякого истинно художественного произведения. Условная схема здесь будет такая — наука воздействует на человека через разум к чувству, а искусство через чувство к разуму. Это все азбучные истины эстетики, и их не стоило бы повторять, если бы мы не сталкивались с непониманием этих истин в нашей ежедневной литературной практике.

Рационализм ныне победно шествует по материкам и континентам. На Западе он выступает под видом «герметизма» и т. д., у нас, как мы видим, под видом «интеллектуализма». Его истоки — не в особой слянкости с новейшими достижениями кибернетики или космической медицины, а в том «эмоциональном голодании», которое заметно даже вооруженным глазом как в поэзии, так и в искусстве вообще. Одних критиков подобная эмоциональная недостаточность приводит в восхищение, служит очевидной приметой времени, других, в том числе и меня, она огорчает, наводит на грустные размышления о преимущественно «головном», умозрительном характере ряда явлений искусства вообще и поэзии в частности. Как у подводников кислородное голодание вызывает приступы головокружения, так и в поэзии эмоциональное голодание вызывает приступы формалистического изыска — это в лучшем случае, а в худшем — приступы безостановочного, механического сочинительства, возведения в ранг «философии» любой бытовой мелочи, любой общепригодной детали. Критику же термином «интеллектуализм» довольно легко скрыть бестемпераментность поэта, вялость его стихотворной формы, аморфность его чувств. Ведь как бы расширительно или наоборот суженно не толковался этот термин, — он все-таки происходит от латинского корня *intellectus* — рассудок, разум, ум человека. И интеллектуализм — это прежде всего умственность, преобладание рассудка над живым непосредственным опытом человека, над его эмоциональной сферой жизнедеятельности. Почему такое происходит в современной поэзии? Мне думается, что все это — из-за недостаточной убежденности, какой-то эмоциональной ненаполненности художника, его идейной пассивности. Я не делаю здесь открытия, потому что свою теорию пафоса или живой страсти поэта В. Г. Белинский связывал прежде всего со страстной верой поэта, с его гражданской позицией. Вероятно, инфляция ряда высоких понятий, прошедшая в минувшее десятилетие, и вызвала к жизни эту, в общем-то довольно обнаженную рассудочную поэзию, которую я не связываю с именами названных Ал. Михайловым поэтов, но которую я ощущаю, как говорится, всем своим существом. Она — вокруг нас, она в нас самих!

ФЕДОР ПАНФЕРОВ

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В этом месяце Федору Панферову — семьдесят лет. И всего лишь шесть лет тому назад родные, друзья, читатели проводили его на Новодевичье кладбище — вышло так, что пограничные даты рождения и смерти сомкнулись кольцом на одном и том же месяце. Круг жизни, отсеченный ими, подобрал в себя целую эпоху: судьба удивительного поколения воплотилась здесь своеобразно и ярко, органически соединив неповторимую индивидуальность могучего человеческого характера и черты столь же неповторимого времени. И все это вместе, как водится, вошло в книги Панферова, в облик его героев. Нельзя, невозможно судить о них, не помня об этом, немыслимо втискивать Панферова в рамки школярских канонов, расчленяя его на пресловутые плюсы и минусы. И так же бесполезно и заведомо несправедливо подходить к нему с меркой вкусовщины любого сорта — будь то брезгливая усмешка литературного сноба или казенный восторг вульгаризатора.

Панферов был и остается и останется одним из самых примечательных явлений нашей литературной и общественной истории. Пока что еще не изученное и не понятое во всей своей сложности, это явление несомненно таит в глубине много такого, что может открыть нам еще одну грань времени, ныне уже минувшего, но по-прежнему посылающего в наши дела и дни всепроникающие волны живительной и жгучей своей радиации.

Это время — едино, как едина и правда о нем. Видимо, пришла пора осознать и усвоить это, точно так же, как десять лет тому назад стали осознаваться многими две несхожие во всем, две отрицающие друг друга его ипостаси. О них, о неожиданном и мучительном чувстве раздвоенности, связанном с их восприятием, хорошо сказал К. Симонов в последнем из своих военных романов, пытаясь проследить и высветить в духовном облике и судьбах своих героев противоречивое обличье эпохи. Можно назвать и другие писательские име-



на, другие книги, где так или иначе решается эта задача: зальгинская повесть «На Иртыше», роман сибиряка Анатолия Никулькова «В буче», «Липяги» Сергея Крутилина...

Но это лишь один из многих возможных путей познания времени в диалектическом единстве его противоположностей. Есть и другие пути. И среди них — путь нового, более пристального и объективного исследования литературных биографий и

книг, возникших как прямое порождение тех громыхающих лет, необходимости нового их понимания, новой оценки с высоты нашего нынешнего времени. Отсюда, с этой высоты, видится и дальше и больше: даже самый первый взгляд, по неизбежности поверхностный, но свободный от былых предубеждений и конъюнктурных шор, захватывает в круг наблюдения многие несправедливо забытые имена и явления литературной жизни. И уже одно это резко оживляет ее картину, меняет былые ракурсы и представления, смывает хрестоматийный глянец с привычных, «традиционных» обоев. Произведения уже признанные, поневоле ставшие скучноватыми школьно-программными памятниками самим себе, словно бы вновь оживают, вступая в бой.

Именно так воспринимаются сегодня и панферовские «Бруски» — один из лучших деревенских романов, созданных на рубеже тридцатых годов.

Мы давно привыкли видеть название этой книги в одном строю с «Поднятой целиной» и «Страной Муравией» — долгое время считалось, что этот триумvirат с достаточной полнотой раскрывает понятие «тема коллективизации в советской литературе тридцатых годов». Сейчас, когда после длительного отсутствия вернулись к большому читателю кочинские «Девки» и «Парни», романы Ефима Пермитина, «Ненависть» И. Шухова, «Станица» и «Разбег» В. Ставского, «Стальные ребра» И. Макарова, «Последние мужики» В. Кудашева, когда вновь увидела свет замечательная, единственная в своем роде книжка А. Топорова «Крестьяне о писателях», когда во многом заново прочитан Вс. Иванов, выпущены избранные произведения А. Неверова, Л. Сейфуллиной и превосходный пятитомник С. Есенина, освоение темы предстало перед нами намного правдивее и полнее. А если иметь вдобавок в виду, что в далекий, многоголосый этот хор влились голоса современников, обратившихся новыми отличными книгами все к той же теме, то станут очевидными ее значение и гигантский размах в истории нашей литературы, всю бушующая громадность увиденного ею мужичьего океана, вздыбленного бурей революции, захваченного сложнейшими социально-психологическими процессами.

Ясно — не может быть и речи об искусственном ограничении писательских притязаний, а тем паче — о чем-либо монопольном праве-привилегии на такую необъятную тему. Но это ничуть не вредит ни Шолохову, ни Панферову. Более того — может быть именно теперь, когда появилась возможность множественного и разностороннего сравнения, достоинства классиков выявляются еще отчетливее. Своевременность каждой из книг, составляющих этот поток, глубина ее проникновения в действительность ощутилась особенно убедительно. И вместе с тем появилась возможность уточнить направление и верность курса, избранного каждым из художников, его преимуществ и недостатков...

Один из соратников Федора Панферова

по перу и теме, уже в наши дни, после смерти писателя, высказал мысль о том, что автор «Брусков» и «Раздумья», по-редакторски зорко подмечая соответствующие стилистические промахи у других литераторов, так и не сумел сделать последнего решающего шага к «высшей стадии мастерства» — к пушкинской, толстовской, шолоховской гармонии мысли и слова. В то же время, в стихийности панферовской стилистики автор этого высказывания увидел продуманный, сознательный вызов убогой стилиевой уравниловке — «ничейному стилю», — который начал было культивироваться одно время у нас в литературе.

Думается, что дело в данном случае обстоит значительно сложнее. Панферов шел «стихийным» путем прежде всего как раз в силу своеобразности своей, своего «кряжистого» таланта. Можно и нужно учитывать здесь еще и другие факторы — определенные стилиевые традиции прозы двадцатых годов, восторженную поддержку молодых литераторов, составивших в разгар последних внутрирапповских боев так называемую «панферовскую группировку», а также одобрение Серафимовича, увлеченного «корявой», «нутряной» силищей, которая почуялась ему в «Брусках»... Но, пожалуй, самое главное, самое интересное здесь проявилось в выборе сюжета и героя и конечно же в позиции, занятой самим Панферовым, в точке наблюдения и отсчета, которую он избрал для себя во время работы над романом...

Шолохов и Панферов. Романы писателей часто рассматривают в сравнении. Не очень трудно убедиться, что шолоховский взгляд на мир и людей в его книге более упорядочен и эпичен. Здесь налицо органическое единство места, действия и времени, круг героев строго очерчен и путь каждого направлен неумолимой, видимой всякому из нас логикой событий и характеров. Растановка борющихся сил намечается сразу же с началом действия, и любая из этих сил сразу же выступает в точной социально-психологической определенности, воплощаясь в цельные, словно литые, человеческие типы. Нам одинаково ясны в этом смысле Давыдов и Половцев, Нагульнов и Островнов, и не столько становление, сколько духовное раскрытие этих главных героев важно писателю. Так, новые глубины, новая, еще не разгаданная нами по первой книге красота и сила неуемной Макаровой души распахиваются вдруг в сцене его прощания с Лушкой, в неожиданном, последнем выплеске горькой и тайной его любви. Но ведь трогательный знак этой любви — скомканный Лушкин платочек — уже давно прятался в нагульновском кармане: мы (а может быть, и сам Шолохов!..) просто до поры не знали, не догадывались об этом...

Иное в «Брусках»: масштабами и многоцветьем изображаемых событий, стихийностью разгулявшихся страстей, картинами разлома и становления этот роман, пожалуй, гораздо ближе к «Тихому Дону», чем к «Поднятой целине». Здесь, на волжском,

разинское приволье, словно льдины, про-
рвавшие затор, разом выбрасываются де-
сятки героев, события закручиваются мно-
жеством водоворотов, и далеко не сразу
можно разобраться в этой круговерти, уло-
вить направление стержневого потока. На
какой-то срок чудится даже, что и сам пи-
сатель захлестнут, увлечен полководьем, ко-
торое он пробудил, что он плывет по раз-
ливу, не имея возможности управлять им,
не будучи в состоянии отличить главное от
второстепенного, да, по видимости, не осо-
бенно нуждаясь в этом...

Не случайно этот образ — образ поло-
водья, тронувшей весенней Волги — от-
крывает роман, достигая выразительности
почти символической. И таким же не слу-
чайным представляется его дальнейшее раз-
витие в эпизоде борьбы за плотину, когда
Степан Огнев, покинутый товарищами по
коммуне, в минуту горького бессилия и ду-
шевной усталости смотрит на льдины, кру-
тящиеся в темной воде. У каждой из них
своя повадка, свой характер, и потому каж-
дая мнится Огневу похожей на того или
иного из его односельчан, а все вместе —
бесшабашной, как они, и в чем-то главном
так и не понятой им силой, с которой он бо-
рется всю жизнь и вот — сломался...

Но интересно, что в этом последнем слу-
чае речь идет только о Степане: именно с
ним — основателем первой коммуны в Ши-
роком Буераке — связана в первую голову
тема ледохода и ледолома, тема самоот-
верженной и все-таки обреченной борьбы с
мужицкой стихией. Плотина спасена комму-
нарами, но ведет их за собой уже не Сте-
пан, а Кирилл Ждаркин, сумевший воздей-
ствовать на мужиков и баб не словом, а
делом, включив, как принято сейчас гово-
рить, рычаг материальной заинтересован-
ности. Так передается эстафета борьбы и
времени от одного героя к другому, а вме-
сте с этим обнаруживается еще одна, очень
важная, хотя, к великой жалости, и не
всегдашняя панферовская особенность —
чувство социального движения, умение уло-
вить тот критический момент, когда вчераш-
нее завоевание и торжество начинает изжи-
вать себя, становясь тормозом, препятствием
на пути к цели.

Таким образом, самое первое впечатле-
ние о природе панферовской «стихийности»
в значительной степени обманчиво: писатель
может и хочет управлять этим потоком,
вводя его в нужное русло, сообщая ему це-
леустремленность. И, поскольку речь идет
о «Брусках», по крайней мере о двух пер-
вых книгах романа, мы имеем дело не с про-
извольным умозрительным конструирова-
нием сюжета: перед нами воссоздается
реальный, kloкочущий мир, живой процесс
преображения, подчас трагической ломки,
крестьянской психики во всем бесконечном
и сложном многообразии его проявлений.

Очень важно, что сам Панферов —
в центре этих событий. Роденный в конце
прошлого века в мужицкой, пропахшей ды-
мом и нуждой избенке, в селе Павловке на
Саратовщине, рано узнавший голод и ни-
щету, разлуку с родными краями, выросший

в постоянной борьбе за свое человеческое
достоинство, будущий писатель на всю
жизнь вынес отсюда ненависть к волчьим
законам нужды и собственности, превраща-
ющим человека в зверя. С приходом Октяб-
ря Панферов бросился в огненные водово-
роты времени, почувствовав себя одним из
многих тысяч бойцов революции. Можно ли
удивляться, что основным полем сражения
для него стала именно приволжская де-
ревня.

«Я эти села — Лопуховку, Агаровку,
Баландиху, Спасское, Ерыклу — знаю
сызмала, — вспоминал он потом, расска-
зывая о своих подступах к «Брускам». —
В течение всех лет революции я наблюдал
их не просто как «проезжий барин», а при-
нимал горячее участие и в организации Со-
ветской власти, и в землеустройстве, и в
хлебозаготовках, участвовал и на похоро-
нах, на именинах, на свадьбах и даже на
родах. Я знаю мужиков наперечет, знаю,
кто как жил и живет, у кого какая основ-
ная беда — кто от какой беды сохнет, не
спит ночи, кого как зовут по-уличному, кто
и как дерется со своей бабой... Знаю, какие
были и какие стали у них поля... Знают и
они меня — от мала до велика...»

Нетрудно увидеть в этом чутью ха-
вственно, но при всем том весьма убедитель-
ном заявлении характерную, грубовато-
ласковую родственную интонацию. Она не
обманчива: ненависть и безошибочно угады-
вая в мужике собственническое начало,
Панферов никогда не забывал в любом из
них человека, близкого и понятного ему
«сызмала». Тысячелетняя беда, придавив-
шая, уродовавшая этого человека, качну-
лась, поползла с его натруженных плеч, и
очень важно было теперь помочь ему вы-
прямиться, выпрямляясь в то же время и
самому.

Так вступило в действие новое звено
крестьянской темы в русской литературе. Мы
уже говорили — Панферов не был здесь как-
им-то исключением, процесс выявился
сразу многими книгами. И тогда же был он
замечен современной ему литературной кри-
тикой: сквозь ожесточенную полемику вто-
рой половины двадцатых годов, сквозь па-
роксизмы групповой борьбы отчетливо про-
ступает стремление уловить закономерности,
связывающие движение крестьянской темы
с предшествующим этапом ее развития, с
классическими традициями девятнадцатого
века.

Очень много для этого потрудился
Горький. Снова и снова, в многочисленных
выступлениях тех лет, он прослеживал эво-
люцию «лапотного» героя в русской лите-
ратуре, начиная с семидесятых годов — с
того времени, когда почти все русские пи-
сатели, вслед за Толстым, усиленно и чув-
ствительно изображали мужика как существо
особого типа, которое прежде всего жаждет
«божьей правды», а затем — земли. В этом
хоре Горький выделял трезвый голос Глеба
Успенского и тех, кто, подобно ему, начи-
нал всматриваться во взерошенную, ни-
щую жизнь тогдашней деревни без розовых
очков толстовско-народнических иллюзий.

Отсюда и горьковская поддержка первого писательского отряда, выступившего из глубин деревенской России в лице Семена Подъячева и Ивана Вольнова — крестьянских художников-самородков, пошедших по проложному Чеховым и Бунным пути воссоздания «животно-эпической прозы», в коей, по словам Горького, неизбежно тонула и растворялась грустная поэзия деревенской жизни, есенинская «печаль полей»... Однако навряд ли он предполагал, что в самом скором времени ему придется сдерживать некоторых из новых деревенских писателей, чересчур безоглядно устремившихся по ухабистой тропе «животно-эпической прозы»...

Деревенская тема вошла в литературу двадцатых годов едва ли не по той же тропе — так, как вошла она в «Железный поток»: в понятном единстве с темой гражданской войны, отражая жизнь причудливым соединением жестокости и пафоса. Натурализм, стихийность, жертвенность, романтическая и в то же время отнюдь не выдуманная острота исключительных, чаще всего трагических ситуаций — такими раскрылись читателю тех лет книги Всеволода Иванова, Александра Неверова, Лидии Сейфуллиной, Артема Веселого, леоновские «Барсуки». Ни одна из них еще не давала возможности разглядеть по-настоящему следующую, уже приоткрывшуюся страницу нашей деревенской истории: те их герои, которые так или иначе воплотили в себе черты Нагульнова, Титка Бородина, Кирилла Ждаркина, еще сражались и умирали здесь рядом, бок о бок, защищая одно общее дело. По ту сторону фронта, откуда летели пули, пробивавшие их, нередко оказывались их братья и отцы — едва ли не лучше всех показал такое молодой Шолохов. Но между этими людьми еще не пролегла в ту пору черная смертная пропасть «своей», с таким трудом и жертвами отбитой, отвоеванной земли, «своего» «культурного хозяйства»...

Все это очень скоро привелось увидеть и показать Панферову и писателям — «деревенщикам» его призыва — призыва коллективизации. Но ведь не случайно же и Шолохов оказался в их строю со своей «Целиной» — прямая кровная связь двух звеньев темы была несомненной. И уже отсюда, из едва сложившихся традиций, из навязанного жизнью материала огромной взрывчатой силы легла на складывающийся панферовский стиль, на его отношение к изображаемой жизни все та же печать стихии и трагедии, сказа и натуралистической детали: четкий след этой печати Панферов пронес через всю жизнь — другого решения с о е й темы он просто не мыслил. «У вас описан раздор между крестьянами. Надо довести его до подлинно драматических коллизий. Иначе нельзя», — сказал он как-то уже в наши дни одному из авторов тогдашнего, тоже своего, панферовского «Октября», прочитав рукопись его повести. И сам неуклонно следовал этому внутреннему требованию, не останавливаясь порой даже перед натяжкой, надуманностью. Так нара-

стал груз и без того многочисленных неудач, но зато в случае успеха выходили из-под его пера картины, исполненные незабываемой выразительности и силы: расправа Чижика над Шленкой, начало Поддомасовского мятежа, драма Стеши и Яшки Чухлява...

Но конечно же не только наследие двадцатых годов питало талант Панферова. В нем пробилось и нечто новое, во многом близкое тому, что было впервые открыто Фурмановым в его бессмертной книге.

С «Чапаевым» сравнил «Бруски» еще Луначарский, назвав роман молодого Панферова «реляцией» — боевым донесением из деревни, содрогавшейся от внутренней борьбы. «Описание поля борьбы, учет опыта, урок, — писал Анатолий Васильевич. — В этом отношении Панферов вытекает из Фурманова. Его роман — книга очень серьезная. Ее можно изучать. На ней надо учиться. Именно работнику, который соприкасается с деревней или может прийти в непосредственное с нею соприкосновение...»

Известно, что именно Фурманов, руководивший в 1925 году литературным отделом Государственного издательства, стоял у самых истоков панферовского романа, был его «повивальной бабкой». Это он, чапаевский комиссар, прочитав принесенную Панферовым рукопись повести «Огневцы», тактично помог начинающему литератору преодолеть сомнения в своих силах и настоял на развитии этой повести в большую книгу. Фурманов обратил внимание Панферова на произведения русской и мировой литературы, посвященные крестьянству, и раскрыл ему глаза на огромное революционное значение и актуальность этой темы, расширив ее, по словам самого Панферова, «на весь мир».

Но суть дела заключалась не только в этом партийном, редакторском, товарищеском воздействии Фурманова на молодого писателя. Ведь автор «Чапаева» тогда же, в середине двадцатых годов, выступил одним из первооткрывателей нового метода в изображении людей и событий гражданской войны. Немало упреков привелось ему услышать за якобы рабское следование действительности, за стремление изображать Чапаева и чапаевцев «со всей требухой», с житейскими мелочами, какими он увидел их в боях, в переходах, на отдыхе. Но в том-то и дело, что все это вместе было схвачено, понято, пережито не бесстрастным свидетелем-регистратором происходящего, но боевым комиссаром легендарной дивизии, коммунистом-ленинцем, писателем, раз и навсегда присягнувшим на верность революционной романтике, умеющим вывить главное в людях-бойцах и обобщить это главное в его развитии. И это великолепное свойство, эту партийную комиссарскую линию он целиком перенес в свою книгу как новый, невиданный еще прием художественного обобщения — целеустремленного, делового, романтического...

И разве не то же самое мы видим в «Брусках». Случилось это прежде всего потому, что тогда, находясь в самой гуще событий, Панферов стремился показать де-

ревню такой, какой увидел ее собственными глазами — жадными и требовательными, глазами преобразователя и революционера-практика.

Сейчас, когда в наших руках имеется незавершенная, оборванная смертью автобиографическая повесть Панферова «Родное прошлое», когда появились исследования и воспоминания о писателе, можно при желании восстановить едва ли не все реальные прототипы характеров, изображенных в романе, едва ли не все действительные события, отраженные здесь. Даже полуфантастическая по размаху картина пьяного все-мужицкого загула, открывающая третью книгу «Брусков», написана, по свидетельству современников, «с натуры» в 1924 году во время пребывания Панферова в сельхозартели «Свет», созданной в селе Воронцовке тогдашней Тамбовской губернии. Не очень далеко от Воронцовки — воронежское село Коршево: здесь 26 мая 1930 года местное кулачье расправилось с коммунистами — организаторами колхоза. События эти через три года были воссозданы в той же третьей книге «Брусков» в главах-звеньях, повествующих о Полдомасовском мятеже. Панферов, живший в эту пору в Репном, неподалеку от Воронежа, выезжал в Коршево знакомиться с обстоятельствами совершившейся трагедии, с людьми, которые были ее свидетелями. А многие любопытные подробности житья-бытья в коммуне «Бруски» перенесены в роман из-под Пятигорска, точнее же — с берегов речонки Юцы после корреспондентской поездки писателя в коммуну «Пролетарская волга»: тут и плакат «Подгонка рублем — позор для коммунара», и бык, припадающий на все четыре ноги из-за того, что никто не хочет подрезать ему отросшие копыта, и коровы с «революционными» кличками, дающие «с чирышек» молока.

Тамбовщина, воронежские села, Прикубанье, Тюмень, берега Урала и Камы и даже Абхазия — отовсюду трудолюбиво, словно пчела, собирал писатель живой мед для «Брусков». Но строил он свою книгу на Волге, близ разинского утеса. Тут, на берегах Волги, впервые встретил он и Огнева, и Давыдку Панова, и Захара Катаева, и непутевую Шленку, и Стешу. И даже Кирилл Ждаркин, в чьем облике видны многие черты богатыря Павла Козловского, с которым судьба свела писателя в той же тамбовской Воронцовке, — даже он «корнями» своими уходит в родную для Панферова приволжскую землю: ведь в этот любимейший из созданных им характеров писатель, как это часто бывает, внес очень много своего, личного...

Именно поэтому так бесконечно разнообразны, так выразительны эти «подсмотренные» Панферовым крестьянские характеры, развернутые в «Брусках». В переплетении судеб выступает перед нами удивительное панферовское умение, пробившись через всю пестроту изображаемого, добраться до глубинной объединяющей сути, до самого ядра стремительно расщепляющейся мужицкой души.

Да, здесь есть, разумеется, кулаки, середняки, бедняки: классовые грани прослежены в романе очень четко, они лежат в основе книги, определяя ее ведущий конфликт — конфликт времени. Но, во-первых, как это только и может быть в жизни, никто из них не сложен на одну колодку, и не представляет особого труда отличить расчетливую умную злобу Ильи Плакущева от жестокого ханжества Маркела Быкова, от животной жадности Егора Чухлява, по прозвищу Железный. Во-вторых же, любой из характеров этих предстает перед нами не как нечто данное раз и навсегда, но переливается и переплавляется у нас на глазах, находясь в непрерывном движении. И каждое изменение, каждый поворот человеческой судьбы не просто прослежены писателем, но и объяснены им. Объяснены в сложной связи с происходящими событиями, с действием объективных законов исторического процесса, взятого на одном из самых крутых его разломов.

А самое главное заключается в том, что объясняет их человек, непосредственно участвующий в этом разломе, коммунист, убежденно направляющий движение истории во имя своей любви к людям. Причем не вообще к людям, а к этому вот Шленке, Епихе, Митьке Спирину, любой из которых достоин лучшей доли. И не только этих бедолаг, но и кулаков-то по-своему понимает и иногда жалеет писатель: мы поневоле сочувствуем отцовской беде Плакущева, когда бандиты Карасюка, на которых он понадеялся, насилуют его дочь; мы, при всей своей неприязни к Егору Чухляву, вдруг в какой-то момент понимаем всю горечь его одиночества... Ведь в каждом из них тоже загублен человек — энергичный, умный, работающий — кровная частица той силы, которая живет в народе!.. Но как раз поэтому еще большую ненависть к тому, что губит эту силу, а также к жертвам-защитникам собственной стихии поднимает в нас Панферов. И этот праведный гнев во имя человека, этот пафос сознательной борьбы, пожалуй, больше всего роднит его с Фурмановым: яростное, весслое и страстное стремление взорвать вековые устои, навсегда избавить людей земли от страшного идиотизма деревенской жизни.

Оно, это стремление, помогло молодому писателю, учась у Бунина, подняться над барским его скептицизмом, который с наибольшей силой («Ни к черту не годный народ!..») проявился в «Деревне». «Я повесть Бунина не просто читал, но изучал, — вспоминал потом Федор Иванович. — Несмотря на то, что повесть была написана блестяще, я ее отверг. Бунин утверждал, что крестьяне по природе своей рабы, пропитанные жадностью, я же придерживался другого взгляда: в деревне, по существу, люди хорошие, но обстоятельства коверкают характеры людей — стало быть, падо ломать эти обстоятельства и создавать новые...»

Точно так же, как Шолохов и другие его современники по духу, вчерашний укомовец и продотрядник вынес это убеждение из революционной действительности. Только

там мог он увидеть, пережить и звено за звеном воссоздать в своих «Брусках» то, что произошло со Степаном Огневым, Шленкой, Кириллом Ждаркиным, Никитой Гурьяновым, Шленкой, Яковом Чухляком...

Каждый из характеров в «Брусках» — пусть даже самый что ни на есть второстепенный — это прежде всего исполненная драматизма поэма о человеке-труженике, покорно несущем или мучительно избиваемом в себе страшную власть собственности, власть земли... Чего стоят одни лишь руки этих людей — с ладонями, впитавшими вечную черноту, с негниющими, очерствевшими пальцами. Грубые, они удивительно нежно ласкают землю. Эти пальцы, эти руки не знают отдыха в страдную пору пахоты, сева, уборки. Хозяева этих рук на все лето забывают, как обувают ноги, как моются в бане, как спят на кровати, — свои недолгие сны они коротают за столом, уронив мохнатые головы на ладони, чтобы не проспать лишнего часа и покормить лошадей...

Но те же пальцы могут быть вороваты и жестоки. Они способны забраться в сундук к умирающему сыну или умело разбросать по чужому загону щебень, собранный со своего участка, как это делает Никита. Они могут с остервенением ухватить рукоять ножа, поднимая его на соседа, — так, на глазах у всей деревни, Чижик пытается зверски «казнить» заподозренного им Шленку. Они, эти пальцы, способны стиснуть кол или обрезать и даже донос нацарапать: для хозяина, яростно защищающего «свое добро», все средства хороши, и нет для него ничего дешевле человеческой жизни — он и себя-то, и своих родных не щадит из-за лишней копейки либо делянки...

Инстинкт собственности, инстинкт накопительства извращает самый труд, отбрасывает человека спать, за рубеж революции. Попробуйте усмотреть принципиальную разницу между дорвавшимся до купленного по-дешевке барского леса дедушкой Катаем и коммунарком Иваном Штыркиным, высохшим, измотавшим себя и семью зашибанием «длинного рубля» на добыче торфа. И разве не меняется, не перерождается у нас на глазах отчаянный, веселый и добрый Яшка Чухляк, обнаружив ненароком золотище, припрятанные умершим в одночасье отцом.

И это опять-таки не просто «яблочко от яблони» и уж конечно не «извечная» испорченность человеческой природы, о коей не устают твердить буржуазные философы, но все та же проклятая сила «своего», рожденная вековым деревенским укладом.

Какой же яростный всплеск этой силы поднимается в том же Никите Гурьянове или Шленке, когда заходит речь о коллективизации! Человека, который скорее даст изрезать себя на куски, чем уступит хотя бы клочок драгоценной землицы, вдруг зовут перепахать все межи, уничтожить наделы, свести на общий двор кормильца-коня! «Все было хорошо, текло, как течет Волга, как всходит солнце всегда за Балашихой-горой, как ходят люди, ступая по

земле, а не вверх ногами!.. И вдруг — голову, руку подымай! А-а? Ты поднял ее, пустую-то, тебе чего? А я на руке-то корову подымаю!..»

Так вновь по-особому воспринимается сравнение «Брусков» с боевым донесением. Теперь для нас этот роман — один из интереснейших художественных документов нашей истории, запечатлевший знаменательные события во всех неповторимых подробностях и душевных движениях. Интерес к ним в наши дни проявляется самый пристальный, не случайно же столько новых повестей, романов, рассказов посвящается нынче людям и делам тех лет. Происходит своего рода «повторение пройденного», новое осмысление минувшего с позиций сегодняшних, с учетом исторической перспективы.

Сейчас мы знаем: в годы коллективизации, в ожесточении классовых борьбы, в нащупывании неизведанных путей, в первых проявлениях культа личности, оборачивающихся в ту пору нажимом на «волево» принцип руководства, допускалось немало грубых ошибок, необоснованного раскулачивания и «головокружения от успехов». Однако при всем этом, самая основа всего, что совершалось, ведущие принципы и главное направление борьбы были безусловно правильны и единственно возможны. Схватка двух начал, двух путей — «индивидуального» и коллективного — достигла тогда небывалой остроты. На отвоеванной революцией, отданной крестьянству земле стремительно набирал силу новый класс эксплуататоров, уже послеоктябрьской формации, обладавший поистине дьявольской изворотливостью и умением принаравливаться к новым условиям, законам, лозунгам. Сокрушить его было необходимо, и задача эта была из труднейших — к этим выводам вновь и вновь приходят историки и писатели наших дней. К тому же возвращают нас и книги тех лет, рожденные в огне и солнце гигантского наступления.

«Бруски», и прежде всего первая и вторая книги этого романа, говорят о том же. Здесь не только прослежен каждый шаг советской нови, которая врывалась в жизнь тогдашней деревни, будь то радостное и недоверчивое изумление крестьян перед первым трактором, загромыхавшим на их полях, или азарт коллективного усилия, захвативший их на постройке общественной плотины. Панферов-художник сумел добиться большего: он увидел и показал, как эта самая новь пробивалась из глубин мужицкого сердца и разума, сквозь запутанные дебри вековых привычек и инстинктов.

Степан Огнев, Захар Катаев и особенно Кирилл Ждаркин — все они сыновья Широкого Буерака, плоть от плоти его. И все-таки они — новые люди. Их взрастила революция, закаляли битвы гражданской войны. Они воплотили в себе те самые качества русского крестьянина, которые имел в виду Ильич, утверждая идею великого всепобеждающего союза двух классов-тружеников. В них не гаснет ненависть к

старому, они познали собственную силу и поверили в нее, они уже навсегда захвачены, «опьянены» видением завтрашнего коммунистического дня. И потому ленинская идея коллективизации деревни стала для каждого из них своим, кровным. Пусть всякий из них понимает эту идею по-своему, пусть порою мысль о ней отступает, теснямая повседневными привычными заботами, а то и вспыхнувшей было страстью к своему, «индивидуальному», наделу, как это случилось с Кириллом. Все равно — она пробьет себе дорогу, отбросит все остальные интересы, обернется страстью поиска и борьбы, словно пламя охватит человека! И на зов этого пламени потянутся другие: ведь им тоже хочется счастья, достатка, размаха, человеческого, а не звериного житья...

Новая жизнь деревни, самые значительные повороты ее направляются партией, ее Центральным Комитетом, Советским правительством. Но каждый декрет, каждое постановление рабоче-крестьянской власти отражает и воплощает в себе хозяйские мысли и чаянья, вызревшие в глубинах народа. Не потому ли навстречу этим декретам и постановлениям, нередко опережая, поправляя, уточняя их, поднимается могучая волна народной инициативы.

И панферовские герои работают с полной отдачей, ибо знают, чувствуют, видят: их счастье — не в руках чужого дяди, не за Балабашихой-горой и даже не в завтрашнем дне, до которого не всякий из них доживет. Это счастье — вокруг них, в каждом из них, в этом вот широко движении Волги, в радостном кипении жизни...

Осязаемое чувство радости бытия — примечательное свойство панферовского романа. Писателя и сейчас еще поругивают за неуемность, за чрезмерное внимание к эротическим сценам и переживаниям своих героев, видя в том подчас чуть ли не порнографию. «Уж очень прямо пишет он обо всем», — смущенно и, пожалуй, даже чуточку возмущенно сказала мне как-то девушка-почтальон на Волхове: томик «Брусков» лежал рядом с нею в крохотной пробензинной каютке почтового катеришки, разавшего безбрежное зеркало апрельского речного разлива.

В этих упреках есть, конечно, доля истины. Косвенное, но убедительное тому подтверждение — последующие неудачи Панферова, особенно последний его роман «Во имя молодого». Болезненное, эротическое выступило здесь на первый план, читать эти сцены неприятно, тяжело.

Однако подобные издержки не могут заслонять от нас очевидной органической цельности, с которой чувственный и пластичный панферовский пейзаж и любовные переживания его героев входят в живую ткань «Брусков». Они несут очень большую смысловую и сюжетную нагрузку — это тот свет, который озаряет книгу изнутри. Красота и сила молодой страсти словно сливаются с красотой дерева, травы, колоса, речной волны. Лесистые склоны, утесы, от-

куда на много верст распахивается горизонт, голубая громада Волги, нестерпимо сияющая в солнечных лучах, — все это удивительно гармонирует с любовью больших, сильных и счастливых людей, с особенной впечатляющей резкостью подчеркивая в то же время вонючую тьму вросших в землю избенок, унылую злобу, жадность, нужду, из которой, словно выходящий из коросты, рвется широкий Буерак. Писатель словно говорит людям земли: смотрите, как хорош мир и в нем — вы сами! Смотрите, что таится в душах и телах ваших, чего лишаете вы себя, цепляясь за нищенские свои наделы, за обомшелое бытие!.. Смотрите — вот во имя чего стоит работать и жить!

Так, уже тогда, на рубеже тридцатых годов, стало очевидным, что в лице автора «Брусков» в нашу литературу уверенно вошел еще один мастер, утверждающий и развивающий в своем творчестве новый метод художественного воссоздания жизни — метод социалистического реализма. Как и другие писатели его поколения, Панферов пришел к нему своим собственным путем в итоге поиска и борьбы, вырастая из народных глубин огромной глыбиной-самородком, утверждая большую правду времени со всей силой, присущей подлинному таланту...

Мы знаем — дальнейшая судьба художника была трудной, а путь его через тридцатые — сороковые годы — сложен и противоречив. Уже третья и четвертая книги «Брусков», законченных в тридцать седьмом году, несут на себе явственный отпечаток этого. Рядом со страницами, написанными с прежней силой и выразительностью (например, дальнейшая история Никиты Гурьянова, вдохновившая А. Твардовского на поэму о стране Муравии), пробивается упрощенчество, эклектичное восприятие жизни, искусственно раздувается тема вредительства. Заметно проигрывает Кирилл Ждаркин: он все более «квятягивается», вышвысается над прочими персонажами, обретая характерные черты «волевого» руководителя. А радостное жизнеутверждение, так согревавшее «Бруски», походит в последней книге на казенный апофеоз...

Еще слабее оказалась написанная после некоторой творческой паузы трилогия военных и первых послевоенных лет — романы «Борьба за мир», «В стране поверженных», «Большое искусство». Читатель их встретил холодно, критика приняла в штыки...

О причинах, которые привели к этому, говорить сейчас трудно, их еще надо изучать. Однако по меньшей мере две из них представляются наиболее вероятными — во всяком случае, о них можно судить на основании самих романов. Первая видится в беднеющем на глазах духовном мире панферовских героев. Вернее, этот мир даже не беднеет — он попросту отстает от устремившейся вперед жизни, от большого читателя.

Вторая причина, очевидно, связана с первой и даже в чем-то определяет ее. Я имею в виду переход от исследования к иллюстрации жизни. Цепкая и беспокойная

панферовская мысль становится отраженной. Художник уже не пытается, а скорее всего не имеет возможности обращаться к большим, главным конфликтам времени, делать собственные заключения и выводы на этот счет. Для Панферова, с его неизменной тягой к современности и эпическому масштабу, с публицистическим складом таланта, такое положение представляется особенно тягостным. И это было уже не только его личной, но и общей бедой — печальным следствием известной общественной атмосферы.

Думаю, что лучше всего подтверждает эти соображения новый творческий взлет, наступивший, к сожалению, лишь незадолго до смерти писателя. Связь его с событиями Двадцатого партсъезда, с обстановкой, сложившейся после него, — несомненна. Именно в эту пору Панферов пишет свою заключительную «волжскую» трилогию, в центре которой роман «Раздумье» — одна из самых боевых «колхозных» книг недавних лет. В пору этого взлета, в самой природе его, вновь проявилось главное свойство Панферова: чувство социального движения. Словно Антей, он черпал подлинны творческие силы, лишь прикасаясь к «земле» — к деревенской, родной ему теме и современности, вскипающей столкновениями и борьбой, глубоко жизненными и актуальными драматическими коллизиями. Десятки всевозможных проблем, одна острее и интереснее другой, хлынули через «Раздумье», как вода,

прорвавшая плотину: писатель словно торопился наверстать упущенное. Да так оно и было на самом деле — неизлечимая болезнь уже нависла над Панферовым, отнимая силы, время, друзей, жизнь...

Но он не сдался. Вот почему так легко говорить о неудачах его последних романов — слишком хорошо знает и помнится, какую цену далась каждая их страница. Тем более, что в последние годы самым большим подвигом Федора Панферова стали не столько книги его, сколько редактируемый им журнал. Он упрямо и вдохновенно собирал, сплывал вокруг «Октября» лучшие писательские силы, с озорной усмешкой отмахивая в сторону скучные тенета групповщины, трудолюбиво сплетаемые литературными пауками и паучишками. Большая проза, развернутая созвездием талантов ярких и разных, большая поэзия, острая и увлекательная публицистика, втягивающая в свою орбиту десятки интереснейших людей, критика оперативная и требовательная, лишенная предвзятости, непосредственно обращенная к жизни, — так мыслился Панферову его, «панферовский», «Октябрь», так строился он, набирая силы из номера в номер... Странительство — это — последнее панферовское творение — так и не удалось завершить. Но и в том, что удалось, что наметилось едва определившимися контурами, всякий и сейчас еще может почувствовать размашистый и сильный почерк художника...



ГЕРОЙ — ВРЕМЯ

Л. Скорино. Писатель и его время. М. «Советский писатель». 1965. 366 стр. Цена 87 коп.

Во время недели детской книги в одной из московских школ проходила конференция пятых — восьмых классов по творчеству Валентина Катаева. На вопрос: «Что нравится в книгах Катаева?» — потянулся лес рук.

Пятиклассники говорили: «Весело! Здорово в ушки играли Петя с Гавриком!» Семиклассники солидно пытались оценивать историко-революционную познавательность произведений Катаева, восьмиклассница же, потупясь, призналась: «А мне очень нравится, как Катаев про любовь пишет, Вали и Станислава».

Потом начался концерт. С полным упоением разыгрывались сцены из «Белеет парус одинокий» и «Сына полка». Диалоги скандальных мальчишек звучали с поразительной естественностью. Чувствовалось, что малолетние актеры не просто «вживаются в образ», а не отделяют себя от этих озорных, задиристых, в чем-то комичных катаевских героев...

Многогранность интересного и сложного писателя — автора и веселых комедий, и взрослых повестей, и блестящих репортажей, — великолепного редактора, одного из вдумчивых учителей писательской молодежи, и позволила ему стать одинаково популярным и любимым у разновозрастного читателя. Не стареют его детские книги, не выдыхаются от времени. А «Белеет парус одинокий» по праву может стоять в одном ряду с такими шедеврами, как «Приключения Тома Сойера» или «Детство Никиты». И позже, когда я прочла книгу Л. Скорино «Писатель и его время», посвященную Валентину Катаеву, я с особым интересом как бы стала листать время назад, перенеслась в прошлое, к истокам творчества этого удивительно красочного и жизнерадостного писателя.

Исследование Л. Скорино построено совсем не как традиционная биографическая книга. Автор высвечивает своим анализом те события в исторической и литературной жизни страны, которые непосредственно или косвенно объясняют творчество Катаева, помогают увидеть его писательское становление. Но каждая глава книги — это опреде-

ленный слой жизни, определенный период, внешне отделенный от предыдущего и последующего, а на деле логикой истории вплетенный в неразрывную цепь человеческого развития.

В первых главах книги Скорино рассказывает о шумной и богатой талантами Одессе, о писательской молодежи и маститых метрах, о различных направлениях, течениях и группировках, от символистов до футуристов. (Особое внимание уделяет деятельности И. Бунина до революции и во время гражданской войны. В противовес бытующей точке зрения, Л. Скорино подчеркивает четкую, вполне осознанную белогвардейскую позицию Бунина). Автор книги показывает, как на этом фоне вырабатывает свой художественный почерк, свою философию молодой Катаев, недавний ученик Бунина, как ищет он свою творческую индивидуальность. Скорино сумела заставить звучать голоса эпохи. Она привлекла огромный фактический материал. Тут и цитаты из старых одесских газет, из забытых сегодня и наивно звучащих сборников молодых поэтов. Тут и беседы критика с друзьями юности Катаева и с самим писателем...

Как-то органически, не обгоняя время, а взрослея во времени, формируется Катаев-писатель. И постепенно за биографическими данными, приведенными в книге, начинаешь ощущать философский ее подтекст. Изучение жизни своего героя позволяет Скорино показать, как происходило в те годы литературное размежевание.

Многие литераторы воспринимают войну как разрушение, как зло, но зло неизбежное. Многие вначале восторженно приветствуют революцию, воспринимая ее как анархию, а затем отшатываются от нее одинаково стремительно — как крайние правые, так и крайние левые литературные группировки.

Факты порой впечатляют больше рассуждений. А фактами богато насыщена книга Л. Скорино.

И факты показывают, что идейные крайности — всегда две стороны одной и той же медали, ибо максималистами чаще всего становятся откровенные честолюбцы, ищущие выхода своим «грандиозным» замыслам и прожектам не без мысли о вершине собственной славы и успеха.

Чрезвычайно тонко Л. Скорино изображает затем сложное положение прогрессив-

ной литературной молодежи в белогвардейской Одессе, участников кружка «Зеленая лампа». И Катаев, и Олеша, и Шишова, и Адалис, и Долинов, и Бобович — все они восстали против своих старых литературных учителей. не разделяя их мрачных взглядов на революцию. Империалистическая война оказалась тем водоразделом, который отделил их от их прошлого — эстетствующего, изысканного, грациозно бездумного. От прошлого, в котором мысли заменялись красками, а философские раздумья — вещественными образами как самоцелью. И вся эта ершистая писательская молодежь потом самоотверженно кинулась «делать революцию», помогать ее победному шествию.

Л. Скорино возродила множество забытых имен, напомнила о ряде преданных забвению эпизодов прошлого, сделала постоянным читателя высказывания, выступления, статьи некоторых крупных и мелких литераторов, совершенно незнакомые современной молодежи, которая много лет изучала весьма адаптированную историю литературной жизни 20-х годов. В этой богатейшей, смелой фактографии одна из основных удач книги Л. Скорино. И хотя книга озаглавлена «Писатель и его время», время в книге явно теснит писателя, превращаясь в главного ее героя, особенно в первых главах.

Может быть, поэтому так отрывисты интересные наблюдения критика, относящиеся собственно к творчеству Катаева. Может быть, поэтому их приходится подчас как бы «вылавливать», настолько анализ исторических событий, эпохи захлестывает анализ литературного мастерства Катаева. Создается впечатление, что Скорино собрала много больше фактического материала, чем ей можно было бы охватить. И поэтому яркие, неожиданные факты, сведения, наблюдения, спрессованные до предела, превратились в своего рода эссенцию. А это порой мешают их осмыслению. Конечно, доверие к читателю — отличная вещь, но ведь круг читателей может быть разным!..

Наиболее обстоятельно и своеобразно исследует Л. Скорино повесть «Время, вперед!». Эта глава — образец настоящей литературной критики. Скорино выступает здесь и как публицист и как тонкий и умный исследователь. А ее прекрасный анализ пейзажа «Время, вперед!», всего отчаянно азартного ритма этой книги, внешне беспристрастие исследователя при откровенной внутренней влюбленности в изучаемый материал — все это заставляет жалеть, что «Волнам Черного моря», как нам думается, основному произведению Катаева, — уделено недостаточно исследовательского внимания и страсти.

Тем более, что не стоило, мне кажется, изучать «Волны Черного моря» в строго хронологической последовательности, по мере их написания, потому что это сильно дробит и анализирует и впечатление от него. Интереснее было бы выделить это произведение, при переиздании монографии, в отдельную часть или во второй том. Тогда можно было бы дать себе волю для развернутого литературоведческого анализа, отметив в первую оче-

редь те социальные и художественные типы, которые именно Катаев ввел в советскую литературу.

А отдельные отрывки из этого произведения, в силу их явной автобиографичности, можно было бы использовать в биографических главах, как сделал, например, Стоун в своей биографии Джека Лондона.

Но Л. Скорино удалось главное. Удалось рассказать о времени Катаева. Удалось развернуть и время назад. Книга способна заинтересовать любителя и литературоведческих и исторических трудов.

Хочется только посоветовать ее будущим читателям — изучайте ее медленно, вдумываясь в приводимые факты...

Лариса Исарова

И КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ...

Николай Алексеевич Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата. Издательство «Жазушы». 1963. 184 стр. Цена 33 коп.

Эта небольшая, очень изящно, со вкусом изданная книжка привлечет ваше внимание не только потому, что речь в ней идет о последней жизненной драме великого Пушкина и о пушкинских материалах, найденных и виденных автором в чешских частных архивах. Впечатление, которое производит книжка Н. Раевского «Если заговорят портреты», тем более поразительно, что, в сущности, никаких потрясающих открытий автор не делает. Он не обнаружил ни папок с неизвестными автографами произведений поэта, ни связки его писем, не удалось ему найти и вторую тетрадь дневника Пушкина, которой, по всей вероятности, никогда и не существовало, но о существовании которой все-таки еще продолжают спорить.

Н. Раевскому лишь удалось побывать в замке А. Н. Гончаровой-Фризенгоф (о том, как это случилось, и рассказывается в книжке) и увидеть кое-какие документы, рисунки, портреты — разумеется, всего лишь увидеть. Ему посчастливилось также разыскать местонахождение архива Фикельмонов, близко знавших поэта, и получить копию французского письма Пушкина к графине Д. Ф. Фикельмон и запись из ее дневника о смерти поэта. Позднее он смог познакомиться и с содержанием ее дневника. В книге «Если заговорят портреты» вы не обнаружите совершенно новых фактов биографии Пушкина, не беретесь Н. Раевский по-новому разрешать какую-нибудь из проблем пушкинского творчества. И даже непосредственно о Пушкине говорится не так уж много.

Но по тому, как под пером исследователя оживает сложный облик гениального поэта и как все в этой книге дышит пушкинскими временами, насыщено пушкинской атмосферой, идет ли речь об Ази Гончаровой, или графине Фикельмон, или портрете Натальи Николаевны, или личности Дантеса. — вы понимаете, что перед вами высокая культура, большая эрудиция и долгий жи-

ненный опыт. Более того: перед вами исследователь, в душе которого живет художник. Ибо в Пушкине и в каждом, кто его окружал, Н. Раевский видит прежде всего жизненное явление со всеми его противоречиями, во всей сложности и — одновременно — цельности, и, разыскивая документы в архивах, он ищет жизнь в человеке.

Не владеет Н. Раевский этими дарами таланта и труда, не было бы и этой свободно льющейся художественной, стоящей на грани научной, прозы, не было бы глубоких размышлений, умения по одной детали восстановить целое.

Он находит новые документы, на первый взгляд весьма отдаленно касающиеся Пушкина, отдельные детали и подробности, основываясь на очень хорошо уже известных нам материалах пушкиноведения, создает портреты и картины, полные поэзии и достоверной реальности.

Н. Раевский избирает, казалось бы, весьма ненадежный, скользкий путь: он обращается не к Пушкину непосредственно, а к тем, кто его окружал. Занявшись некоторыми материалами архива графини Д. Ф. Фикельмон, в особенности ее дневником и письмами, и познакомив нас с личностью этой выдающейся женщины, современницы и близкой знакомой поэта, Н. Раевский заставляет ее заговорить о том, что она видела и знала. Ей можно довериться: поразительная проницательность, умение за внешней благопристойностью и благополучием рассмотреть надвигающуюся трагедию могут дать больше, чем тома иных научных исследований. И Раевский не мешает исповеди своей умной помощницы, лишь кое в чем он ее уточняет и комментирует. Результат налицо: рассказ о том, что она видела и знала, Д. Ф. Фикельмон исчезает, а перед нашим мысленным взором возникает гениальный Пушкин со всеми своими сложными и трудными отношениями, с падениями и взлетами, успехами и заблуждениями.

Н. Раевский показал нам, как все еще неисчерпаемы пушкинские материалы (не только в плане их разыскания, но и в плане их осмысления), как можно заставить заговорить современников Пушкина, даже самых скрытных, самых молчаливых, и как много тайн может еще открыться перед нами.

Кто же автор этого интересного исследования, которое, как ясно даже и не очень посвященному читателю, не создается просто так, одним взмахом пера? Всегда ли мы знаем, что стоит за именами и книгами наших современников — людей с нередко трудной и сложной судьбой?

Нелегкой была жизнь Н. Раевского. Случались в его жизни и непростительные, роковые ошибки. Но как знать, может быть, именно эти крайности в его сложной и полной драматизма судьбе укрепили в нем волю к жизни, обострили его способность мыслить и проникать в сокровенные тайны жизни. А главное, помогли обнаружить в себе талант подлинного исследователя в сочетании с ярким художественным даром.

Естественнику, или, как теперь говорят,

биологу, по образованию (в Праге Раевский защитил диссертацию по анатомии насекомых), ему однажды попала в руки одна из знаменитых книг Б. Л. Модзалевского. И Н. Раевский «заболел» пушкиноведением, тем более, что в Пражской национальной библиотеке собрана самая богатая в Западной Европе пушкиниана. Он проник в труднодоступные архивы, собрал интересные пушкинские материалы и уже нащупывал пути к другим, еще более труднодоступным архивам. Это не было простым увлечением коллекционера-любителя. Это не было даже сугубо научным интересом. Уже многие годы оторванный от родины, он конечно же искал пути возвращения к ней, и то, что однажды произошло в докторском зале Пражской национальной библиотеки, не было только случайностью. Пушкин, которого Н. Раевский читал и любил, как и всякий русский, и в детские, и в юношеские, и в зрелые годы, был для него теперь уже не только гениальным поэтом: для него теперь в Пушкине вместились все русское, родное, вся Россия. Все то, что не умирает ни при каких обстоятельствах.

Если вы зайдете в библиотеку алматинского госпиталя восстановительной хирургии к автору книги «Если заговорят портреты», он, может быть, не станет говорить с вами о Пушкине. Но он покажет вам две чудесные оранжереи, в которых есть и пальма, и агавы, и банан, и даже пестрые мадагаскарские попугайчики — его гордость. Вы узнаете, кроме того, что он, как большой знаток медицинской литературы, — правая рука хирургов, что он составил картушку болезней щитовидной железы на восьми языках, которая насчитывает более восьми тысяч карточек, исписанных его рукой. А совсем недавно, когда здоровье было покрепче, Н. Раевский обследовал горы Заилийского Ала-Тау, побывал почти на всех его перевалах, собрал гербарии горной флоры. Пионеры многих горных лагерей помнят пожилого человека, увлекательно рассказывавшего и о наших горах и о собранных им растениях.

Казахское издательство художественной литературы «Жазушы» готовит к печати багдадскую повесть-сказку Раевского, а Николай Алексеевич между тем собирается написать приключенческий роман. Но я не ошибусь, если скажу, что есть у него одна самая главная, самая заветная мечта: написать исследование о пушкинском «Путешествии в Арзрум», и замысел этот, надо полагать, уже осуществляется.

Г. Никитевич

ПРАВДИВОЕ ПРОШЛОЕ

Юрий Оклянский. Шумное заходухе. (Из жизни двух писателей). Куйбышевское книжное издательство. 1965. 234 стр. Цена 39 коп.

Начав с оглавления, читатель будет, пожалуй, удивлен и даже озадачен: рядом с литературоведческими заголовками немало названий почти приключенческого свойства — «Гримасы провинциальной Фемиды»,

«История одной любви», «О «сопернике» прозанка А. Толстого и истории с волшебным колечком», «К вопросу о „тухлой солодине“», «Альбомы поднадзорного фотолюбителя», «Как возникают литературные парадоксы» и др.

Поясним сразу — перед нами особый жанр научного исследования — литературоведческая повесть. Это не совсем одно и то же, что рассказы о поисках пропавших архивов, хотя и об этом написано у Ю. Оклянского, это не только литературные портреты, хотя и они также входят в повествование, сообщают ему какую-то интимную и, в силу самого предмета, несколько грустную, философичную ноту; это также и не летопись жизни, творчества, хотя и для нее в книге найдется немало новых существенных обобщений; наконец, все это перемежается с чисто теоретическими страницами. Это именно литературоведческая повесть, сюжет которой восходит к определенной концепции автора.

Относительно даже самых оригинальных, самобытных художников, каким и был Алексей Толстой, можно сказать, что если дарование — предпосылка творчества, то направление таланта, неповторимый мир писательской личности складывается также под влиянием среды и обстоятельств, особенно в первые годы. Это — известное и справедливое положение. Однако его надобно уметь обнаружить при изучении данного конкретного материала, всякий раз отыскивая особый ключ. В противном случае, читая, например, в статьях и книгах об А. Толстом о той обстановке, из которой будущий писатель шагнул в большую жизнь, обнаруживаем заметную разноголосицу. Не говоря здесь о ней, отметим, что многие спорные вопросы проясняются в книге Ю. Оклянского.

Дело, видимо, в том, что исследователь сумел взглянуть широко на проблему формирования таланта и личности писателя, по-новому присмотреться к тем, кто окружал молодого Толстого и был ему дорог, к книгам, которые он читал, к обнаруженным недавно письмам и сочинениям раннего Толстого, к незамеченным или недооцененным прежде подробностям из его жизни, к понятиям новых свидетелей.

Книга насыщена новыми фактами, документами, которые Ю. Оклянский ввел в научный оборот, прежде всего благодаря одной из счастливых литературных находок последнего времени. Обнаруженный в Куйбышеве архив А. Н. Толстого содержал более пятисот неизвестных до сих пор материалов — письма А. Толстого, первые издания его книг с дарственными надписями, фотографии, переписку родителей Алексея Николаевича, дневники, произведения его матери — писательницы А. Л. Бостром.

Большое количество других документов разыскал и собрал сам автор.

Однако главное достоинство исследования — самостоятельный подход к вопросам, которые или отчасти уже были поставлены наукой, но оставались весьма спорными, или выдвинуты в этой книге впервые. Вдобавок — оригинальная форма построения, увлекательное изложение, убедительность аргументации.

Через все повествование проходит образ матери писателя — замечательной незаурядной русской женщины. Во имя высоких идеалов, следуя своим убеждениям, молодая дворянка открыто и решительно порвала со всеми условностями ненавистного ей мира. Этот поступок приобрел тогда гражданственное значение. Для современного читателя будет новостью творчество Александры Леоновны, некогда активного, а теперь забытого литератора (а ведь один из ее рассказов для детей и поныне включается в «Родную речь»). Друг и наставник молодого Алексея Толстого, ценитель («...Увидишь, его творчество будет сильнее моего и мне со временем придется перед ним преклоняться...»), строгий критик его таланта, мать писателя, впервые столь полно и живо очерченная на страницах книги Ю. Оклянского, оставляет глубокое впечатление, помогает многое понять в самом Толстом.

В формировании будущего писателя немалая роль принадлежала демократическому окружению, в особенности таким людям, как Н. Г. Гарин-Михайловский и Я. Л. Тейтель. Глава о мало известном Тейтеле — новая страница литературно-общественной жизни русской провинции 90-х годов прошлого века. Дом Тейтеля был своего рода клубом самарской интеллигенции народного толка. Здесь бывал и Горький, который сохранил теплые воспоминания о «веселом праведнике», засвидетельствовав это в письмах, а также в воспоминаниях о Гарине-Михайловском.

От образа к образу (в книге Ю. Оклянского целая галерея современников совсем еще молодого писателя), от эпизодов, писем, заметок, наблюдений протягиваются нити к главному герою — Алексею Толстому, к его творчеству. Здесь особенно интересно анализ соотношения жизненного материала и художественного образа (глава «Никитино детство») и, в той же связи, достаточно подробно прослеженный вопрос о тургеневском влиянии на Толстого.

«Шумное захоlustье» — не монография в традиционном понимании этого слова, но и не свободное от строгих обязанностей эссе. Книга Ю. Оклянского открывает нам живого, реального Алексея Толстого.

В. Дмитриев

// Русские ДЕРВИШИ //

Велемир Хлебников (1885—1922) занимает своеобразное место в русской советской поэзии. Математик, а потом лингвист по университетскому образованию, он больше всего известен как поэт-экспериментатор, который видел одну из своих задач в обновлении поэтического языка, в создании некоего всемирного языка. Войдя в 1908—1909 годах в эстетский кружок журнала «Аполлон», Хлебников очень скоро порвал с ним и, под влиянием Давида Бурлюка и Василия Каменского, связал свою литературную работу с вновь возникшей группой футуристов. Вместе с Давидом Бурлюком и Маяковским Хлебников подписал знаменитую футуристическую декларацию «Пощечина общественному вкусу» (1913). В некрологе, посвященном Хлебникову (1922), Маяковский назвал его «Колумбом новых поэтических материков», подчеркивая, что Хлебников — «не поэт для потребителей...», а «поэт для производителя».

Эта оценка значения Хлебникова, получившая большое распространение, верна лишь по отношению к той части поэтической работы Хлебникова, где он экспериментировал над словом. Маяковский не знал тогда больших революционных поэм Хлебникова. Пронизанные духом классовой борьбы, такие поэмы, как «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Труба Гуль-муллы», обращены не только к «производителю», но и к широкому читателю — к «потребителю». Эти поэмы, как и многие другие произведения Хлебникова, были найдены в рукописях поэта после его смерти и впервые опубликованы в 1928 году в Собрании его сочинений.

Еще в период первой империалистической войны Хлебников занял вслед за Маяковским резкую антивоенную и антибуржуазную позицию. Она нашла свое выражение в ряде его стихов, объединенных им в поэму «Война в мышеловке», и в листовке «Труба марсиан», в которой он призывал всех творческих людей на Земном шаре — «изобретателей» — сплотиться против «приобретателей», основывавших свое низменное благополучие на краже плодов чужого вдохновения и труда. Эту полуфантастическую листовку Хлебников вместе со своими друзьями-поэтами (среди них был и Николай Асеев) подписывал от имени Председателей Земного шара.

Октябрьскую революцию Хлебников встретил восторженно. В конце 1920 года Хлебников оказался в Баку. Там он работал в РОСТА — рисовал агитплакаты, сочинял стихотворные подписи к ним. Потом, весной 1921 года, он вместе с частями Красной Армии — в Иране, где числится лектором Культпросвета. Персы дали ему кличку «дервиш урус». Во время отступления революционных войск Хлебников, как вспоминает участник этого похода, шел вместе с отрядом

вдоль берега Каспийского моря, а потом, несмотря на предупреждения, повернул от берега в степь, объяснив, что «в ту сторону полетела интересная ворона с белым крылом». И чуть не погиб. По-видимому, впечатление от встречи с живой реализацией идиомы «белая ворона» вытеснило у Хлебникова-филолога все остальное — даже в грозной обстановке отступления среди песков.

Следует сказать, что поэтика Хлебникова сложна. Многие его стихи трудны для понимания, бесконечные словесные эксперименты уводили его нередко от задач поэзии. Но все чаще удавалось ему находить своим словам место, по его собственному выражению, «на осях жизни своего народа». Стихотворение «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове», посвященное контрастам запа, было напечатано в марте 1922 года в «Известиях» и получило большую популярность.

Все говорит о том, что Хлебников был на пути к новым большим свершениям. Но и то, что сделано им, еще далеко не получило надлежащей оценки.

Апрель, 1921 год.

Город Решт — центр Гилянской области Персии.

Мы, кавказские партизаны и моряки-балтийцы, преследуя белогвардейцев и англичан, уведших суда каспийского флота, ворвались под командованием Раскольниковых в Энзели и Решт. Здесь к концу 1920 года создалось очень дружное сообщество партизан-интернационалистов. Были среди нас русские, азербайджанцы, персы, курды, армяне, грузины, горцы Дагестана и Северного Кавказа.

Поздним утром, когда солнце уже изрядно прогрело лабиринт узких улиц, переулков и тупиков, я шел к себе в редакцию газеты «Красный Иран» — орган Персидской красной армии.

На площадке-пятачке, где узелком перехлестнулись пять червеобразных улочек, заметил я очень странного человека: высокий, плечистый, с обнаженной головой. Спутанные, нечесанные волосы ниспадали почти до плеч. На нем длиннополый сюртук, а из-под сюртука выглядывали длинные ноги в узких штанах из рыжей персидской дмоткани. Человек что-то рассматривал на булыжной мостовой. На ней кроме яркой зеленой травы, пробивающейся меж булыжников, я ничего не заметил.

Всех русских в правительстве Эхсаноллы и в Реввоенсовете армии я знал. А этот странный человек с массивной головой и монашески длинными волосами, с лицом, чем-то напоминающим мудрую морду верблюда, мне незнаком. Что же он ищет в былинках трав или среди гладких булыжников?

Не разгадав его глубокой задумчивости, я пошел своей дорогой. В редакции рассказал о нем секретарю Петру Ивановичу Усачеву.

— А не Хлебников ли это? — предположил Усачев. — Я слышал, будто приехал этот вождь и пророк российского футуризма.

— А вы что-нибудь о нем знаете?

Усачев признался, что и он, в прошлом астраханский журналист, мало что знает о футуристах и о Хлебникове.

Только здесь, в Реште, в поэтические дела меня стал активно посвящать наш художник Доброковский Мечислав Васильевич.

Доброковский, истый петербуржец, — мичман Балтфлота. Он увлекался живописью

и поэзией Маяковского. Военного моряка из него не получилось, а художником он стал первоклассным. В двадцатых годах среди московских художников он был в числе лучшей пятерки: Моор, Дейнека, Черемных, Елисеев, Доброковский. На парижской выставке в двадцатых годах Доброковский получил золотую медаль, а сейчас уже никто не вспоминает о нем и о его роли в развитии советской графики и плаката.

В свой персидский период Доброковский искал новые формы, достойные нашего беспокойного века. В начале он порадовал нас «спектральным анализом». Он утверждал, что в природе нет красного цвета, синего и других, а есть только спектры. Они разнятся между собой лишь преобладанием той или иной части спектра.

Его спектральные пейзажи нас мало убеждали. Но вот он написал портрет члена Реввоенсовета Кости Томашевского, выставил на солнце и предложил оценить. И мы поразились выразительности портрета, его скульптурной объемности, живости, доносящих умный и душевно мягкий облик Томашевского. Мы поддержали поиски художника. Но он неожиданно бросил живопись и увлекся графикой. Однако и здесь не пошел по классическим тропам, а стал искать новые, более, по его словам, «выразительные и соответствующие великой эпохе войн и революций».

И в графике его поиски дали немало хороших результатов. Даже Моор в середине двадцатых годов позанимствовал у Доброковского некоторые графические открытия. И я до сих пор, глядя на папиросы «Казбек», вспоминаю Доброковского: это он создал скачущего горца для иллюстрации рассказа осетинского писателя Кости Гатуева.

В Реште Доброковский был самым ярким пропагандистом футуризма и нередко громил наших поэтов словами Маяковского:

Как вы смеете называться поэтом
И, sereneйкий, чирикать, как перепел!
Сегодня

надо
кастетом
Кроиться миру в черепе!..

Благодаря Доброковскому, которого мы величали «Худой», я получил некоторое представление о поэзии футуристов...

На другой день в редакцию неожиданно вошел тот странный человек, которого я увидел в узле рештских улиц. Высокий и суту-

ловатый, он молча, неторопливо прошагал босыми ногами по ковру, положил на стол несколько листиков бумаги и сказал:

— Вот... стихи...

Повернулся и так же неторопливо вышел.

Мы оба — редактор и секретарь — удивленно переглянувшись, тотчас же взяли листки. Под стихами была краткая и не менее странная, чем сам посетитель, подпись — «Хлебни».

И даже без точки.

Мы углубились в разбор торопливо и криво бегущих строчек. Мы путались в мелких бисерных буквах и в сложной словесной вязи, с трудом доискивались смысла, ритма, рифмы стиха. Прочитав, недоуменно взглянули друг на друга.

— Ну как? Поняли?

— Не очень... а вы?

— Темна вода во облацех!

— Но что-то есть.

— Да, что-то... почитаем еще.

Читали и перечитывали несколько раз.

Прошу современных читателей не удивляться нашему тугодумию, а войти в наше положение и понять нас, журналистов армейских газет первых лет революции. Мы, не получив даже среднего образования, все годы юности отдали революции. Учились на житейском опыте, а с книгами знакомились или в тюрьмах, или во время кратких передышек между боями. Не удивительно, что стихотворение «Навруз Труда» с большим трудом проникало в наше сознание.

Снова мы первые дни человечества!

Адам за Адамом
Проходят толпой
На праздник Байрама
Словесной игрой.
В лесах золотых
Заратустры,
Где зелень лесов златоуста!
Это был первый день месяца Ая.

Понятно было, что стихотворение посвящено революционной Персии, говорится в нем о недавнем празднике Наврузе (новый день, первый день персидского года), ярко и пышно отпразднованном месяц назад в Реште. Революционное правительство в широких дворах изгнанных ханов приказало всю ночь жарить на вертелах (целыми тушами!) быков и баранов для всех желающих. На улицах, освещенных цветными фонариками и кострами, пели и танцевали толпы людей — курдов, персов, армян. Все лавки и чайханы были открыты.

Мы тоже всю ночь бродили по улицам, отрезали от жареных быков и баранов куски мяса. Радовались и удивлялись необычайности праздника, колдовскому чародейству ночи, людских толп в живописных одеждах... и возмущались празднику без женщин!

Понятно, что Хлебников этому празднику дал более высокое звание — НАВРУЗ ТРУДА (новый день труда)...

Понятны и следующие строки:

Несут виденье алое
Вдоль улицы знаменщики,
Воспряньте, все усталые!

Это о митинге на площади и о праздничном шествии по лабиринту улиц, которое

вылилось в яркую демонстрацию единения интернациональных сил революции.

А это что такое — «Адам за Адамом»?

Только после длительного раздумья мы поняли, что здесь «адам» не библейский родоначальник человечества, а просто по-турски — «человек».

Многое в стихотворении встало на место, и все же общий смысл от нас ускользал.

Стихотворение «Кавэ-кузнец» было более доступно. Мы с Доброковским готовили плакат «Кавэ-кузнец». Для окончательной доработки не хватало подписи. Доброковский обещал подумать. Думал и я. Похоже, что Доброковский «думал» образами Хлебникова. За ними угадывались наши обсуждения темы плаката вместе с сотрудниками газеты «Иранэ-сорх» («Красный Иран»).

Был сумрак сер и заспан,
Меха дышали наспех,
Над грудой серой пепла
Храпели горлом хрипло.
Как бабки повивальные
Над плачущим младенцем,
Стояли кузницы у тела полуголого,
Краснея полотенцем...

О легендарном кузнице Кавэ и поэме Фирдоуси «Шах-наме» мы в своей газете рассказывали читателям. И потому были ясны строчки Хлебникова:

Жесткие клещи,
Багровые, как очи,
Ночной закал свободы и обжиг —
Так обнародовали:
— Мы, Труд Первый и прочее и прочее...

В газете вместе с исторической справкой эти строчки вполне могли дополнить легендарный образ вождя народного восстания. А полуголых кузнецов с красными фартуками, и горны, меха которых «храпели горлом хрипло», мы ежедневно видели на базаре.

Стихотворение было ясным, но для плаката нужны короткие и доходчивые слова. Стихи же Хлебникова многострочны и трудно понимаемы.

На следующий день в редакцию пришел Доброковский и первым делом спросил, читали ли мы стихи Хлебникова. Он подтвердил нашу догадку, что стихотворение «Кавэ-кузнец» было им заказано для плаката.

— А скажи честно, Меч,— спросил я,— тебе самому ясен смысл стихотворения?

Доброковский разозлился филиппикой против тупоумных газетчиков, неспособных понять и почувствовать силу и красоту революционной поэзии. Я признал, что я бездарен и толстокож, но настаивал:

— Хорошо, я тугодум, но вот ты, देखи футуризма, скажи честно, вот эти слова под могучей фигурой кузнеца с поднятым красным фартуком будут понятны красноармейцам, муджехидам, крестьянам и ремесленникам? Плакат же для них, а не для гурманов!

Доброковский, глядя на эскиз плаката, медленно прочитал стихи Хлебникова. Подумал и в конце концов признался:

— Да, ты прав, для плаката это тяжело.

— Может быть, примем мой текст? — предложил я. — Слушай...

Поднял восстание против деспота царя Зохака.
Революционным знаменем

служил его
красный фартук.

Кавэ-кузнец — лозунг национальной революции Персии.

Доброковский согласился с моим текстом, но потребовал, чтобы стихи все же были напечатаны в газете. Гордый тем, что мой текст «перешиб» стихи «отца русского футуризма», я обещал стихи Хлебникова напечатать.

— А вот эту — «Иранскую песню», — сказал Доброковский, — Хлебников посвящает мне. Мы с ним ходили по речке, я пытался ловить рыбу, а Хлебников что-то бормотал. Я спросил, что, мол, ты говоришь? Он посмотрел на горы и полным голосом говорит: «Верю сказкам наперед: прежде сказки — станут былью...» И замолчал, побрел по колену в воде, будто что-то ищет. И вот, видишь, вот продолжение той строчки:

Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена опом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснусь, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскую.
Или все свои права
Брошу будущему в пещку?
Эй, черней, лугов трава!
Камней навеки, речка!

Доброковский умел читать стихи, умел пайти и передать их скрытый смысл. И на этот раз за хорошо найденной интонацией я почувствовал мрачность поэтического образа: «Я проснусь в землю втоптан, пыльным черепом тоскую».

Короче говоря, мы стали печатать стихи Хлебникова и выплачивать ему самый высокий гонорар. А я стал выслушивать иронические замечания члена Реввоенсовета Кости Томашевского, человека литературно грамотного и одаренного.

— Ну-с, товарищ редактор, а сам ты понимаешь эти стихи?

Я признавался, что понимаю плохо, но настаивал на своем тезисе: «Далеко не всегда произведения искусства познаются разумом».

Командующий Николай Гикало был более резок и категоричен. Его поддерживал рационалистически настроенный начальник политотдела Александр Носов. Они требовали быть более экономными в использовании места в нашей маленькой газете. Но для меня Гикало был просто «братка», Томашевский — Костя, а Носов — Шуренция, так же как я для них — Костюшка. Так что вопреки возражениям командования, я продолжал печатать стихи Велемира — «Председателя Земного шара». Он приносил стихи все так же молчаливо и отчужденно, войдет в нашу единственную комнату, положит листки стихов и уйдет. И ни разу не удостоил нас хотя бы краткой беседой. Настолько это было странное общение, что я, например, не могу вспомнить, какой тембр голоса был у Хлебникова.

Только с Доброковским он о чем-то говорил и часто ходил с ним по городу, вызывая у персов некое, почти религиозное уважение.

В одном стиле с ним был Доброковский, ходивший в какой-то цветастой кофте с махорками и такой же длинноволосый. Кофту Доброковский, кажется, взял из цирковой костюмерной, захваченной моряками-балтийцами с несколькими тысячами белогвардейских чемоданов.

Хлебников и Доброковский часто сидели или возлежали в какой-либо чайхане, курили терьяк и пили крепкий чай. Доброковский рисовал портреты всем желающим, не торгуясь и даже не спрашивая платы. Заказчики сами клали около «русских дервишей» серебро. Доброковский с презрительным равнодушием также легко выбрасывал это серебро за терьяк или водку. Он обладал изумительной памятью и очень быстро научился болтать по-персидски. Во время болтовни Доброковского с персами Хлебников, углубившись в себя и беззвучно шевеля губами, обычно молчал и, как мне кажется, именно в это время в его голове зрели строчки будущих стихов.

Такое поведение создало и Хлебникову и Доброковскому славу «русских дервишей», священных людей. Накурившись терьяку, оба так и оставались ночевать в чайхане.

Однажды в городе начался большой пожар, охвативший несколько кварталов. Доброковский и Хлебников в это время лежали, охваченные опийным туманом, в чайхане. Когда огонь стал угрожать чайхане, хозяин попытался растолкать своих гостей. Хлебников в полусне молча поднялся и ушел, оставив друга на ковре.

Доброковский об этом случае рассказывал так:

— Я видел, как ушел Велемир. И был рад за него, а сам о себе не думал. Я смотрел, как огонь пробился через потолок, как струйки дыма со свистом врывались в чайхану. Хозяин торопливо выносил всякую хурду-мурду. Несколько раз он что-то мне кричал, а мне было интересно наблюдать, как огонь одиночными языками проскальзывал в чайхану, облизывал доски потолка и вдувал струйки дыма в помещение. Я слышал шум, крики, видел огонь и дым, но все это в каком-то странном нездешнем мире. Наконец хозяин схватил ковер, на котором я лежал, вместе с ковром выволок меня на улицу... и вытряхнул на мостовую...

Только после этого Доброковский, не обращая внимания на общегородскую суматоху, побрел к штабу.

Несмотря на странность этих штатных агитаторов, Реввоенсовет армии справедливо считал их совершенно необходимыми работниками. В религиозных и бытовых условиях того времени, при настроенном внимании к русским революционерам, несущим на своих знаменах совершенно необычайные лозунги, «русские дервиши» как-то трудно объяснимым образом усиливали наши политические позиции.

Впрочем, ценность Доброковского была реально ошутимой. Он вырезал на линолеуме свои же рисунки для газет, создавал плакаты, превосходно писал лозунги по-персидски; в чайхане за трубкой терьяка пропагандировал революционно-демократические лозунги правительства Эхсаноллы. А программа его была очень проста:

Долой англичан! Землю крестьянам! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует дружба с Советской Россией!

Рисунки Доброковского появлялись как в русской, так и в персидской печати. Но попытка наших друзей персов перевести стихи Хлебникова окончилась неудачно: они честно признались, что не понимают их смысла.

Вскоре мои очень прохладные отношения с Хлебниковым совершенно испортились. Как-то начальник агитотдела армии Рудольф Абих принес рукопись Хлебникова и попросил издать ее отдельной брошюрой. И еще раз мне и Усачеву пришлось недолго спрашивать друг друга:

— Вы что-нибудь понимаете?

— Увы!

Это были хлебниковские «чародейские» изыскания законов чисел и сокровенного смысла букв и слов.

В числах, формулах, каких-то уравнениях со многими неизвестными мы разобраться совершенно не могли. В попытке Хлебникова придать буквам особый мистический смысл мы разобрались, но категорически не были с ним согласны. Да и как было согласиться, например, с утверждением, что с буквой «К» связана контрреволюция: Корнилов, Каледин, князь, кулак и т. д. Но моя фамилия — Костерин, черт возьми!

Буква «Ч» связана с какой-либо емкостью — чаша, чулок, чаша, чело (отверстие русской печи)... Допустим, что чело печи что-то вмещает, а что вмещает «чело» (лоб)? Как понимать — «на чело набежали морщины»? А чека (затычка)? Чебрез? Чиж? Чуб?..

Мы отказались издавать «труд» Хлебникова. Но автор заручился поддержкой начальника агитотдела Абиха и представителя РОСТА Марка Живова. От атаки друзей-партизан отбиваться трудней, чем от прямого начальства. Помощь я получил только от нашего метранпажа Воробьева. В присутствии Хлебникова и Доброковского я спросил его:

— Семен Иванович, можешь набрать эту брошюру?

Семен Иванович полистал рукопись, сплошь усыпанную цифрами и уравнениями, и тут же вернул ее:

— У нас не хватит цифр даже для одной страницы.

Это было правдой: партизанская типография была очень бедна шрифтами. Но Хлебников это понял как редакционный трюк. Он взял рукопись, мрачно склонил голову и, сутулясь больше обычного, вышел из редакции. И больше к нам не заходил. И стихов не приносил.

В конце июля Эхсанолла, мобилизовав все революционные силы, решил прорваться

к Тегерану и поднять там восстание. Штабной деревней была намечена деревня Шахсевар на берегу моря в области Тони-Кабун. Курдские части и пехота (режиманцы) революционного правительства продвигались по тропам меж рисовых полей и садов, а кавказские партизаны и мой штаб прибыли в Шахсевар морем. В составе моего штаба были и «русские дервиши».

И здесь, как и в Реште, «русские дервиши» — длинноволосые, босые, в живописных лохмотьях, тотчас же привлекли к себе внимание крестьян. Доброковский и Хлебников обосновались в чайхане, где их бесплатно кормили, поили крепким чаем и давали курить терьяк. Около них всегда толпился народ. Доброковский рисовал портреты, карикатуры на Реза-хана, на англичан и на языке фарси разъяснял слушателям программу Эхсаноллы. Хлебников или сидел тут же, присматриваясь к посетителям и прислушиваясь к разговорам Доброковского, или же бродил по ближайшим окрестностям.

Свои совещания мы, все штабные работники, часто проводили на берегу моря, располагаясь на песке, подставляя тела горячему солнцу, прохладе морских волн и ароматному ветерку из апельсиновых рощ.

Однажды мы обсуждали содержание и эскиз плаката. Сидели и лежали на песке так, чтобы веселая прибойная волна ополаскивала наши тела. Когда все замечания и предложения были высказаны, Доброковский неожиданно попросил Хлебникова:

— Велемир, прочитай что-нибудь... ты был на днях у хана...

Велемир, голый, мосластый, с выдающимися ключицами, опустив голову так, что волосы прикрыли лоб и глаза, забубнил:

Хан в чистом белье
Нюхал алый цветок, сладко втягивал в ноздри
запах цветка,

Жадно глазами даль созерцая.
«Русски не знай — плехо!
Шалтай-балтай не надо, зачем? плехо!
Учитель, давай
Столько пальцев и столько (пятьдесят лет)
Азия русская.

Россия первая, учитель харяшо.
Толстой большой человек, да, да, русский дервиш!
А, Зардешт, а! харяшо!»
И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок.
Белый и босой,
И смотрел на синие дальние горы.
Крыльцо перед горами в коврах и горах винтовок
Выше предков могилы.
А рядом пятку чесали сыну его:
Он хохотал,
Стараясь ногою попасть слугам в лицо.

Значительно позже, уже в Москве, я прочитал эти строчки в поэме Хлебникова «Труба Гуль-муллы».

Доброковский после прочтения отрывка дал комментарий:

— Велемир был у хана в гостях... Ты, Костюшка, должен тоже у хана побывать... все крестьяне у него в кабале.

Дня через три я с работниками штаба и командиром отряда Марком Смирновым приехал к хану в гости. Он встретил нас не в белье, как Хлебникова, а в праздничном костюме. И угостил обильным обедом с не менее обильным количеством водки и вина. За обедом Доброковский стал агитировать хана добровольно отдать землю крестьянам, а

самому встать в ряды муджехидов. Беседа закончилась довольно неожиданно: Доброковский схватил блюдо «хуруша» (жирная баранья подлива к плову) и надел его на плешивую голову хана. Розовая от томата и красного перца подлива окрасила все лицо хана и его бороду. А Доброковский кричал:

— Педер сухте (персидское ругательство), лопай всё... и подавись... я застрелю тебя.

Мы успокоили Доброковского, но история была мало приятной. А самое удивительное заключалось в том, что в ней замешан Доброковский, очень мирный человек, неспособный даже во хмелю на агрессию. Только на другой день мы выяснили, что основной причиной скандала были строчки Хлебникова — «он хохотал, стараясь ногою попасть слугам в лицо». В прозаической передаче поэта своему другу этот случай выглядел намного возмутительней...

Когда силы от Шахсавара двинулись к Тегерану, в нашем тылу крупный помещик — хан Саад-эд-Доуле поднял восстание. Он захватил нашу базу в Шахсаваре и арестовал работников штаба, в том числе Доброковского и Хлебникова. Впрочем, «русские дервиши» под арестом фактически не были. Их под условной охраной держали в чайхане, где они беспрепятственно продолжали свою деятельность, — Доброковский так же рисовал карикатуры на ханов, а Хлебников сочинял стихи. Ели плов, курили терьяк.

Эхсанолла приостановил наступление на Тегеран. Два конных отряда кавказских партизан и курдов выбили Саад-эд-Доуле из Шахсавара, полностью восстановив военное положение. Мы вернули свое имущество, освободили арестованных. Но Хлебников накануне нашего наступления один ушел в Решт, и никто — ни ханы, ни офицеры Резахана — не посмели задержать «русского дервиша». Его охраняло всенародное почтение и уважение. Босой, лохматый, в рваной рубахе и штанах с оторванной штаниной до колена, он спокойно шествовал по берегу моря от деревни к деревне. И крестьяне охотно оказывали ему гостеприимство.

Мы могли возобновить наступление на Тегеран, но из Решта пришли тревожные вести о начавшемся раздоре между членами правительства.

Было решено начать отход. Впереди нас были курды и режиманцы. Мы шли в арьергарде, замыкали отступающую армию. На одном переходе я с командиром Марком Смирновым опередил отряд. На пустынной отмели, по пояс в море, мы увидели голого человека. Он стоял неподвижно и смотрел в опаловую даль моря. Легкий ветерок трепал длинные волосы.

Смирнов придержал коня и с усмешкой сказал:

— А это ведь наш поэт. Смотри-ка, идет, как по лугам своей деревни. И никто его не тронет, и везде кормят.

Марк Смирнов, дважды орденносец за участие в гражданской войне, в прошлом

простой солдат, а еще раньше — шахтер, был совершенно чужд современным поэтическим течениям. На Хлебникова он смотрел как на блаженного, юродивого. Подчиняясь общерусскому традиционному обычаю, Смирнов к Хлебникову тоже относился с почтением и некоторым удивлением.

Мы подъехали к кромке отмели, где лежали рваная рубаха и штаны. Больше ничего у Хлебникова не было. Велемир, увидев нас, не торопясь вышел из воды и поздоровался сухо и кратко, будто только вчера расстались и ничего за это время не произошло.

— Что вы здесь делаете? Куда идете? — спросил его Марк.

Хлебников каким-то отсутствующим взглядом посмотрел на меня, на Смирнова и спросил:

— А где Худоба? Я вот думаю — слово к у р д ы тоже с буквы «К»... они грабят крестьян, как Корнилов, Каледин...

Марк непонимающе посмотрел на меня. Я молчал, в данном случае я был согласен с Хлебниковым: курды пишутся с буквы «К», они грабят крестьян и, следовательно, способствуют контрреволюции. Я также видел, что Хлебников продолжает сохранять недоверчивое отношение ко мне.

— Товарищ Хлебников, — сказал я с вежливым холодком, — о вас очень беспокоятся Доброковский и Абих. Вы ушли и ничего им не сказали. Так друзья не делают. Подождите здесь — часа через два отряд подойдет сюда. И советую от отряда не отставать и вперед не забегать.

Хлебников, избегая смотреть мне в глаза, сел на песок, показав затылок со спутанными волосами и худую спину.

Мы молча отъехали от него...

Вскоре мы эвакуировали всех кавказских партизан в Баку. Эхсанолла с группой своих наиболее верных соратников эмигрировал в Советскую Россию.

Из Баку я и Доброковский переехали во Владикавказ, а Хлебников поехал в Пятигорск...

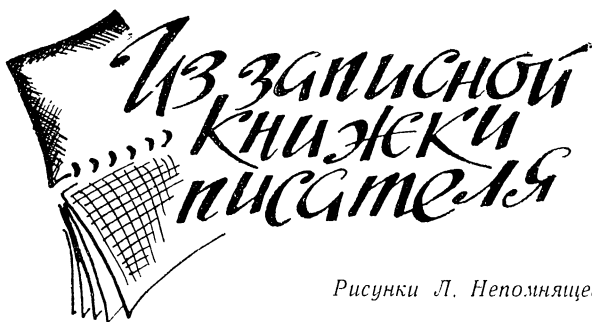
Все это было более сорока лет назад. И до сих пор, когда вижу на папиросной коробке «Казбек» скачущего горца, я с грустью вспоминаю о своем забытом даровитом художнике. С недовольством самим собой вспоминаю и Хлебникова, с которым почему-то не сумел подружиться, почему-то не преодолел его недоверчивости ко мне.

Во Владикавказе мы слышали, что Хлебников в Пятигорске тяжело заболел. Мы не смогли ему помочь. В 1921 году расстояние от Пятигорска до Владикавказа было значительно дальше, чем сейчас от Пятигорска до г. Орджоникидзе.

Вспоминая Хлебникова, иногда думаешь: вот сейчас на половине Земного шара уже «сказки стали бльью», чему очень верил «Председатель Земного шара», уже «несут знамена оптом», а самого его, странного мечтателя и скитальца, уже нет на земле...

На протяжении десятилетий я заносил в свою записную книжку различные забавные истории, подслушанные и подсмотренные в жизни, интересные факты, вычитанные в редких отечественных и зарубежных изданиях. Словом, все то, что мне казалось достаточно любопытным, поучительным.

Некоторые из записей я и предлагаю читателю «Москвы».



Рисунки Л. Непомнящего

ФРУНТ НА СЦЕНЕ



В давние времена шла в маленьком городе опера Верди «Аида». В третьем действии происходит триумфальная встреча героя — исполняется знаменитый марш, требующий усиленного состава оркестра.

Антрепренер обратился к коменданту города с просьбой использовать

для этой цели гарнизонный духовой оркестр.

Комендант любезно разрешил, оркестранты разучили оперную музыку и в назначенное время вышли на сцену в эфиопских облачениях, держа в руках замаскированные духовые инструменты.

Но увидев в первом ряду своего командира, все

гарнизонные эфиопы как один человек стали во фронт и отдали честь.

Зрелище!

Впрочем, комендант мгновенно нашел выход из положения, он скомандовал:

— Вольно, ребята! Делайте ваше дело!

И спектакль продолжался.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

В коридоре Ленинградской консерватории молодой студент подходит к профессору И. И. Соллертинскому, известному музыковеду и энциклопедически образованному человеку.

— Иван Иванович, разрешите обратиться.

— Пожалуйста.

— Иван Иванович, что это такое — Мацепекян?

— Мацепекян? Дайте подумать... Сейчас... Сейчас... — И после двухминутного размышления Соллер-

тинский выдает справку: — Вы неправильно сказали... Есть такое слово «Мацепеконг» — так называется островок недалеко от Мадагаскара, он образовался вследствие вулканического извержения...

Следуют даты и географические подробности, но студент неудовлетворен.

— Тогда вы, вероятно, имеете в виду Мацепекьяноса, это был член греческой гетерии, один из подручных знаменитого Александра Ипсиланти, который...

Но студент настаивает на Мацепекяне, и когда Иван Иванович начинает в третий раз давать историческую справку, студент с извиняющейся улыбкой говорит:

— Иван Иванович, вы не старайтесь. Это я.

— Как так?

— Я Мацепекян. Это моя фамилия.

— Зачем? Почему? На каком основании?

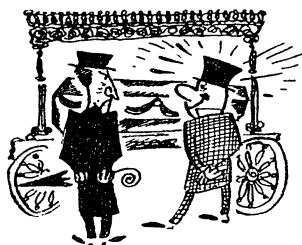
— Я хотел, чтобы вы знали своих студентов!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Два англичанина идут среди прочих за гробом третьего.

Один говорит другому: — Кому что предназначено! Вот мы сегодня провожаем нашего друга в последний путь, а кто и когда будет идти за нашим гробом — этого никто сказать не может!

Другой отвечает:



— Я за одно могу ручаться — я лично на ваших похоронах присутствовать не сумею.

— Почему? Неужели вы так уверены, что я вас переживу?

— Нет, просто я завтра уезжаю на целый месяц из Лондона!

К НЕЗНАКОМЫМ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ

Постоялый двор. У камина молчаливый джентльмен сидит, обогреваясь после путешествия в дождливую погоду. Положив ноги на решетку камина, он погружается в чтение газеты.

Напротив него, у того же камина, занял место лег-

кий, подвижный и общительный француз. Через несколько минут он обращается к соседу:

— Простите, сэр...

Тот, отрываясь от газеты, смотрит — в чем дело?

— Разрешите обратить ваше внимание. Вы так расположились у камина... При

малейшем дуновении ветра пламя может лизнуть вашу газету, и тогда...

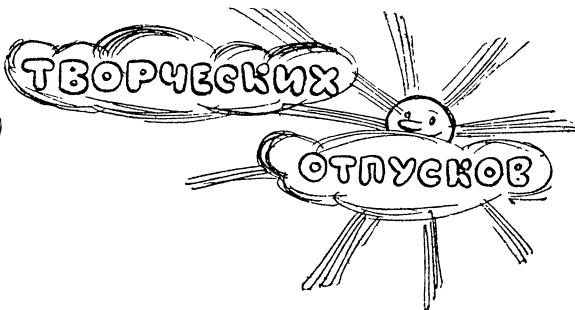
Англичанин отвечает ему сквозь зубы:

— Сэр, у вас уже давно истлело полсюртука, но я же не обращаюсь к вам, не будучи с вами знаком!

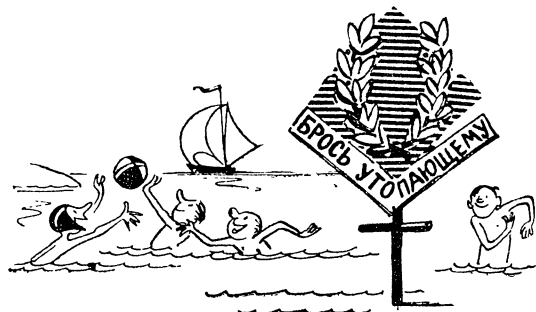
К. Невлер



(Из альбома художника)



Главное, найти хороших соавторов



У Дома творчества



В прошлом году у нас гостил поэт со своим Пегасом



Кот и повар

Какой-то повар, грамотей,
Спешил с поварни поскорей
Домой (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил).
Перед родней чтоб не краснеть,
Отменную набрал он снедь:

Икру,
колбас,
балык,
ветчинки,
Сметаны,
масла,
сливок
аж четыре кринки.

В мешок упрятал полтеленка,
Вина заморского разлил в бутылки из
бочонка...

Кот Васька, что стерег съестное от мышей,
Едва не околел от перепуга,
Не стал держать он попусту речей,
Не стал кричать на всю округу:
«Ах, Повар — подлый вор,
хапуга!

Ах, порча он, чума и язва здешних мест,
Передовой в нарпите он позорит трест!
Помчался Васька прямо в отделение...
Милиция хапугу — цап! — на месте
преступленья...

* * *

Ты хочешь знать мораль? Изволь:
Зря не болтай! Зови милицию,
общественный контроль!

Б. Петухова



* * *

Очередь в кассу в большом универмаге в Лейпциге.

Молодая женщина, нагруженная покупками, обращается к стоящим в очереди:

«Вы не разрешите мне уплатить поскорее, а то у меня кончается срок хранения ребенка».

Я решила, что ослышалась, но... все-таки решила проверить это. И когда она, уплатив и получив свою покупку, побежала вниз по лестнице, не дожидаясь лифта, — я поспешила за ней.

Первый этаж. Большая комната — камера хранения. Пакеты, пакетики, коробки, сумки, узлы и... полно колясочек с детьми.

Женщина, благодаря которой я узнала о существовании этой интересной комнаты, уже получила своего ребенка и ушла.

А я еще долго стояла и наблюдала за сданными на хранение младенцами.

Улицы Лейпцига запружены народом. И почти поголовно все едят мороженое.

«Давай и мы попробуем, наверное, какое-то особенное?» Купили. Едим. Мороженое как мороженое. Обычное. Как у нас на каждом углу.

«Вы что, приезжие?»

«Да. А что?»

«То-то и видно, что провинциалы! Ведь это московское мороженое! Мы только две недели в году, на весеннюю и осеннюю ярмарку, имеем возможность получить это удовольствие! Эх вы! Тоже мне знатоки!»

* * *

Оперный театр в Лейпциге очень красив. Надо во что бы то ни стало попасть в него и послушать оперу, конечно, немецкую.

С большим трудом достали билеты. В суматохе не заинтересовались, что будем слушать.

Пришли. Купили программу. Что это? «Катя Кабанова» (!?). Композитор — Яночек Лаош (!?!?).

Вот так мы и слушали на немецком языке оперу чешского композитора по «Грозе» Островского...

Технический редактор Л. И. ФЕЙЛЕР. Корректоры Н. А. АКИМОВА, М. В. АКСЕНОВА.

Подписано к печати 6/IX 1966 г. А16174. Тираж 144 100 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 21,972 + 4 вкл. = 22,723 уч.-изд. л. Заказ № 4186. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.

Индекс

73 253.

